



18+

АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ

СКЛЕРОЗ, РАССЕЯННЫЙ ПО ЖИЗНИ

Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт

СКЛЕРОЗ, РАССЕЯННЫЙ ПО ЖИЗНИ



Кolibри

Москва

УДК 792.07(47)+791.43(47)+929Ширвиндт
ББК 85.334.3(2)6-8+85.373(2)6-8
Ш64

Дизайн и художественное оформление
Александра Трифонова

Ширвиндт А.А.

Ш64 Склероз, рассеянный по жизни. – М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус,
2017. – 312 с., ил.

ISBN 978-5-389-09836-7

Зачем создавалась эта книга? Из привычного тщеславия? Из ощущения неслыханной своей значимости и необходимости поведать человечеству нечто такое, что ему и в голову не может прийти? Да, если быть честным, то все это присутствует, но если быть честным до конца, то правда хочется хоть чуточку закрепить свое время, своих друзей, свой дом, а значит, свою жизнь.

А. Ширвиндт

УДК 792.07(47)+791.43(47)+929Ширвиндт
ББК 85.334.3(2)6-8+85.373(2)6-8

ISBN 978-5-389-09836-7

© Ширвиндт А. А., текст, 2014
© Трифонов А. Ю., дизайн, 2014
© ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2017
КоЛибри®

*Да! Наступил, наверно, срок –
Пора поддаться искушенью
И жизни подвести итог,
Чтоб не заигрывать с забвеньем.*

Неизвестный поэт

(Неизвестно, поэт ли?
Известно, что не поэт. Стишок мой)

ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО МЫСЛИШЕК

Старческие мысли приходят во время бессонницы, поэтому одеяло здесь не попытка афоризма, а натуральное покрытие. Надо успеть добежать до листа бумаги. Если маршрут через туалет – пиши пропало. То есть пропало то, что хотел написать.

Физическое состояние организма провоцирует осмысление. Осмысление тяготеет к формулировкам. Формулировки начинают пахивать мыслью или, в крайнем случае, мудростью. Мудрость смахивает на индивидуальность. Утром понимаешь, что вся эта старческая трусость уже имеет многовековую подоплеку и продиктована всяческими гениями. Тупик!

Годы идут... Все чаще обращаются разные СМИ с требованиями личных воспоминаний об ушедших ровесниках. Постепенно становишься комментарием к книге чужих жизней и судеб, а память слабеет, эпизоды путаются, ибо старость – это не когда забываешь, а когда забываешь, где записал, чтобы не забыть.

Вот, например, предыдущую мысль я записал в одной из трех своих книг, вышедших ранее. И забыл. Сейчас прочитал – будто в первый раз. Чего желаю и тем, кто их тоже читал.

Склероз пришел как прозрение.

...Как часто мы якобы философски произносим разные слова, не вдумываясь в суть глупости: «Время разбрасывать камни, время собирать камни». Это что такое? Ну, разбросал ты по молодой силе

все камни – и как их на старости лет собирать, если нагнуться – проблема, не говоря уж о разогнуться, да еще с бульжником в руке.

Но раз это хрестоматийная истина, то я тоже хочу собрать разбросанные по жизни камни, чтобы все самое дорогое не валялось где ни попадя, а было в одной куче; чтобы не томиться во времени и пространстве, склеротически застревая в пробках воспоминаний при попытке переезда от одной вехи к другой.

И это, оказывается, я уже писал. Правда, с тех пор проехал еще несколько вех. И есть что вспомнить. Вернее, есть что забыть.

Как-то меня спросили: «Что, на ваш взгляд, не стоит включать в книгу воспоминаний?» Ответил: «Все, если боишься разоблачений».

Мемуаристика вытесняет с книжных полок Свифта, Гоголя и Козьму Пруткову, а множество графоманов придумывают документальные небылицы.

В Театре сатиры была режиссер Маргарита Микаэлян. Как-то на заседании художественного совета она поднялась и сказала: «Мне много лет, я давно работаю в театре. Слушаю я сейчас это обсуждение и думаю: ну сколько можно? И я решила – с сегодняшнего дня не врать». Плучек говорит: «Мара, поздно».

Не надо впадать в соблазн написать монументальное произведение в рамках мемуарных стереотипов под скромнейшим названием «Я о себе», «Сам обо мне», «Они обо мне» и, на худой, самоуничижительный конец: «Я о них»...

Сегодня дежурные блюда бытия выдают за порционные – отсюда дешевое меню биографии и изжога в финале.

Однажды я вывел формулу, что я такое: рожденный в СССР, доживающий при социализме с капиталистическим лицом (или наоборот).

Я думаю, что клонирование придумал Гоголь в «Женитьбе»: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича...» Так вот, если бы это – сюда, а это – сюда, – так, к сожалению, не получается. С клонированием собственной биографии не складывается.

За 80 лет не случилось всерьез отчаиваться – только делаю вид. Это сохранило шевелюру, гладкую кожу морды лица и инфантилизм старого мудака.

Однажды я наткнулся, кажется, у Ромена Гари (он же Эмиль Ажар) – иногда мучительно хочется блеснуть начитанностью, – на фразу: «Он достиг возраста, когда у человека уже окончательное лицо». Всё! Перспективы роста и перевоплощения уже больше нет – надо смириться и дожить с этой физиономией.

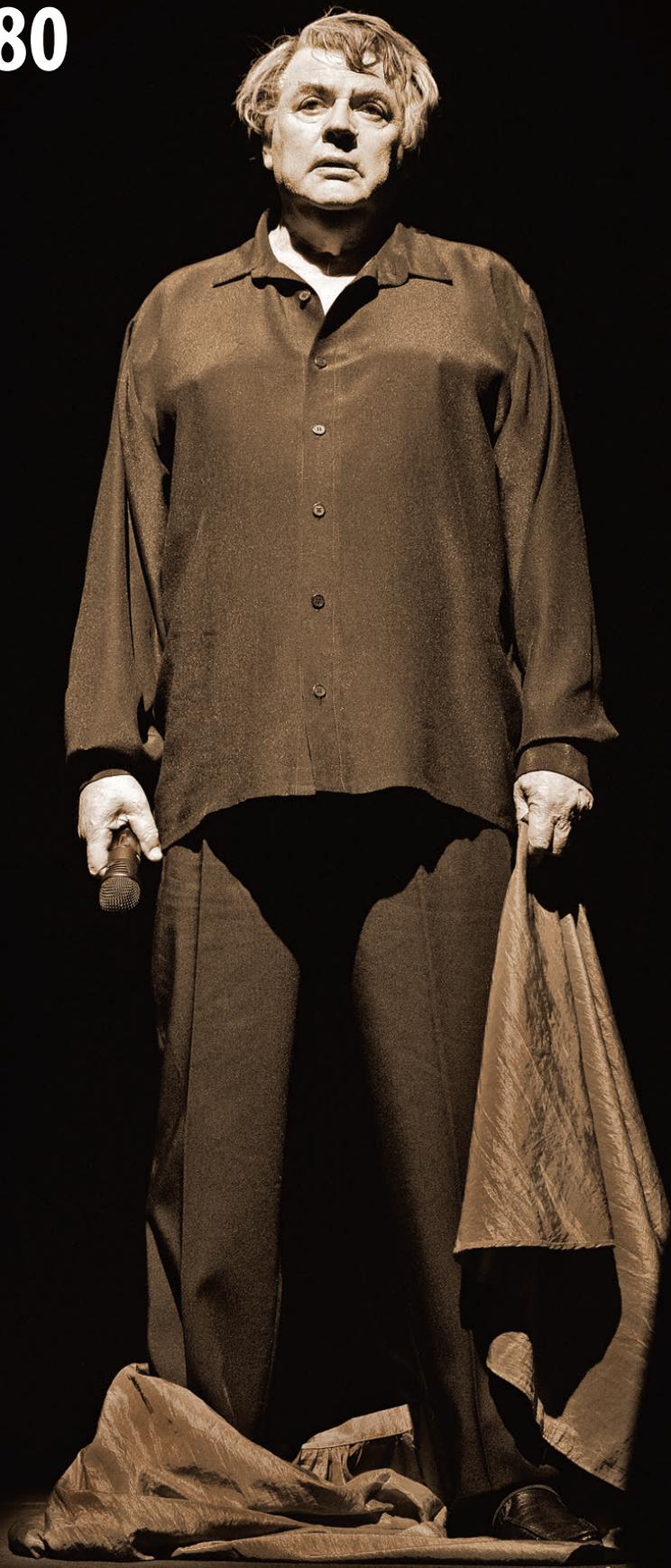
Цифра 80 – неприятная. Когда ее произносишь, еще как-то проскакивает. А когда нарисована на бумаге, хочется ее заклеить. Недавно поймал себя на мысли, что стал обращать внимание на годы жизни известных людей. Читаешь: умер в 38, 45, 48 лет... – и одолевает грусть. Но порой смотришь: иной прожил 92 года. Гора с плеч. Поэтому у меня сейчас настольная книга – календарь Дома кино, который каждый месяц рассылается членам Союза кинематографистов. На первой странице – рубрика «Поздравляем юбиляров». Возле женских фамилий стоят прочерки, а около мужских – круглые даты. Но начиная с 80-ти пишут и некруглые – на всякий случай, потому что надежды на поздравление со следующей круглой датой мало. И вот этот календарик – мое утешение. Правда, иногда попадаются фамилии совсем незнакомые – какой-то бутафор, второй режиссер, четвертый пиротехник, пятый ассистент... Зато цифры какие: 86, 93, 99! Ихтиозавры надежды.

У больших писателей принято подводить итоги, иметь полное собрание сочинений. А когда сочинений за жизнь всего три, то можно их собрать вместе, что-то дописать, и получится «много-томный» труд на 300 страниц.

Меня всегда удивляло, почему биографии и автобиографии пишутся от рождения и дальше, а не наоборот. Ведь очевидно, что человек ярче и доскональнее может обрисовать именно сегодняшнюю свою незамысловатую жизнь, а уж потом, постепенно, вместе с затухающей памятью опускаться в глубь своего житейского срока.

Включаю задний ход.

от 80



до 40



Конклав сегодняшних худруков театров по возрасту приближается к Ватикану.

Помню один из съездов Союза театральных деятелей несколько лет назад. У нас ностальгия по съездам. Этот проводился в каком-то зеленом зале мэрии. «Включите первый микрофон...», «Включите второй микрофон...». Я сидел, слушал, слушал, закемарил, просыпаюсь, и у меня возникает ощущение, что я в бильярдной: огромное зеленое сукно и бильярдные шары, только много-много. Это лысины. И Александр Александрович Калягин, сидящий в президиуме, – тоже мощный бильярдный шар. (Хотя, конечно, это счастье, что есть люди такого актерского уровня, которые при этом хотят быть главными начальниками.)

Очень много лет неожиданно настало. В секунду почему-то. Был на рыбалке – привезли друзья. Друзья тоже не самые свежие, но все-таки лет десять-пятнадцать разницы. Там сход вниз к озеру. Они туда-сюда, а я туда ссыпался, а назад не могу подняться.

По прямой чешу, как стайер, а со ступеньками уже проблема. Коленки.

С возрастом в человеке все концентрируется – все параметры ума и сердца. Но есть еще и физиология, она к 80 годам довлеет над всеми параметрами. Когда тебе ни сесть, ни встать, тогда все подчиняется этому, и «физика» начинает диктовать. Когда встал, а коленка не разгибается, то становишься и скупым, и злым, и жад-

ным. Причем одновременно. А если коленка чудом разогнулась, то все готов отдать, ничего не пожалеть.

Впервые я понял значение выражения «слаб в коленках» лет двадцать назад – оказывается, это когда они, во-первых, болят, во-вторых, плохо сгибаются и, в-третьих, стали слабыми. Обращался к двум знакомым светилам по коленкам – оба дали диаметрально противоположные рекомендации, и решил донашивать коленки в таком виде, как есть, ибо новые мне не по карману.

Лечусь специальным согревающим гелем для суставов, который покупаю в ветеринарной аптеке. Друзья-наездники посоветовали. Вот инструкция по применению: «Намазывать от коленки до копыта. После процедуры рекомендуется накрыть лошадь попоной. Желательно воздержаться от работ на мягком грунте». Мажу! Потрясающий эффект! При этом отказываюсь от мягкого грунта. Принципиально. Соглашаюсь лишь на твердое покрытие. Как теннисисты. Один любит хард, второй – траву. Так и я теперь.

Усталость накапливается. Моральная, не говоря уже о физической. Я тут ночью не спал: коленка! Включаю телевизор. Идет фильм «Трое в лодке, не считая собаки». Как раз тот момент, когда мы гонимся за сомом. Я стою в лодке, на мне стоит Андрюшка Миронов, а на Андрюшке – Державин. Я думаю: но это же было!

А на съемках фильма «Атаман Кодр» я галопом перся по 12 километрам за выпивкой в ближайшее молдавское село и обратно. Снимал фильм замечательный режиссер Миша Калик. Мы играли все время верхом на лошадях. И верхами после съемок неслись до магазина. Много лет спустя на одном из фестивалей «Золотого Остапа», бессменным президентом которого я был, привели мне лошадь. Я должен был выехать таким государем на белом коне, легко соскочить и открыть фестиваль. Ты не понимаешь, когда сам окунаешь тело в катастрофу. Я на эту лошадь всклячивался при помощи всех окружающих. А соскочить вообще не смог. Поэтому сползал по крупу, обняв лошадку за шею.

У меня очень тяжелая зарядка утром. Лежа я сначала сучу ножками для поясницы. 30 раз. Потом с трудом, кряхтя, сажусь на кровати и делаю вращательное движение на скрипучей шее пять раз туда, пять раз обратно. И потом плечиками 10 раз. Меня кто-то когда-то научил, и я привык. И чувствую, что сделал зарядку.

Недавно зимой на даче мы с женой пошли погулять, но, чтобы занятие это не было совсем бессмысленным, зашли в сельский магазин. И там нас увидел грузчик Мишка, который раньше работал слесарем в нашем дачном кооперативе. Был он не очень свеж, но радостно бросился к нам со словами: «Как давно я вас не видел! А что это вы так плохо выглядите? Постарели. Ой, на вас просто страшно смотреть!» Мы стараемся от него оторваться, выходим из магазина. Он – за нами. На улице – яркое солнце, снег, красота! Мишка внимательно смотрит на меня и говорит: «Ой, а на солнце вы еще х...вее!»

75, 85 и 100. Если это не талия и не бедра, то цифры очень подозрительны.

Когда Бернарда Шоу спросили, почему он не справляет свои дни рождения, писатель ответил: «Зачем справлять дни, которые приближают тебя к смерти?» И действительно, что за праздники эти семидесяти- и восьмидесятилетия?

Старческие тусовки ужасны. Жить для того, чтобы все умилились, что ты в 85 выглядишь на 71? Хотя, видимо, великий аттракцион публичного долгожительства – бессмертие оптимизма.

Молодым – везде у нас дорога,
Старикам – везде у нас почет.
Я старик, стоящий у порога
Жизни, что закрыта на учет.

Старики должны быть беспомощны и трогательны, тогда их жалко, и они нужны для ландшафта и секундного осмысления молодостью бренности существования. Воинственно молодящихся стариков надо сбрасывать со скал. За неимением скал – сбрасывать со счетов. Я имею в виду банковские.

Меня один хороший доктор успокоил. «Даты – это все бред. Возраст человека, – сказал он, – определяется не датами, а его существом». Иногда, очень недолго, мне бывает где-то в районе 20 лет. А иногда мне под 100.

Знаменитая строчка Булата Окуджавы: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке» – в нашем случае теперь: «Чтоб не упасть поодиночке».

Долго жить почетно, интересно, но опасно с точки зрения смещения временного сознания.

Помню (все-таки помню) 90-летний юбилей великой русской актрисы Александры Александровны Яблочкиной на сцене Дома актера, который через некоторое время стал называться ее именем. В ответном слове она произнесла: «Мы... артисты академического, Ордена Ленина, его императорского величества Малого театра...»

День рождения нашего театра совпадает с Днем старого старика, или (как там?) престарелого человека... Так что у меня двойной праздник.

Театру сатиры – 90 лет. Каждые десять лет мы празднуем юбилей. За отчетный период я их сделал четыре – 60, 70, 80, 90. К 60-летию на сцене был установлен пандус в виде улитки. На нем выстроилась вся труппа. Наверху, на площадке, стояли Пельтцер, Папанов, Менглет, Валентина Георгиевна Токарская, прелестная дама с трагической судьбой... Я вел программу и представлял труппу: «Вот молодежь... а вот среднее поколение... а вот наши ветераны, которые на своих плечах... И наконец, – кричал я, – вечно молодой пионер нашего театра, 90-летний Георгий Тусузов!» Он бежал против движения кольца. Зал встал и начал аплодировать. Пельтцер повернулась к Токарской и говорит: «Валя, вот если бы ты, старая б..., не скрывала свой возраст, то и ты бегала бы с Тузиком».

Кстати, о «вечно молодом» Тусузове. Использование его сохранности в 90-летнем возрасте однажды чуть не стоило мне

биографии. Назревал 80-летний юбилей мощнейшего циркового деятеля Марка Местечкина. На арене цирка, что на Цветном бульваре, за форгангом толпились люди и кони, чтобы выразить восхищение мэтру советского цирка. В правительственной ложе кучно сидело московское начальство – МГК партии.

Я, собрав юбилейную команду, вывел на сцену Аросеву, Рунге, Державина, которые демонстрировали Местечкину схожесть наших с цирком творческих направлений. «И наконец, – привычно произношу я, – эталон нашей цирковой закалки, универсальный клоун, 90-летний Георгий Тусузов». Тусузов дрессированно выбегает на арену и под шквал аплодисментов бодро бежит по маршруту цирковых лошадей. Во время его пробежки я успеваю сказать: «Вот, дорогой Марк, Тусузов старше вас на десять лет, а в какой форме – несмотря на то, что питается говном в нашем театральном буфете».

Лучше бы я не успел этого произнести. На следующее утро Театр сатиры пригласили к секретарю МГК партии по идеологии. Так как меня одного – в силу стойкой беспартийности – пригласить в МГК было нельзя, меня вел за ручку секретарь партийной организации театра милейший Борис Рунге.

За утреним столом сидело несколько суровых дам с «халами» на голове и пара мужиков, причесанных водой, очевидно, после вчерашних алкогольных ошибок.

С экзекуцией не тянули, поскольку очередь на ковер была большая, и спросили, обращаясь, естественно, к собрату по партии Борису Васильевичу Рунге, считает ли он возможным пребывание в стенах академического театра человека, осмелившегося с арены краснознаменного цирка произнести то, что повторить в стенах МГК партии не может никто. Боря беспомощно посмотрел на меня, и я, не будучи обремененным грузом партийной этики, сделал наивно-удивленное лицо и сказал: «Мне известно, что инкриминирует мне родной МГК, но я удивлен испорченностью восприятия уважаемых секретарей, ибо на арене я четко произнес: «Питается давно в буфете нашего театра». Сконфуженный МГК отпустил Рунге в театр без партвызысканий.

Я жизнь отдал чужим юбилеям. На вопрос, почему я не отмечаю свои, придумал ответ: «Я не мыслю себе юбилея, на котором юбиляра не поздравляли бы Ширвиндт и Державин».

Но однажды мы играли спектакль «Чествование» в помещении Театра Маяковского. Там вывесили огромную афишу – мой портрет и фраза: «В связи с 60-летием Ширвиндта – «Чествование». И мелко – «Пьеса Слэйда». Народ приходил с грамотами, бутылками, сувенирами. Как-то даже приехал Юрий Михайлович Лужков со свитой – не на спектакль, а поздравлять юбиляра. Когда ситуация прояснилась, кое-кого в правительстве Москвы недосчитались.

На юбилее, как на эстрадном концерте, необходимо иметь успех. Не у юбиляра – не к нему пришли, а у публики. Однажды Борису Голубовскому – он тогда был главным режиссером Театра имени Гоголя – сделали портретный грим Гоголя. Он схватил за кулисами меня и Льва Лосева, отвел в сторону и нервно сказал: «Сейчас проверю на вас поздравление». И стал читать нам в гриме Гоголя написанное к юбилею приветствие. Потом посмотрел на наши лица – и начал судорожно срывать с себя парик и разгримировываться.

Юбилеи, юбилеи, юбилеи... Тусовки, тусовки... Когда за десятилетия становишься обязательным атрибутом любых дат – от высокогосударственных до мелковедомственных, – постепенно атрофируется цена важности и нужности встреч и застолий. Позволю себе сочинить еще один стишок – с плохой рифмой:

Паря в застольных круговертях
И дружбы пригубив едва,
Подумать страшно, сколько песен
Мы не дослушали до дна...

На 10-лети «Современника» я обозвал коллектив «террариумом единомышленников». Кто только не присваивал себе авторство этого хамского афоризма! Я в суд по авторским правам не подаю, я щедр.

Прошли десятилетия. Уже нет многих единомышленников. Остались единицы. Волчек – великая Тортила опустевшего TERRA-РИУМА.

На ее недавнем юбилее я вспомнил, как в 90-е мы стояли с ней на Красной площади, повесив на себя ордена Дружбы народов. Сразу после этого орден переименовали просто в «Дружбу». Очевидно, посчитав, что на нас дружба наших с ней народов закончилась.

Сегодня у нее есть все. Чтобы наградить ее, нужно придумывать новый орден. У нее уникальный театр. У нее замечательный сын – ближайший друг моего замечательного сына. Пусть живет долго! Пусть эта паршивая планета лицезреет, кто в идеале должен ее населять. Ведь таких, как она, почему-то больше не делают.

События очень плотно заполняют существование. Юбилей собрата плавно переходит в чью-нибудь панихиду. А там, глядишь, 40-й день очередного собрата сочленяется с 80-летием следующего. Ужас!

Есть анекдот: работник крематория чихнул на рабочем месте и теперь не знает, где кто. Сейчас эпоха так чихнула на наше поколение, что, где кто, совершенно неизвестно.

К сожалению, все чаще и чаще приходится хоронить друзей. Боюсь, что сам до легенды могу не дотянуть, но обслуживать уходы настоящих легенд стало престижной миссией. Работа горькая, трудная, но хоть искренняя.

И в то же время...

Хоронить и поздравлять
Нету сил – еб...на-мать.

О покойниках – или хорошо, или правду! На панихидах у меня возникают вопросы: а слышат ли ребята, что о них говорят? Мне, например, было бы интересно узнать, кто придет на мои похороны, что будут обо мне говорить.

Похороны тоже стали какими-то шоу. Уже, как на юбилеях, прозносят: «Вчера на панихиде здорово выступал такой-то». И обсуждают, говоря эстрадным языком, кто «прошел», а кто «не прошел».

Трагедия, фарс – все встык. Хоронили Олега Николаевича Ефремова. Панихида подходила к концу. Я сидел в зале и вдруг услышал, как кто-то около сцены упал в обморок. Кто упал, мне не было видно, а чем закончилась эта история, узнал через несколько дней.

Ко мне подходит мой старинный друг Анатолий Адоскин, интеллигентнейший, мягкий, тонкий человек и ироничный до мозга костей. «Ты представляешь, что со мной произошло, – говорит он. – Я же упал в обморок на панихиде Олега. Оставалось несколько минут до выноса Олега, весь Камергерский переулок заполнен народом, и вдруг выносят меня. Правда, вперед головой. Я понимаю: надо хотя бы пошевелиться, но слаб. Начал думать, что так выносили Станиславского, Немировича-Данченко. И тогда я немножко привстал».

Наша жизнь похожа на этот случай с Адоскиным. Сегодняшние юбилеи отличаются от панихид меньшей искренностью только потому, что в последнем случае нет глобальной зависти к герою события.

Прочитал, как хвалились одним домом престарелых. После пожаров и распоряжений проверить все подобные дома комиссия набрела где-то на замечательный пансионат, в котором действительно ухаживают за стариками. Ползают там чистенькие, сытые старички и старушки, и у администрации есть дрессированная механическая кукушка. Каждый день на рассвете она кукует раз по 20–30, не меньше, – терапия!

И тут я вырвался на рыбалку. Раннее утро, ветер, слякоть, клева нет. Вдруг кукушка – первая за сезон. Кукует и кукует. Я посчитал – 11 раз! Ну, думаю, врет. А потом пораскинул мозгами – не прервалась, голос чистый, без пауз, почти как метроном. Кто знает, может, правда? А потом заподозрил, что механическая.

Трусость – сестра паники. Смерти я не боюсь. Я боюсь за своих близких. Боюсь случайностей для друзей. Боюсь выглядеть старым. Боюсь умирания постепенного, когда придется хвататься за что-то и за кого-то... «Наше всё» написало очень правильно: «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог...» Будучи молодым, я считал, что это преамбула и не более. Сейчас понимаю, что это самое главное в романе.

Я красивый старик, боящийся стать беспомощным. В общем, диагноз – «старость средней тяжести».

Уже больше сорока лет я в Театре сатиры. Бесконечная полемика об архаичном стационаре и современном антрепризном движении дико надоела своей бессмысленностью и безграмотностью. Тоже мне изобретение – антреприза! В конце позапрошлого века великие антрепренеры собирали театральную компанию, ставили какую-нибудь «Грозу», на пароходе вниз по матушке по Волге плыли до Астрахани и на всех причалах играли эту «Грозу», закусьвая в переплыве охлажденную водку водившимся тогда в Волге осетром с черной икрой.

Когда меня спрашивают, почему я не мелькаю в антрепризах, говорю, что совершенно нет на это времени, и потом, если бы я хотел что-нибудь сыграть, то и в своем театре как-то вышел бы на руководство и договорился с ним. Но если серьезно, положение с репертуарным театром сегодня опасное. Какой-то умный специалист доказал, что торфяные пожары – следствие высушивания болот. Прежде чем бездумно и некомпетентно осушать болота репертуарных театров, не лишне подумать о грядущих пожарах.

К сожалению, не видно консолидации людей, которые прожили жизнь в театре. Все может накрыться в секунду. Почему, когда над Домом актера нависла угроза выселения, он победил? Почему огромное здание на Старом Арбате, на которое слюни текли у множества пошляков-миллиардеров, до сих пор сохранилось как Дом актера? Потому что актеры объединились и закрыли своими телами вход. Сейчас висит дамоклов меч над смыслом театрального существования.

«Я усталый старый клоун, я машу мечом картонным...» Сатира – это уже не мое, она подразумевает злость. Мне ближе самоирония – спасение от всего, что вокруг.

Эрдман, Шварц – вот близкие мне авторы. У них нет злости, есть грусть и ирония. Волшебник из «Обыкновенного чуда» говорит замечательные слова: «Все будет хорошо, все кончится печально».



В спектакле «Обыкновенное чудо» с Валентиной Шарыкиной

Так вот, когда знаешь, что все будет хорошо и кончится печально, – какая уж тут сатира. Сатира должна единственно что – настораживать. Если адресат сатиры не полный кретин, он насторожится, почувяв стрелы. Смеяться нельзя только над идиотизмом: когда человек поглощен какой-то идиотической идеей – его не сдвинешь. Он может лишь злиться, отбиваться. В шутке же, в иронии все-таки есть надежда, что предмет иронии это услышит.

До Валентина Плучека главным режиссером Театра сатиры был Николай Петров. Очень интеллигентный, умный человек. Однажды ему сказали, что Товстоногов поставил прекрасный спектакль, вся Москва ездит в Питер. Он ответил: «Я тоже могу поставить прекрасный спектакль». – «Ну?!» – «А зачем?»

Вот это «а зачем?» здесь всегда было. И это притом что, например, артист Театра сатиры Владимир Лепко получил за роль в спектакле «Клоп» первую премию на фестивале в Париже (это произошло в те времена, когда наши люди не знали, где находится Париж). И все равно говорили вяло: «Ну да...» А рядом существовали «настоящие» театры.

Плучек всегда страдал от этого «...и Театр сатиры». Как начинался театр с синемблужников и ТРАМа, с юмористических обозрений, так этот шлейф и тянулся. Плучек же старался поднимать острые проблемы, и пытались здесь идти «Теркин на том свете», «Дамоклов меч», «Самоубийца». Но все равно это были отдельные гейзеры, заткнутые цензурой, на фоне разнообразных «Женских монастырей». Эту тенденцию никак побороть нельзя. Она и сейчас существует, хотя сегодня все размыто.

Сейчас такое безумие фестивалей и статуэток – невозможно понять, есть ли вообще какие-то критерии. Появилась привычка говорить: «Но это пользуется бешеным успехом у публики...» С таким хихиканьем, как бы оправдываясь: дескать, публика – дура. А публика на самом деле разная. Я знаю, существуют зрители только «Мастерской Фоменко» или только «Современника». У нас такого нет. К счастью или к сожалению – трудно сказать. Думаю, что к сожалению. Но это из-за вывески, она у нас демократичная. И еще зал огромный. Мы не жалуемся на сборы, но иногда смотришь в щелочку перед спектаклем, из кого эти тысяча двести мест состоят, хочется, чтобы были и другие лица. А лица те, которые есть. Да и вообще по лицам трудно определить, нужно им ходить в театр или нет.

Карьера – это мера тщеславия, а у меня тщеславие дозировано необходимостью не выпасть из обоймы достойных людей.

Я случайно попал в кресло руководителя – меня уговорили. Плучек тогда уже болел, не появлялся в театре. Новых интересных спектаклей не возникало, актеры стали уходить.

Мы были ближайшими соседями Захаровых по даче в Красновидове и после ужина садились играть в покер. Ниночка, жена Марка Анатольевича, всегда говорила, что забыла, что ценнее, «тройка» или «каре», но в результате всех обыгрывала. А играли на деньги и на следующий день их пропивали. После игры и расчета в два-три часа ночи шли гулять. Там, на даче, при лучине, Марк Анатольевич стал меня уговаривать возглавить театр. Мои близкие были против, говорили, что я больной, сумасшедший, маразматик и параноик. Жена даже не выдержала: «А если я поставлю условие: я или театр?» Я ответил: «Вообще-то вы мне обе надоели».

Когда меня назначили художественным руководителем, Елена Чайковская, наш известный тренер по фигурному катанию и моя хорошая подруга, сказала: «Давай, Шурка, попробуй!» Она тоже азартный человек. Мне действительно было интересно.

Тут как-то интеллигентнейший Михаил Левитин во время нашей с ним экскурсии по сцене Театра сатиры честно сказал, что, кроме заманчивых возможностей сценического метража и любовно-снисходительного отношения ко мне, лично его здесь все отторгает. Это замечательная, искренняя позиция, редкая в наших ханжеских кругах.

Находясь при этой подозрительной музе больше полувека, я давно научился отделять эмоцию от необходимости. Тут как-то Галя Волчек, отвечая на какой-то вопрос, сказала, что пребывание на посту худрука – это не желание, не выбор, а приговор. Я тоже был приговорен к этому креслу – не как реформатор и крушитель ненавистного прошлого, а как хранитель на плаву этого циркообразного «корабля». У меня в театре никакого амбициозного меркантилизма нет, а есть только необходимость все время ориентироваться на 90-летнюю жизнь этого заведения и стараться быть (конечно, изображая это) патриотом.

Кроме того, моя позиция особая: я сижу в кабинете, а этажом ниже находятся мужские гримерные, еще ниже – женские. И там круглые сутки обсуждается политика театрального руководства:



С Ольгой Аросевой, Валентином Плучеком и Михаилом Державиным

«Он совсем обалдел, надо пойти, надо с ним поговорить...» А дальше я спускаюсь вниз готовиться к спектаклю и моментально присоединяюсь к коллегам: «Он обалдел, сколько можно!» И в разгар бунта они вдруг понимают, что это я и есть. Вот так – выхожу из кабинета и сразу окунаюсь в варильню недовольных руководством. Я недоволен им больше всех. И в этом мое спасение.

Мне все говорят: мягкий, добрый, вялый, где же твердость? Я предупредил, что на старости лет вдруг становиться монстром не хочу. А играть этого монстра скучно. Поэтому – уж какой есть. Но, когда зашкаливает, приходится. Вот с Гаркалиным однажды зашкалило. Он артист востребованный, и мы под него подстраивались, то есть уже были зависимы. Никто не говорит, что нельзя работать в антрепризах. Известно, что все шастают на сторону, и я шастаю. Но должен быть какой-то моральный барьер. Когда в центре Москвы, на Триумфальной площади, висит афиша «Укрощение строптивой» и билеты на спектакль распроданы, а нам звонит жена артиста, занятого в главной роли, и говорит, что артист лежит и не может поднять головы, у него страшно высокая температура и вообще с ним творится какой-то ужас, мы вынуждены давать замену. Зрители сдают билеты, поскольку иногда идут на конкретный спектакль и конкретного артиста. В тот вечер было сдано 600 билетов – это половина зала. Огромные деньги для театра. И в это время помирающий Гаркалин на сцене театра «Содружество актеров Таганки» играет премьеру какого-то антрепризного спектакля. Москва – город маленький, нам, конечно, тут же доложили. Наш замдиректора поехал туда, купил билет, сел в зал и дождался выхода Гаркалина – чтобы потом не было разговоров, что это неправда.

Тогда все в театре затаились, думали: «Ну, этот добренький сейчас скажет: «Поставьте ему на вид» – и всё». Но я выгнал, и все сказали: «Смотри, проявил характер, Гаркалина выгнал, молодец». Проходит какое-то время, и уже слышу: «Выгнать такого артиста!» Но тем не менее возврата нет.

Театральные постановки рассыпаются очень быстро – это, к сожалению, свойство нашего вида искусства.

Ужас еще в том, что в театре ролей никто не просит. От ролей теперь отказываются. Раньше за роль глаза выгрызали, а сегодня... В Театре сатиры приходят ко мне мои ученики: «Отец родной, извини, в этом году я репетировать не могу». – «Почему?» – «У меня 80-серийный фильм. И это не «мыло». Возможно, там будут сниматься Шварценеггер, Роберт Де Ниро. А может, даже сама

Заворотнюк». Я начинаю орать: «Театр – твой дом родной! Тебе не стыдно, зачем тебя тогда учили?» Они кивают, плачут, становятся на колени. Объясняют: квартира, развод, маленький ребенок.

Разве я могу им что-то запретить? Но репертуар на месяц составить невозможно. Эта туда отпрашивается, тот – туда. Если в спектакле играют десять актеров, которые востребованы в кино, вычислить день, чтобы они одновременно были свободны, практически невозможно.

Когда мои ученики спрашивают, можно ли им участвовать в телевизионной рекламе, отвечаю: «Можно. Но нельзя сниматься в виагре, перхоти и пиве». Говорю актрисам: «Вот ты вымыла голову в кадре, и у тебя пропала перхоть. А вечером ты выходишь Джульеттой на сцену, и все в зале шепчут: «Ой, это та, у которой себорея». Джульетта с перхотью невыносима!

У нас замечательная молодежь в театре. Хотя молодежь – понятие условное. Было время, когда в Малом театре великий Михаил Иванович Царев играл Чацкого в 60 лет. Его боялись как огня. Он влетал на сцену, плюхался на колени и произносил: «Чуть свет уж на ногах! и я у ваших ног». А потом тихонько говорил Софье: «Поднимите меня». И дрожащая молодая Софья его поднимала.

Сорок лет назад, играя короля Людовика в спектакле «Мольер» у Эфроса, я чувствовал себя как кум королю. Король мой был молодой, хорошенький, шикарно одетый, бесконечно нахальный, при замечательном режиссере. Когда кто-то обращался к королю: «Ваше величество», я говорил: «Ау...» И вот постепенно дополз до зависимого, несчастного, стареющего, комплексующего Мольера в спектакле «Мольер», поставленном Юрием Ереминым. Что такое иметь свой театр, им руководить и при этом в нем играть – я знаю наизусть. Мольер в спектакле кричит, что он окружен врагами, – и это единственная реплика, которую я играю гениально.

Темы «художник и власть», «художник и государство», «худрук и труппа», «старый начальник и молодая актриса» – никуда не деваются. Но говорить о том, что художников сегодня давят, травят, –

смешно. Да и Мольеров маловато. Известно, какие напряженные отношения были у Булгакова со Сталиным. Тот занимался Булгаковым скрупулезнейше: звонил, переписывался, правил... Это была животная заинтересованность властителя в художнике. А нынешние политики в театры ходят редко. Но успевают курировать водное поло, хоккей, волейбол. Я вот мечтаю, чтобы кто-нибудь из администрации президента взял «на поруки» Театр сатиры. Ходил бы на премьеры, и по всем телеканалам показывали бы: вот замглавы с женой и детьми пришел на спектакль в Театр сатиры, и вообще он член их художественного совета... Сказка!

Это физиологическое ощущение – любить начальство, от которого зависишь. Не одни актеры грешат. Многие непримиримые журналисты резко меняются на очном приеме у высокого руководства. На печатных страницах и на экране они такие иронично-яростные, а при встрече... Я как актер не могу этого не видеть: текста, конечно, никакого при этом не произносится и в глазах огонь, но поза выдает – выя склоненная.

Вся жизнь, все муки Театра сатиры – чтобы было остро. Что такое острота прошлых времен? Это аллюзии, «фиги в кармане», ассоциации, намеки. Впрямую – ничего. Во времена застоя у нас были реальные попытки сделать что-то острое. Но у несчастного Плучека закрыли на сдачах 11 названий!

Мой спектакль «Недоросль» прошел всего семь раз, потом нас вызвали в управление культуры. Замначальника Управления был Михаил Шкодин, мой соученик по Щукинскому училищу, который сначала уехал по распределению в Тмутаракань, потом вернулся и просился ко мне на курс ассистентом, чтобы где-то подработать. Я его взял на дипломный спектакль. Прошло несколько месяцев, он заканючил: «Пару раз не приди, чтобы я сам». Я пару раз не пришел, после чего студенты сказали: «Если еще раз он появится один, мы уйдем из училища». Из училища ушел он. И стал замначальника Управления культуры Москвы.

Мы шли к нему на прием, на обсуждение спектакля «Недоросль» – Плучек, Юлий Ким, я. При нашем появлении он мне

шепнул: «Только без «Миши». Он боялся, что я при всех назову его Мишей – а это мне по рангу не положено. Он – большой начальник, а я – мелкий клоун. Во время обсуждения Шкодин сказал сакраментальную фразу: «Издеваться над Фонвизиным я не допущу». Он обиделся за своего дружбана Фонвизина, и спектакль закрыли.

Сейчас, когда одни кричат о свободе слова, другие – о том, что пора ввести цензуру, я скорее за ввод цензуры. В смысле фильтра, ценза. Ведь кроме хрестоматийных душителей свободы в советское время и в театре, и в кино, и на телевидении была замечательная армия профессиональных редакторов – знающих, интеллигентных. Была высококлассная редактура, которая существовала вне зависимости от этих политических нюансов, а редактировала с точки зрения вкуса и мастерства. Сейчас это отсутствует полностью. Теперь все отдано на откуп продюсерам. А им нужна морда и ноги от ушей, чтобы за месяц вылепить звезду.

Раньше было сито из проверок, поэтому, когда хотели что-то сказать, говорили эзоповым языком. Из-за этого театр поневоле становился сложнее, изобретательнее. И все стремились увидеть спектакль, пока его не закрыли. Сейчас же что хочешь играй, что хочешь закрывай. И неизвестно, что лучше.

Раньше у режиссеров была задача раскрыть идею автора. Попытаться понять, что он имел в виду. Сейчас у модных режиссеров диаметрально противоположная позиция.

Всем хочется не раскрыть автора, а, наоборот, закрыть. Чтобы показать всем собственную точку зрения на тот или иной материал.

Я работал с хорошими режиссерами: Михаилом Туманишвили, Анатолием Эфросом, Валентином Плучеком, Марком Захаровым, Олегом Ефремовым. При всей разнице их методов они пытались раскрыть, что имел в виду автор. Даже если ставили не классику, а современную пьесу, они все равно старались докопаться до ее глубинного смысла. Никому не приходило в голову сказать: «Ох уж этот автор! Как он мне мешает высказать то, что мне хочется!» – и перевернуть все вверх тормашками.

Правда, это если говорить о хороших авторах. Поиски комедий и сатирических пьес – вечная боль. Очень нужны современные пьесы. Не хочется в шестьдесят пятый раз издеваться над Чеховым при помощи Тригорина-педераста.

Или слышали об «Анне Карениной-2»? Она спаслась. Осталась, правда, без ноги, голова в гипсе. Виктюк хотел это ставить. Я сказал: «Ставь». Спросил, кто будет играть Каренину. Он сказал: «Аросева». Я говорю: «Ты только ей скажи. Опиши, как она выглядеть будет». У нас так все и завяло. Поставили в другом театре.

Чего я только не сыграл в Театре сатиры! Не сыграл Остапа Бендера, хотя все прогрессивное театральное человечество до сих пор считает, что сыграть его я должен был обязательно. Даже Леонид Гайдай, который перепробовал на роль Остапа Бендера половину мужского населения России, признавался мне, что жалеет о несостоявшемся нашем романе, а Марк Захаров снимал Андрея Миронова в роли Остапа с моей личной трубкой в зубах и с моим тусклым блеском в глазах, как говорил мне Андрей.

Не сыграл я сначала Ставрогина, а потом Верховенского-старшего в «Бесах» Достоевского, к которым пару раз подступался Валентин Николаевич Плучек.

Не сыграл я Кречинского, зыбкую мечту моей актерской судьбы, хотя вроде бы годился для этого, и, как с возмущением рассказывал мне покойный Владимир Кенигсон, сыгравший Кречинского в Малом театре, на репетициях спектакля Леонид Хейфец призывал его: «Ничего не делайте, играйте Ширвиндта». Проще было бы взять на эту роль первоисточник.

Была попытка воссоздать Кречинского на сцене Театра сатиры. Семижильный Михаил Козаков сам написал инсценировку – помесь Сухова-Кобьлина и Колкера под названием «Игра». Этот спектакль мы целиком сыграли в репетиционном зале, но волею судеб – а судьбами в театре вершат эмоции, амбиции и опасность успеха пришедших художников – на зрителя мы так и не вышли, к большому горю моему и Спартака Мишулина, интересно репетировавшего Расплюева.



*В спектакле «Клеменс» по литовской пьесе
в переводе Григория Горина*

В своей книжке Марк Захаров написал, что «Ширвиндт, наверное, все-таки не артист... Тем более не режиссер. Если спросить, кто он такой, отвечу, что профессия у него уникальная. Он – Ширвиндт». Марк, выпустив книжку, позвонил узнать, как я отнесся. А как я отнесся?! Хамские, конечно, строчки, но он прав. Нет во мне этой лицедейской страсти. Есть актеры патологические, физиологические. Они не могут не играть. И есть актеры, ставшие таковыми, ну, в силу обстоятельств, что ли. Я из вторых. Хотя первым всегда завидовал. Вот покойный Владимир Басов – замеча-

тельный режиссер, а не мог не играть. Включишь телевизор, а он в какой-нибудь детской передаче под кочкой сидит – и счастлив. Хоть водяного, хоть лешего, хоть кота, хоть сморчка озвучивать. Табаков такой, Гафт. Миронов таким был. А я играть ведь не очень люблю. Репетиции люблю, премьеры. А вот выходить на сцену в солом спектакле – скучно. Иногда я думаю, что все-таки с профессией не угадал.

Но был один драматически не сложившийся поворот моей профессиональной жизни, и связан он с Олегом Ефремовым. Несбывшаяся великая мечта. Несбывшийся театр.

Когда нависла угроза сноса «Современника» – не как коллектива, а как дома на площади Маяковского у гостиницы «Пекин», – перед Ефремовым замаячила возможность переселиться в Театр киноактера на улицу Воровского. Мечта овладела Олегом, он меня вызвал в ресторан, и под литра полтора выпитой водки мы провели свой «Славянский базар», доведенный до абсурда. Он залез в гибельные выси, силой своей жуткой убедительности рисуя мне картину единственного в мире театра, где внизу, на большой сцене, он, Олег, будет творить свое, вечно живое, глубоко мхатовское, а я наверху, в уютном маленьком зальчике, буду заниматься своей «х...ней».

«Открываемся двумя сценами, – мечтал он. – Внизу, на основной сцене, «Вечно живые». А сверху ты, со своей...»

В этом противопоставлении не было ничего обидного. Напротив, собирательное существительное ласкало слух и распаяло воображение.

Он видел в этом соединении возвращение к мхатовской многокрасочности. Там, внизу, настоящее, глубокое, психологическое, а наверху – я.

Помещение на Воровского не дали, и мечта растворилась.

Мы с Олегом дружили, но виделись редко. Вспомнили про этот проект, когда встретились незадолго до его смерти на юбилее замечательного журналиста Егора Яковлева в ресторане «Гастроном». Туда была приглашена вся Москва: от Горбачева до последних живых диссидентов. Я даже подумал: взорвись здесь бомба – конец демократии. Как обычно, что-то произносили, шутили.

В разгар веселья я стал тихонько собираться на выход. А в тот момент как раз уводили Олега. Он уже не мог долго без кислородной машины. Мы столкнулись в холле. Он подошел, обнял меня, буквально повис на плечах и говорит: «Мы просрали нашу с тобой биографию, Шура». И ревет. И я реву. Так вдвоем и стоим. Через месяц его не стало.

У меня была в нашей компании кличка Маска. Очевидно, не случайно. Просто в молодости я увлекался Бастером Китонем из ранних американских фильмов и Анатолием Кторовым из настоящего МХАТа, которые пленяли меня каменностью лиц при любых актерских переживаниях и сюжетных катаклизмах.

Внутри все кипит и бушует, а на лице – маска. Очень удобная придумка. Я ее взял на вооружение в свои актерские арсеналы. Не устаю повторять студентам, что четыре года театрального образования – это, помимо приобретения разных навыков, попытка понять, что ты можешь, что не можешь, что тебе идет, что нет. Улыбаться – твое. Сердиться – нет. Смеяться тебе идет, но не в голос. И так далее. Отсюда складывается ампула, с которым тебе дальше работать. Его можно преодолевать, его можно ломать, но нельзя делать вид, что его не существует.

Разные актеры по-разному сосуществуют с образом. Когда я был молодым (а это было так давно, что уже – неправда), настоящие артисты подолгу гримировались, искали свой внешний облик. Это была целая система – от внешнего к внутреннему. Толя Папанов, удивительный артист, не мог позволить себе выйти к зрителям, наспех запудрившись. Часами делал себе нос, уши... Так он перевоплощался.

Есть и другой вариант. Мой. Через внутреннее – к внешнему. Я никогда не любил клеить носы. В моем нынешнем репертуаре Театра сатиры все-таки больше ролей, где я – это именно я в предлагаемых обстоятельствах, как учил Станиславский. А вот так, чтобы стать совсем неузнаваемым, – это я не практикую. Хотя, конечно, страшно интересно через образ другого человека доносить до зрителя что-то свое.

Сегодня эпитет «великий» стал расхожей монетой, звезд пекут на фабрике, и капризная косноязычная дива мяучит с экрана, что «нам, звездам, трудно»... Множество звездорванок заполняет нестойкие души зрителей, размывая понятия и градации. А великие были. Мой любимый актер – Николай Гриценко. Амплитуда его дарования была бесконечной. Помню, он репетировал милую французскую пьеску «Шестой этаж». В ней все происходило на лестничной площадке какого-то дома в Париже. И вот Николай Олимпиаевич выпросил у Рубена Николаевича Симонова возможность самому поставить этот спектакль. Никогда в жизни он режиссурой не занимался.

Нас, студентов, вывезли тогда в Киев на гастроли Театра имени Вахтангова – играть в массовках «Великого государя» и в «Двух веронцах». Киев. Лето. Все ведущие артисты расхвачаны прямо с вокзала по обкомовским, цековским дачам и пляжам. А Николай Олимпиаевич посреди этого гастрольного разгула репетирует в духоте и жаре на сцене Театра Леси Украинки.

Я сидел в зале и смотрел, как мучаются мэтры – Максим Греков, Лариса Пашкова, Нина Нехлопоченко и Владимир Осенев. Это была мистика. Николай Олимпиаевич стоял посреди зала в проходе. «Стоп, стоп, стоп! Максик, ты понимаешь, какая история. Вот ты выходишь и говоришь: «Здравствуй!» А он – француз. Понимаешь? Ты говоришь: «Здравствуй!», а что «Здравствуй»? Ведь он француз. Или ты, Лариса, выходишь и говоришь: «Здравствуй, Поль!», а она французенка. А он француз. А ты: «Здравствуй, Поль!» А потом ты выходишь и говоришь: «Чего это вы?» А он француз». Актеры, мысленно купаясь в Днепре, начинают снова. Он опять: «Стоп, стоп! Максик, ну ты что? Ты говоришь: «Привет!» А он француз». И так – снова и снова. Тогда Греков просит Гриценко: «Коля, покажи». И Коля, который дальше Малаховки никуда в жизни не выезжал, выходит и играет четырех французов – двух баб и двух мужиков. Тонко, изящно, разнообразно и лихо. Вот что такое божеское.

Помню, как Гриценко в роли скрипача играл на скрипке, не учась этому ни дня! Я сам, извините, скрипач и, как трудно на ней играть, понимаю. В жизни же Коля был простоватым. Мы с ним

дружили. Как-то мы гуляли в Доме актера, а он тогда в очередной раз развелся, получил новую квартиру. И вот он мне говорит: «Шура, поехали ко мне, посидим как люди, у меня кое-что есть...» Приехали. У него в холодильнике – полбутылки зубровки и поллимона... Всё! Это называлось, посидим как люди.

У каждого человека к определенным годам, если он здравомыслящий и не до конца закомплексованный, наступает ослабление чувства профессиональной зависти. «Да ну, – думаем мы, – если поднатуриться... Ах, это уже было! Ах, это мы уже делали!..» Остро завидуешь только одному – тому, что не приходило и не могло прийти в голову. Вот Анатолий Папанов был субъектом крайне индивидуальным, парадоксально мыслящим. Бывало, вякнет Папанов что-нибудь, отсмеются окружающие, и понимаешь: да, никогда бы не догадался.

Театр сатиры летел на гастроли в Милан. Мы – давно в воздухе, вдруг объявляют, что по техническим причинам будет дозаправка в Лихтенштейне. Сверху это карликовое государство – как театральный макет: домик-домик, садик-садик, капельки бассейнов, булавочки башен... Снижаемся, снижаемся, но от самой земли не-



С Анатолием Папановым в спектакле «Горе от ума»

ожиданно вновь взмываем вверх и улетаем. И тут Толя говорит: «Ну вот, не вписались в страну!»

Часто на творческих вечерах, когда и Державин, и Миронов были на основной сцене, я делил площадку с Анатолием Папановым. Мы не играли с ним вместе – мы сосуществовали: отделение – он, отделение – я. Всегда поражался какой-то прямо-таки звериной отдаче Папанова на сцене. Маленький, занюханный провинциальный клубик или сцена Дворца съездов – одна и та же запретельная мощь и стопроцентное «отоваривание» зрителя.

Мне всегда было страшно трогательно слушать, с чем бы он ни выступал, будь то пушкинский «Медный всадник», монолог городничего или блестящий шедевр – музыкальный монолог полотера Дома писателей из пьесы Дыховичного, Масса, Слободского и Червинского «Гурий Львович Синичкин», где он, в полном гриме Льва Толстого, с босыми ногами (сделанными по личному папановскому эскизу, с пятнами половой мастики на ступнях, с огромными «рабочими» пальцами), заканчивал свое отделение неприхотливым стишком:

Не знаю, сколько жить еще осталось,
Но уверяю вас, мои друзья,
Усталость можно отложить на старость,
Любовь на старость отложить нельзя.

Он вкладывал в это четверостишие какой-то тройной, одному ему понятный смысл, как будто знал, что жить осталось недолго.

Ощущение, что таланту все дозволено и обаяние победит, иногда приводит к театральным катастрофам. Федор Михайлович Бурлацкий, известный американист, написал почти документальную пьесу «Время решений», где артисты Театра сатиры под руководством Плучека решали, бомбить Кубу или не бомбить. Андрей Миронов играл Кеннеди, Державин – Роберта Макнамарру, министра обороны, Юрий Васильев – брата Кеннеди, я – советника по печати президента Пьера Сэлинджера, Диденко – Фрэнка Синатру, Рая Этуш – Жаклин Кеннеди, Алена Яковлева – Мэрилин Монро. Мы себе ни в чем не отказывали. Спектакль прошел раз десять.

Наш незабвенный, штучный артист и человек Спартак Мишулин исполнял в этой фантазмагории роль начальника американских штабов Томсона и не мог выговорить слова «бомбардировка». Державин посоветовал ему написать это слово на бумажке. И Спартак Васильевич в арифметической тетради для первого класса дочки Карины большими буквами вывел: «Бомбардировка». Он скатывал листок в трубочку и входил с ним в Овальный кабинет. Там он распрямлял листочек и по слогам читал: «Предлагаю начать борбан... банбар...»

Весь Овальный кабинет отворачивался в судорогах. И вот очередной спектакль. Выходит Мишулин и произносит: «На понедельник... – тут все ждут мук с «бомбардировкой», – назначен бомбовый удар по Кубе».

Это уже было нам не под силу! А у Андрея – дальше текст, и он не в состоянии его произнести. Вдали сидит Владимир Петрович Ушаков, игравший будущего президента Соединенных Штатов Линдона Джонсона. Миронов ему: «Линдон, а вы что молчите?» Тот говорит: «А почему я? У меня вообще здесь текста нет».

Вышла замечательная рецензия на этот спектакль, после которой его и закрыли: «Вчера в Театре сатиры силами «Кабачка «13 стульев» был разрешен Карибский кризис».

Страшная актерская болезнь – привыкаемость к узнаваемости. Ужас этого недуга в том, что узнаваемость подчас исчезает, а привыкаемость к ней – никогда. Тот же Спартак Васильевич Мишулин. 70-е годы. У площади Маяковского был тогда, если ехать от Белорусской, левый поворот на Садовую. А Мишулин как раз там жил – угол Садовой и Чехова, в первом актерском кооперативе, который раньше назывался «Тишина» (в этом доме ночью ощущение, что спишь на проезжей части Садовой). Спартак Васильевич в то время был пан Директор из «Кабачка «13 стульев», и его знала каждая кошка.

Он только что купил машину и, будучи молодым автомобилистом, плохо ездил. Боясь, что не успеет перестроиться в левый ряд, он от Белорусского вокзала двигался по осевой. Сзади гудели, но он не уступал. И вот едет он, а на перекрестке – постовой. Раньше встречались такие постовые, которые и летом стояли с

обмороженными лицами. Они были обморожены навсегда. Стоит этот младший сержант – ему лет 65, дослужился. И он стопорит на осевой Спартака Васильевича. Мишулин привычно открывает окно, делает челку, как у пана Директора, и его голосом говорит: «Привет!» Постовой ему: «Что привет? Документы!» Тот говорит: «Я пан Директор». Постовой: «Чего ты пан?» Оказывается, он не смотрит телевизор. И Спартак Васильевич становится совершенно беззащитным.

Узнаваемость... Захожу как-то в лифт, за мной вскакивает здоровенный детина. И говорит: «Можно я с вами прокачусь? Вы знаете, моя бабушка была вашей поклонницей, правда, она умерла восемь лет назад. И теща моя вас любит, но она сейчас в реанимации...»

Важно, чтобы сумма долголетней узнаваемости переходила в славу. То есть количество в качество. Пик моей славы был покорен несколько лет назад. Я сидел на «Эхе Москве», где меня пыталась опытная искусствоведка и старалась понять, не до конца ли я скурвился. Я выкручивался как мог. Закончился эфир, я вышел на улицу и забежал в подвальчик на Старом Арбате с буквами «М» и «Ж». Там на входе сидела интеллигентная старая дама – в вольтеровском кресле, которое она, очевидно, приволокла из дома. Я нырнул. Выхожу, вынимаю 10 рублей и слышу в ответ: «Что вы! Что вы! Для нас это такая честь!»

Татьяна Ивановна Пельтцер при жизни была архипопулярной. С жутким характером, но доброты необычайной. Правда, доброй она была в отношении тех, кого любила. А тех, кого не любила, она ненавидела. В Театре сатиры работал известный артист Борис Новиков. Они друг друга не могли терпеть. Боря был пьющий, опаздывающий, не приходящий на спектакль. И когда его вызывали на партбюро, хотя он не был партийным, то устраивали ему порку, чтобы потом взять на поруки и оставить в театре. Основным обвинителем была член партбюро Татьяна Ивановна Пельтцер. Она говорила: доколе, нет сил терпеть, он позорит театр. На одной из разборок, когда дали последнее слово «подсудимому», он обещал,

что больше это не повторится, и закончил свою речь так: «А вы, Татьяна Ивановна, мне надоели. Вас все боятся, а я скажу прямо: «Имейте в виду, вас никто не любит, кроме народа».

Театр – учреждение с огромным диапазоном профессионального разброса. И все же самые опасные люди в театре даже не артисты. Самые опасные – это старушки на служебном входе. Они абсолютно очаровательны и совершенно невыносимы. Когда меня назначили хударком, я должен был срочно, в три дня, подготовить чей-то очередной юбилей. Репетиция, труппа на сцене. Я весь в мыле суечусь в зале. И тут по проходу идут два божьих одуванчика. Одна сидит у нас на входе, вторую вижу в первый раз, обе решительно направляются в мою сторону. Останавливаются. «Это не он!» – громко говорит незнакомая старушка. «Это он!» – уговаривает еще решительнее наша бабушка. «Это не он!» – «Это он!» На сцене все замерли, прислушиваются к ожесточенному диалогу. Я себя чувствую предельно глупо. «Мне нужен главный механик!» – говорит неизвестная. «Он и есть главный механик. Вчера назначили!» – заявляет наша. Так вот уже больше десяти лет я занимаю должность «главного механика»...

Мужчина должен копать, пахать, колоть, ковырять, в крайнем случае руководить, а не пудрить лицо. Я, конечно, утрирую, но что-то немужское в лицедействе есть.

Я стараюсь считать себя педагогом, профессором, может быть, немножечко режиссером. Актером же в чистом виде к моим годам считаться уже нехорошо. Надо иметь какую-то настоящую профессию, актерства для мужчины маловато. Нерон вот был хорошим актером. Но при этом он все-таки был Нероном.

Есть такой анекдот. Почивший в бозе актер оказывается в накопителе между раем и адом. В дверях ему говорят: «Вам налево». – «Как налево?! Там же – ад!» Ему отвечают: «В раю актеры как класс отсутствуют». Он недоумевает: «Ну как же так! Я вел такой правильный и праведный образ жизни...» – «Знаем. Но здесь правило: не пускать актеров в рай». И вдруг он видит: по раю ходит его коллега. «А вон! Вон! Ходит же!» – «Да какой он актер...»

Искренне сочувствую другу и коллеге Марку Захарову, за короткое время потерявшему Сашу Абдулова и Олега Янковского. Словно злой рок преследует Ленком. Но и с Театром сатиры было нечто подобное, когда в течение месяца ушли из жизни Папанов и Миронов. Потом последовали смерти Рунге, Ткачука, Менглета. У нас спектакли слетали из афиши, как желтые листья с деревьев. Кажется, Сталин сказал пошлую фразочку, что незаменимых нет. Чушь полная! Есть потери, которые не компенсировать. «Гнездо глухаря» – Папанов, «Фигаро» – Миронов. Да, после ухода Мишулина мы сохранили в репертуаре «Малыша и Карлсона», нашу «Турандот» для детей, но все понимают: это роль Спартака. Не в обиду молодым актерам будет сказано. Еще одна огромная потеря – Ольга Аросева.

Невольно начинаешь думать, что Всевышний всерьез нацелился собрать великолепную труппу для небесного театра теней. Может, и мне там какая-нибудь роль припасена. По обыкновению – второго плана.

Мне очень не хватает фанатизма. Чтобы настолько быть поглощенным одной идеей, что, к примеру, до ста лет ставить только «Чайку» и поставить еще раз, потому что все-таки недовысказался. Великая вещь. У меня такого нет. Да, я выпустил спектакль, да, волновался, но ни от чего голова кругом не идет и не хочется сказать себе: либо ты сделаешь это, либо грош тебе цена.

Присутствует во мне некая трусливая апатия. Вроде бы достиг такого возраста, что уже все видел и практически ничем самого себя удивить не могу. Скучно и тупиково.

Старость – аритмия сердца, желаний и надежд. Именно желаний, а не возможностей. Ну, добежать, долюбить – с этим все понятно, а именно отсутствие острой необходимости, острого хотения что-то сделать.

У нас в театрально-педагогических кругах есть такая традиция. Приходит студент-красавец. Два метра ростом, белые курчавые волосы, голубые глаза, торс. Ну явно Ромео или Джеймс Бонд. Где-то на третьем курсе ему обязательно дают сыграть в отрывке Гобсека или какого-нибудь маразматика. Это называет-

ся – на сопротивление материалу. Моя сегодняшняя беготня по сцене – это на сопротивление материалу. Потому что материал совершенно уже не бегают, но сопротивляться надо.

Раньше жить было проще из-за отсутствия вариантов. Росли, любили, не знали, что живем в застенке, знали, что там, на Диком Западе, дядя Сэм. Кто это такой, я до сих пор не понимаю, хотя внешне его хорошо себе представляю по рисункам Кукрыниксов. Потом все перевернулось. Великие Кукрыниксы на скло- не лет судорожно доказывали, что в основном они оформляли



С Андреем Мироновым перед заплывом

Гоголя, а бесконечные карикатуры на «тот мир» в виде червячных выползков – это хобби. Сергей Михалков вспомнил, что он еще и детский писатель, и в нем вновь потекла дворянская кровь его детей. Козаков уехал в Израиль и сменил там, не зная языка, все руководство страны. И это он сделал в трезвом уме и твердой памяти, а если, не дай бог, сорвался бы и напился, то моментально присоединил бы к Израилю Иорданию, а Голанские высоты с безумных глаз отдал Голландии.

Ах, заграница! Она была для нас только одна – Болгария! Потом их стало уже три. Ближняя – бывшие наши республики, средняя – бывший социалистический лагерь и дальняя – настоящая и вечная мечта всех русскоязычных артистов. И мы, гуляя по Лос-Анджелесу, зажмурившись, как перед прыжком с трамплина, заходили в кафе для бездомных и смело съедали гамбургер с чашечкой мутного кофе, и ничего, не падали в обморок, заплатив пять долларов за завтрак. Тут только ни в коем случае нельзя было умножать доллары на курс рубля, а то получалось, что ты съел за обедом мохеровую кофточку для жены, и обморочное состояние возникало непроизвольно.

То ли дело светлые застойные времена, когда случались запланированные за несколько лет, выбитые с трудом, интригами и личными контактами, редкие гастроли театра в свободный мир. Как правило, делалось это «в порядке обмена». Мы к ним, они за это к нам. Ну, Болгария, Чехословакия, Венгрия – с этим попроще, но иногда случайно возникала Италия.

Посредством мистических обстоятельств провинция Реджо-Эмилия вдруг оказалась прокоммунистической ориентации. Сенатор-миллионер тоже хотел коммунизма и, посмотрев, естественно случайно, эпохальное произведение Маяковского «Клоп» в Театре сатиры, решил, что проблема обуржуазивания пролетариата крайне волнует все население Реджо-Эмилии и этот спектакль срочно надо показать в Падуе, Болонье, Венеции и других «провинциальных» городах Италии.

Как потом выяснилось, зрительский интерес к Маяковскому в Венеции был несколько ниже ожидаемого, но те несколько че-

ловек, которые рискнули взглянуть на Присыпкина с командой, принимали спектакль восторженно, что дало возможность газете «Советская культура» написать о триумфальном успехе наших гастролей. Сколько именно зрителей стали свидетелями триумфа, не уточнялось, да и не в этом же дело, так как гастролеры не коммерческие, а коммунист-миллионер, очевидно, шел на это. Морально было несколько тяжеловато, но... Италия, суточные и полные чемоданы тушенки и плавленых сырков выветривали грустные мысли о зрительском равнодушии. Кстати, предупреждения компетентных органов перед выездом о готовящихся провокациях, слежке, а главное – о невозможности провезти через итальянскую таможенную живую продукт питания оказались несостоятельными.

Даже обидно, до чего мы там никому не были нужны, и, если не воровать в магазинах по-крупному, никто на тебя внимания не обращал. Что касается продуктов питания, то действительно их пропускали в страну пребывания с неохотой, боясь инфекции. Спасал тот факт, что наши продукты питания, и особенно их упаковочная расфасовка, приводили таможенников в недоумение. Так, например, наш замечательный баянист, впоследствии заведомо культуры МГК партии, вез в футляре рядом с баяном несколько тонких банок шпрот. Сам по себе черный потертый футляр и незнакомый инструмент в нем насторожили таможенную, но, когда офицер стал осторожно извлекать из пространства между футляром и собственно инструментом одну за другой плоские металлические лепешки, завывла сирена. Замигало что-то. Прилетевший коллектив был моментально окружен автоматчиками, сам баянист был схвачен двумя дюжими пограничниками, а третий осторожно водил миноискателем по шпротам. Сигнала не зазвучало, и тогда главный таможенник жестами попытался спросить будущего идеолога: что это за снаряды? Будущий идеолог, в совершенстве не владея ни одним языком, также жестами пытался объяснить офицеру, что он это ест. Так как любой цивилизованный человек, взглянув на коробку шпрот, понимал, что есть это нельзя, будущего идеолога попытались арестовать. Тогда решительный солист оркестра неожиданно выхватил маленький перочинный нож, со скоростью звука привычно вскрыл банку и на глазах ошеломленной таможенни

этим же ножом сожрал нехитрое содержимое минообразной емкости. Главный офицер охнул, испуганно взглянул на огромный коллектив с огромными чемоданами и, махнув рукой, дал команду пропустить дикарей оптом...

Огромный двухэтажный автобус мчал прославленный театральный коллектив по осенней Италии. Было весело, бездумно, раскрепощенно. Вечером прославленный коллектив подвезли к мотелю под Миланом. Мотель, отдаленно напоминавший санаторий 4-го управления Минздрава СССР, был мертв – в нем царило осеннее безлюдье. И вдруг такая неожиданная радость – подъехал автобус с людьми, и моментально вспыхнули люстры вестибюля, зажглись огни на кухне ресторана, с улицы сквозь окна первого этажа стало видно, как застучали ножи в руках поваров, как забеспокоились официанты в ресторанном зале.

Коллектив готовился к выгрузке и поселению. «Киловаттники не включать! Убью!» – раздалась команда-призыв Анатолия Папанова, и коллектив потупил взоры. Дело в том, что ведерный кипятильник (в просторечье киловаттник) уже неоднократно срывал зарубежные гастроли прославленного коллектива. Рассчитанный на огромное ведро и подключение, очевидно, напрямую к Днепрогэсу, он никак не влезал в эмалированные кружки, не подключался к сети даже через хитрые переходники в виде двух оголенных проводов, прикрученных к советским спичкам, и, что самое гнусное, замыкал электрическую сеть любого отеля. Возили же его некоторые буйные головы исключительно из-за скорости закипания в любой емкости, куда его удавалось вводить, вплоть до биде.

Итак, прославленный коллектив прошествовал мимо услужливых портье и заискивающих метрдотелей к лифтам и, получив ключи, стал размещаться. Прошло минут шесть, в мотеле прозвучал знакомый звук лопнувшего воздушного шарика, и настала тьма. Зашебуршившийся коллектив выполз из номеров с криками:

– Ведь предупреждали! Нельзя врубаться всем сразу. Что за жлобство!

– Соковнин! Убью! – перекрыл весь гомон властно-гневный крик Папанова.

Очевидно, Толя заподозрил Юрочку Соковнина в баловстве с киловаттником, и теперь прославленный коллектив во главе с Папановым вслепую пустился на поиски гастролера-нарушителя, чтобы изъять нагревающее устройство и наказать, если удастся.

Свет дали не сразу, потому что, как выяснилось, Соковнин вырубил не только отель, но и всю фазу микрорайона. По возникновении света и некоторой стабилизации настроений те, кто ужинает без подогрева (сыр, хлеб, вода из-под крана), спустились в холл и небрежно раскинулись в креслах, ведя интеллектуальные разговоры о том, кто чего съел. В дверях ресторана стоял весь коллектив заведения, включая поваров, и с ужасом непонимания глядел на проживающих. Как! Ни один из шестидесяти трех гостей, приехав вечером в мотель, расселившись, помывшись и спустившись в холл, даже не подошел к двери ресторана и бара.

«Инопланетяне!» – было написано на лицах служащих. А из-за их спин пахло жареным: что-то готовилось и, судя по всему, сервировалось.

Ах, гастроли застоя! Рядом с мотелем простиралось свежееубранное поле кукурузы. Артисты утром выходили подышать свежим воздухом, делали на поле зарядку – поклоны вперед и в стороны – с одновременным собиранием довольно обильного урожая кукурузы, так как даже в Италии потери при уборке довольно велики.

Милый, добрый и наивный Даня Каданов стеснялся рыться в поле, но в парке культуры и отдыха какого-нибудь Милана, сидя у фонтана с коркой черного хлеба, занимался небольшим change (обменом) с ручными белочками, снующими по аллеям. Местные жители кормили белочек бананами, апельсинами, грецкими орехами. Даня же, увидев в лапах белки очередной продукт, привлекал ее внимание коркой черного хлеба, которая для нее была экзотикой. Белка прыгала к Данечке на колени, тот незаметно отнимал у нее орех или надкушенный банан и ждал следующую жертву.

Только очень дальновидные и серьезные артисты умели правильно подготовиться к долгим гастролям. Например, в голодную Италию. Пижоны, типа меня с Андрюшей Мироновым, делали вид, что не будут крохоборствовать: «Черт с ними, со шмотками!

Один раз живем». Все эти пижонские настроения кончались через секунду после приземления, но было уже поздно: есть хотелось, а в чемоданах, кроме кривой палки сухой колбасы, ничего. И начинались муки бродяжничества с протянутой рукой.

Рим! Прославленный коллектив расселяется в пригородном мотеле, где у каждого из «первачей» свой коттедж и лужайка при нем. Коттеджи все не пронумерованы, а имеют экзотическо-ботанические названия: «Лилия», «Роза», «Эдельвейс». Помывшись в «Розе» и откусив копченой колбасы, мы с премьером стали думать: к кому? Выбор был невелик, ибо закон гастрольных джунглей очень суров. Через лужайку уютно светился коттедж «Эдельвейс» – место проживания Спартака Мишулина. Поколебавшись минуту-другую, мы короткими перебежками пересекли лужайку и поскреблись в дверь всегда гостеприимного, но крайне осторожного Спартака.

– Кто? – услышали мы испуганно-хриплый голос хозяина, как будто в далекой сибирской сторожке зимой неожиданно постучали в дверь.

– Спартачок, это мы.

– Одни?

– Одни.

– Сейчас.

Раздался звук чего-то отодвигаемого, потом погас свет, повернулся ключ, и сквозь щель полуоткрытой двери мы протиснулись в жилище. А жилище «Эдельвейса», надо сказать, было удивительно роскошно-уютным. Огромная зала с ковром, камином и телевизором, низкие кресла около лакированного стола, направо – глубокий альков с невероятно широкой кроватью и вдалеке, за дубовой дверью, совмещенный санузел метров тридцать с ванной-бассейном, биде и двухспальным унитазом. Все это стояло на белом мраморном полу с подсветами.

Духота и жара в «Эдельвейсе» были невозможными – все окна закрыты, металлические жалюзи спущены, темные шторы задернуты. Сам гастролер, босой, в длинных семейных трусах и больше ни в чем, радушно сказал: «Ну что, проголодались? А я предупреждал! Пошли!»

Вдали, в центре санузла, горел костер. На мраморном полу лежал кусок асбеста (для изоляции), стояла костровая тренога, висел котел, и горящий экономно сухой спирт подогревал булькающее варево. Рядом находился открытый большой чемодан с исходящим продуктом. Там было все, включая можайское молоко.

В данный момент варилась уха из сайры. Хозяин раздал складные ложки и пригласил к котлу. Готовил Спартак незамысловато, но очень сытно. Беда заключалась в том, что оголодавшие коллеги и сам хозяин никогда не могли дождаться окончательной готовности пищи и начинали хлебать полуфабрикат. По мере сжирания содержимого котла возникала опасность недоедания, и по ходу трапезы в котел бросался тот или иной продукт из чемодана.

Так я никогда не забуду удивительного вкусового ощущения, когда в ту же уху (это фирменное гастрольное блюдо Мишулина) влили банку сладкой сгущенки.

Спартак со своим костром прошел многие подмостки мира. Он варил за кулисами Гамбурга, в гримерной Будапешта, на обочине автобана Берлин – Цюрих... Его кухню обожали все – от Плучека до рабочего сцены. Помню, заходили на огонек его закулисного костра и немецкие актеры – хвалили!

На этих гастролях в Италии меня приняли за миллионера.

В то время мы приятельствовали с Мариолиной, женой главного архитектора Венеции. Главный архитектор на самом деле, по-моему, был венецианским олигархом. Элегантный, миниатюрный, напоминал дирижера Вилли Ферреро и трубача Эдди Рознера. Мариолина, очевидно, от тупика миллионерства училась в нашем ГИТИСе на театроведческом факультете и почему-то была специалистом по Лескову.

Андрей Миронов за ней немного ухаживал, за что много раз предупреждался.

Когда мы в Венеции играли спектакль «Клоп», Мариолина пригласила весь прославленный коллектив к себе домой.

Сопровождающая артистов тройка проверила студенческий билет Мариолины и решила, что можно сходить на прием перекусить.



Сцена из спектакля «Клоп»

Венеция была одним из последних гастрольных городов, и плавленые сырки со свиной тушенкой в чемоданах кончались. Перед походом всем напомнили: на еду сразу не набрасываться, не воровать и вести себя по возможности интеллигентно. С собой взять сувениры.

Сувениры были идентичные: ложки, матрешки, жостовские подносики, шкатулки. У всех. Кроме меня. Потому что я хитрый и умный был всегда – перед заграничной поездкой я заходил в любой продуктовый магазин Москвы и в рыбном отделе покупал кубинские сигары «Першинг». Это был длинный деревянный пенал, внутри которого в фольге лежала, как ракета, сигара. Она стоила у нас 1 рубль 70 копеек. А там, особенно в Америке, где это была контрабанда с Кубы, ее продавали за 15 долларов – по тем временам неслыханные деньги.

И я перед поездкой в Италию накупил этих «Першингов» и еще «Ромео и Джульетту» – огромные деревянные ящики с сигарами, которые у нас стоили 12 рублей 60 копеек, а за границей к ним вообще нельзя было подступиться.

И вот мы пришли на прием. Дом в шесть этажей возвышался над Большим каналом. Внизу был гараж, в котором держали все – от шлюпки до подводной лодки. На втором этаже стоял архитектор в белом смокинге, за ним чуть ли не в латах – какие-то рыцари, а по лестнице, по ковровой дорожке, перся наш обшарпанный прославленный коллектив (обшарпанный – в буквальном смысле, потому что актеры, боясь отступить от стадности, покупали, как все, – только кассетный магнитофон «Шарп», хотя там продавались любые). Гости протягивали архитектору ложку – матрешку, матрешку – ложку. Архитектор хватал подарки и со словами «грация», «белиссимо» швырял их в какой-то предбанничек. А тут я – с «Першингом» и «Ромео и Джульеттой». Когда я их ему протянул, он взял меня под руку и повел в хоромы.

Прием продолжался часа три – он от меня не отцепился ни на секунду, видимо решив, что я либо такой же крутой, как и он, либо городской сумасшедший.

Жратвы, кстати, никакой не получилось: были любые напитки, и посреди стола стоял огромный айсберг сыра, утыканный «бандерильями». Голодный коллектив лакал вино и виски, отщипывая от этого айсберга кусочки.

Хозяева перебрали с аристократизмом, а прославленный коллектив надрался...

После гастролей в Италии были запланированы гастроли в Чехословакии. Зная, что в самолете будут кормить, прославленный коллектив перед вылетом дожирал последние крохи, а некоторые наиболее прижимистые даже пытались дарить оставшуюся тушенку горничным отеля, очевидно, боясь, что кто-нибудь из обслуги случайно обнаружит в актерских чемоданах россыпи мыла и шампуней, собранных со всех отелей Италии. Итак, Милан – Прага. С посадкой в Цюрихе! Звучало грандиозно и мощно.

Но эта посадка в Цюрихе оказалась роковой для окончательного подрыва и без того расшатанной нервной системы труппы. Ну, во-первых, посадка длилась всего несколько часов, так как прилетели мы из Милана в Цюрих утром, а рейс на Прагу был вечерний. Во-вторых, большой прославленный коллектив, как

выяснилось, не влезал целиком в самолет, и десяти гастролерам надо было перекантоваться до утра в ожидании следующего рейса. Возникла тихая паника в рядах руководства и труппы. Расположившийся в уголке под пальмой «треугольник», расширенный сопровождающими коллектив лицами, шепотом обсуждал сложившуюся нелегкую ситуацию. По какому принципу оставлять на произвол судьбы и ночной свободы в стране пересадки эти десять человек? Если по партийной принадлежности, то внешне эта команда выглядела не слишком респектабельно для международного аэропорта; если по значимости, то неуправляемость актерских темпераментов на свободе тоже представляла опасность. Пока шло совещание, сам коллектив безмолвно бушевал: что предпочесть – остаться на ночь в неизвестной Швейцарии или, поддавшись стадному страху, лететь сразу?

После часовых мучений расширенный «треугольник» вынес соломоново решение: создать некую символическую сборную из десяти транзитников. Так в ней оказались директор театра, главный дирижер, главный осветитель (легендарный художник по свету Арон Намиот, всегда ходивший по театру с таким видом, будто он изобрел лампочку Ильича; кто-то сказал, что Намиот знает какой-то язык, может быть, даже и немецкий). Оставались тройка членов партбюро из рабочих сцены, один из сопровождающих гастролы «искусствоведов» и три артиста – Миронов, Мишулин и Ширвиндт, – на всякий случай, если спросят, к какой профессии относятся десять человек, и придется чего-нибудь изобразить.

Улетающий коллектив, увидев в числе оставшихся эту троицу, дико заволновался, поняв, что всех в очередной раз обманули, увозя в соцлагерь на ночь раньше, а этих интриганов ждет в Цюрихе неслыханный разврат. Но было поздно, и коллектив ушел на посадку.

Сбившись в привычную кучку, транзитная группа стала обсуждать свою ночную жизнь. Мнения разделились. Богемная часть оставшихся умоляла идти к пограничникам и требовать ночной визы для выхода в не менее ночной заманчивый Цюрих. Более осторожная и идеологически подкованная часть транзит-

ных пассажиров умоляла не суетиться, а сразу лечь на полу в семь часов вечера среди хрустального аэропорта. Но это было тоже рискованно, и поэтому пошли под руководством якобы немецкоговорящего Намиота требовать ночной визы.

Здесь должен сказать, что нынешнее огульное пренебрежительное отношение к сопровождавшим лицам по меньшей мере неинтеллигентно. Разные люди нас сопровождали, разные у них были обязанности и разные характеры и, главное, беспокойная жизнь. Без чувства юмора такая работа, мне кажется, вообще смертельна. Когда посоветовавшаяся команда решила идти к пограничникам за визами, оказалось, что милый Слава, прикрепленный к оставшимся, от усталости и волнений заснул в кресле рядом с собранием и тем самым перестал бдительно. Сволочи артисты моментально нашли кусок картонки и, написав: «Славик! Мы все остались в Швейцарии!» – пошли требовать выхода на панель. Через полчаса эта футбольная команда с коллективной бумажкой на право выхода в Цюрих до четырех часов утра победно возвращалась к Славику, предвкушая картину встречи. Глазам изумленных шутников предстал спокойно спящий Славик, у которого на груди висел наш плакат, перевернутый на другую сторону, с короткой надписью: «Я с вами!»

Учитывая, что все это происходило за очень много лет до начала шабаша свободы и гласности, ответный юмор Славы выглядел мужественно.

Ночной Цюрих оказался довольно постным после Италии, и, если не считать часов и бриллиантов в витринах каждого второго магазина (а сосчитать их действительно невозможно), ночной поход несколько разочаровал команду, и мы даже досрочно вернулись в аэропорт, где полеты самолетов приостановились и шла тихая уборочная жизнь. Бесшумные пылесосы в руках элегантных лордов пытались высосать что-то из мягких ковров, тихо играла неземная музыка, и горсточка прославленного коллектива стыдливо приблизилась к единственному работающему в три часа ночи бару.

Решение было такое: при помощи Намиота и главного дирижера Кремера, которые в складчину могли чего-нибудь сказать

по-немецки, просить холодной воды со льдом и запить этой водой один кекс, случайно вынесенный кем-то с рейса Милан – Цюрих. Всухую этот группенкекс съесть было невозможно, да и пить хотелось. Переговоры с барменом были долгие не только из-за слабого знания ходоками немецкого языка, но и из-за полного непонимания барменом смысла просьбы. Он начал предлагать любые прохладительные напитки, включая пиво и джин-тоник, но стойкие Намиот и Кремер объясняли бармену, что валюты временно нет. Тогда бармен, сообразив, что мы транзитные пассажиры, неспешно сказал, что можно платить любой валютой. На что ходоки объяснили, что у господ нет никакой валюты. Бармен опять не понял и спросил, откуда свалился ему на голову этот ночной табор. Ему с гордостью показали советский паспорт. Он вздохнул и сказал, что, учитывая сложность ночной ситуации, он готов из сострадания и для экзотики напоить коллектив сырой водой на советские деньги. На что ходоки, ухмыльнувшись, сказали, что и советских денег ни у кого нет, так как последнюю святую тридцатку, разрешаемую в те годы для вывоза из Страны Советов, все давно обменяли на какую-то итальянскую мелочь. Тут бармен на глазах стал мутиться разумом, так как не мог себе представить, что в конце XX века, ночью, в центре Европы стоят в баре десять взрослых, более или менее прилично одетых мужчин, не имеющих ни одной монеты ни в одной валюте мира, вплоть до монгольских тугриков.

Надо оговориться, что вины в этом не было ничьей, ибо посадка в Цюрихе была вынужденная – лиры кончились, а кроны, естественно, еще не начались. Бармен ошалело оглянулся и принес на подносе десять хрустальных бокалов со льдом. Благодарный Кремер, подмигнув коллективу, вынул из глубоких штанин заветный металлический рубль с Ильичом на фасаде и торжественно вручил бармену. Бармен осторожно взял монету, взглянул на барельеф и, с восторгом пожав Кремеру руку, воскликнул: «О! Муссолини!»

Оскорбленный коллектив расположился на водопой. Пока пили, приглядывали места для ночлега. Перед залеганием в кресла состоялась еще одна летучка. На повестке ночи стоял вопрос о проникновении в сортир, где дверь открывалась при помощи опускания какой-то мелкой монеты в щель. Кремер категорически отказался еще

раз обращаться к бармену, и пошел один Намиот. Что он говорил бармену, осталось навсегда тайной, ибо Намиота давно нет среди нас, а бармен, очевидно, после этой ночи попал в психушку и у него тоже правды не добьешься, но вернулся Намиот с мелкой монетой. Вторая задача состояла в том, чтобы пропустить через одну монету всех гастролеров. И тут неожиданно ярко и смело повел себя директор театра. Он сказал, что дверь эта, очевидно, на фотоэлементе и если при первом открывании этот элемент обнаружить и перекрыть, то дверь останется открытой на любой срок, а учитывая однополюсный состав страждущих, стесняться тут нечего. Дверь открыли монетой моментально, обнаружили под верхней фрамугой элемент. Наиболее цепкий партийный рабочий сцены повис на двери и телом перекрыл глазок. В солдатском порядке, быстро и организованно, прошла процедура, и удовлетворенный коллектив расположился на заслуженный отдых, закончив свое путешествие по Швейцарии.

В начале 80-х нас пригласили в ФРГ с «Трехгрошовой оперой». Естественно, несколько человек не пустили за эту настоящую границу, потому что идеологически ненадежны. А в «Трехгрошовой опере» Брехта действует банда Мэкки-Ножа. И каждый бандит имеет кличку. Последний в списке – Роберт-Пила, которого играл Жора Мартиросян. Жора уже в те годы выглядел как супермен, и такого шикарного мужика в ФРГ пускать, конечно, было нельзя. Его и не взяли.

Началась борьба за Пилу. Даже Толя Папанов намекал: «А может быть, я?» Ему сказали: «Толя, ты такой великий артист. Какая Пила?» – «Ну кто там меня знает?» – пытался возразить Толя. Но его отговорили. Тогда Андрюша Миронов спровоцировал Плучека на то, чтобы на Пилу взяли меня. И Толя Папанов потом говорил: «Это был сионистский заговор против меня».

В общем, я поехал Пилой. В спектакле мне надо было только ходить по сцене и хором читать несколько зонгов. Правда, на немецком. Я их выучить не мог, но что-то мычал вместе со всеми.

К спектаклю принимающая сторона напечатала программки. Поскольку в ФРГ не знали, что бывают заслуженные и народные, в программках вместо титулов стояли звездочки. «Мэкки-Нож –

Андрей Миронов» – звездочка. «Пичем – Спартак Мишулин» – звездочка. «Браун – Михаил Державин» – звездочка. После чего шло огромное количество действующих лиц и в самом конце, перед бу-тафорами: «Пила – Александр Ширвиндт» – и звездочка. Немцы, как люди точные, когда рассаживали по гримерным, сверялись с этими звездочками. И я попал в одну гримерную с Андриюшей, Спартаком и Мишей. Они волновались: Брехт, ФРГ. А я все время сидел в длинной черной шинели с грязными усиками и пьяный – кроме как пить, делать мне на этих гастролях было нечего. Когда корреспондентки прибежали брать интервью, то зыркали на меня и тихонечко интересовались: «Кто это?» Им объясняли, что это ведущий артист театра, который играет Пилу. Тогда они вынужденно спрашивали меня: как я готовил Пилу, и что я хотел сказать этой Пилой, и что я вообще думаю о Пилах? Я что-то вякал. А на вопрос: «Какая ваша творческая мечта?» – честно ответил: «Моя мечта – сыграть Пилу на Родине».

Актерская жизнь – цыганская. Странно, когда попадаешь куда-нибудь первый раз и чувствуешь, что уже здесь был. Такое происходило со мной неоднократно. Приезжаю, допустим, в Сызрань. Иду по улице и знаю, что за углом. Страшное дело! Или это действительно в прошлой жизни было? Может, когда-нибудь, веке в XVIII, я уже жил в этой Сызрани?

Леонид Трушкин (в дальнейшем Ленья) руководит в Москве Театром Антона Чехова, не имени Чехова, а просто Чехова. Я один из первых зрителей всех спектаклей Лени, и не потому, что я самый умный или главный, а потому, что я когда-то выпускал Леню из стен нашего с ним родного Щукинского училища в дипломном спектакле «Дитя от первого брака». И вот как-то приглянулся ему Слэйд, американец, драматург. Он набрал команду и взялся за «Чествование». Опасностей была масса:

- 1) широко известный фильм с Джеком Леммоном в главной роли,
- 2) семь артистов из шести театров Москвы,
- 3) я – в главной роли с драматическим уклоном.

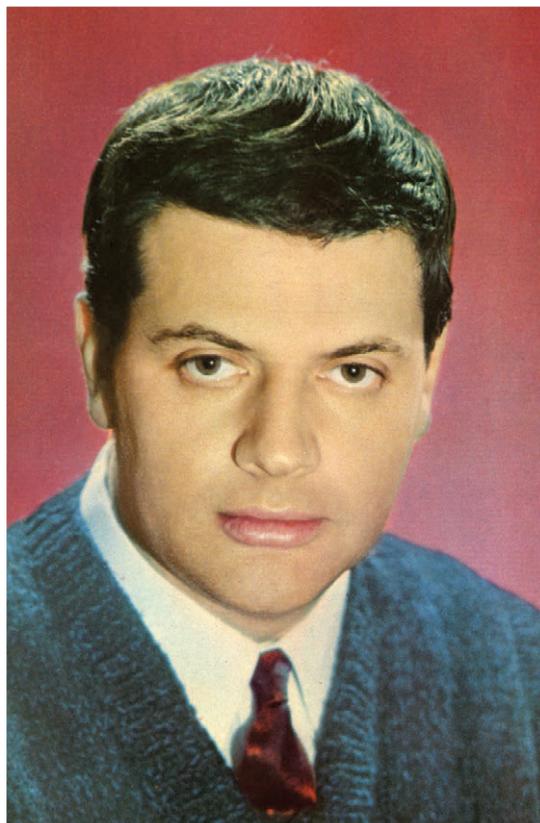
С некоторым удивлением и завистью наблюдал я в своем бывшем ученике маниакальное желание добиться успеха, стопроцентное знание, что хочешь сказать и какими средствами, высочайшую организованность и непримиримость к небрежности. Пускаясь в это плавание, я твердо решил убить в себе на весь репетиционный срок внутреннего цензора, забыть опыт, привычный способ подминать под себя все неудобные, трудные повороты жизни образа и отдаться целиком режиссуре Трушкина. Что получилось? Получилось два месяца (за два месяца сделали спектакль) творчества в самом чистом смысле этого слова.

В спектакле «Чествование» один сильный эпизод со мной играли мощные партнерши: Таня Догилева, Люся Гурченко, Оля Волкова. Кто-то из них не мог, ввелась Любочка Полищук. Она играла сестру милосердия, которая пришла к больному. А на самом деле это была его старая любовница. Но так как эту роль исполняли уже и Гурченко, и Догилева, и Волкова, нужно было изобрести что-то другое. И тогда они вместе с Леней придумали, что она мужик. Стройный, с усами. Единственная проблема была – усы у нее все время отклеивались.

И вот летели мы с этим спектаклем в Днепропетровск. Вернее, мы стояли лететь в Днепропетровск. Вылет – где-то в 11 утра, а вечером спектакль. Снег шел хлопьями, как плохая бутафория в плохом театре: снежинки огромных размеров. Нет вылета и нет. Мы сидим в аэропорту. И все говорят: «Кажется, поездка накрывается, пошли». Так как я был там самый старый и за начальника, я говорил «нет» – и все садились. Проходил еще час-другой, авиаторы общались: «Сегодня исключено». Все оживлялись: «Ну...» Я говорил: «Нет! Если сейчас выпустят, мы успеваем». В буфете были только чипсы и коньяк. В шесть часов вечера стало ясно, что уже точно никуда не успеваем. Ко мне подходит Любка и говорит: «Разрешите». Я говорю: «Рано». – «Ну где, ..., рано?! Целый день сидим».

В семь часов я дал отмашку к алкоголизму. А ближе к девяти часам вечера, после чипсов и коньяка, объявляют посадку.

Мы прилетаем в Днепропетровск в одиннадцатом часу в полном разборе. Смотрим в иллюминаторы – такое ощущение, что произошла какая-то катастрофа: весь аэродром в машинах – «скорые



ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РСФСР

АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ

Окончил Московское театральное училище им. Б. В. Щукина. Снимался в кино- и телефильмах: «Она вас любит» (1957), «Атаман Кодр» (1959), «Приходите завтра» (1963), «Майор „Вихрь“», «Спасите утопающего», «Еще раз про любовь», «Шестое июля», «В тринадцатом часу ночи» (1968), «Крах» (1969), «Умеете ли вы жить?» (1971), «Старики-разбойники» (1972), «Какая у вас улыбка» (1975), «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Небесные ласточки» (1976), «Инкогнито из Петербурга» (1978), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), «Мнимый больной» (1980), «Факты минувшего дня» (1981), «Принцесса цирка», «Отпуск за свой счет» (1982), «Серебряное ревию», «Вокзал для двоих» (1983).

Фото Л. Шерстенникова

Отправлять только в конверте

© Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 12.07.83. Т. 200 000. Ц. 6 к. Зак. 1393. Ордена Трудового Красного Знамени тип. им. Володарского Лениздата. 3111211.

помощи», мигалки, милиции навалом. Нас выуживают из самолета, мы плюхаемся в машины и за двадцать минут доезжаем до театра. Было без четверти одиннадцать вечера. Полный зал. Зрители отказались уходить. И выходит совершенно разобранная, как бы это сказать поинтеллигентнее, братия. «Что?! Играть?!» Мятые, страшные. Начали играть. Зрители понимают, в каком мы состоянии, и к нам очень сострадательны. Мы понимаем, что они понимают, и все время извиняемся: «Ну, мы так долго летели...»

По ходу спектакля появляется Михал Михалыч Державин и двигает эту историю, выводя на сцену персонажей. Последней он выводил героиню Любочки. А так как Любочка выходила на сцену через два часа после начала спектакля, она созрела окончательно.

Играли мы в оперном театре. А там между занавесом и оркестровой ямой – почти ничего нет. Выходит Михал Михалыч, выводит Любочку, а она не ожидала, что там так мало для нее места.

Михал Михалыч представляет ее: «А вот...» Она делает шаг: «Ё...!»

Ее встречает овация. Державин не может ее удержать и начинает падать в оркестровую яму. И тут Любочка совершенно грациозно хватает Михал Михалыча за шкурку и вытаскивает его из оркестровой ямы на рабочее место.

Любочка была очень сильный человек, замечательная актриса, чудная, дико манкая баба и удивительный товарищ.

Я много снимался в кино, но по сути я артист театральный. Работа актера в кино и в театре – это разные искусства, профессии и способы взаимоотношения с материалом. Недаром огромное количество театральных актеров потрясающе играют в кино и очень мало, практически единицы так называемых чисто кинематографических актеров играют на театральной сцене. Переход из одной системы в другую – очень трудная штука для актера. К примеру, он умеет играть, когда сцены снимаются дробно, любит работать на крупном плане и раскован перед объективом. А в театре ему нужно перекидывать свою энергию через рампу и отдавать ее залу, играть роль не кадрами, а сплошной сквозной линией. Для чистого киноактера это тяжело. А театральному

актеру, наоборот, только дай повод спокойно посидеть перед кинокамерой. Это такой кайф, когда можно не орать и не бояться, что перед тобой нет зрителей.

Большим артистам сниматься в массовках, эпизодах стыдно. Нужно, очевидно, быть таким огромным артистом, чтобы уже не имело значения, каков километраж твоей роли.

А если твоя огромность, мягко говоря, относительна, то сняться в эпизоде – святое дело, ибо иногда в микроразрисовке можно сыграть больше, чем в сорока сериях, за время которых твое незамысловатое лицо прочно войдет в каждую семью и станет предметом ночных кошмаров миллионов телезрителей, так как презирать, поносить артиста и измываться над ним может каждый, а выключить телевизор не в силах никто. (Как говаривал Андрей Миронов: «Обидеть художника может каждый, а материально помочь – никто».)

Ну а те выдающиеся режиссеры, которые серьезно и искренне хотели меня снимать и так же искренне этого не делали, чтобы как-то подсластить пилюлю, посылали дружеский привет с завышенной оценкой. Так я имел счастье (без всякой иронии) пробоваться у Глеба Панфилова в «Прошу слова» и мучительно долго – у потрясающего и невыносимого Алексея Германа в «Хрусталеv, машину!». Конечно, неловко воспроизводить такие тексты на бумаге, но пусть потомки знают, с кем могли бы иметь дело:

Гениальному артисту от восхищенного поклонника. С надеждой на внимание.

Глеб Панфилов

30.05.74

Дорогой Шура!

Смонтировав и посмотрев Ваши пробы, я убедился, что Вы лучший артист, с которым мне когда-либо приходилось работать, и я был бы счастлив сделать эту картину с Вами. Более того, я собираюсь, да, собственно, чего там собираюсь, мы уже делаем сценарий, где значительная роль пишется на Вас, если, конечно, Вы не откажетесь.



Пробы для фильма Алексея Германа «Хрусталеv, машину!»

Это 1914 год, Крым, контрразведчик русской армии, история локальная драматическая и остросюжетная. В сценарии должны быть две мужские роли: Ваша и еще одного актера (какого, пока говорить не буду), впрочем, надеюсь, сами прочтете сценарий.

С Глинским же, Шура, ничего не вышло потому, что проба окончательно убедила меня, что никаким проводником Вы быть не можете, при Вашей ироничности и интеллигентности стать частью этого народа, раствориться в нем – не выйдет, хоть стригись, хоть не стригись.

Обнимаю Вас, дорогой Шура. Буду искренне рад, если сохраните ко мне десятую часть той любви и уважения, которые я испытываю к Вам.

*Искренне Ваш
А.Ю. Герман*

На пробах фильма «Хрусталеv, машину!» Герман побрил меня наголо. Этого не мог сделать никто и никогда. А Герман уговорил. Причем он не говорил попросту: мол, побрейся для кино, а для жизни сделаем парик. Нет, он уверял, что настал звездный час, возникла возможность первый раз в жизни сыграть что-то путное, нельзя упустить эту возможность... Брили меня для съемки после лагеря. Но все равно Герману казалось, что я ряженный: лысый, не лысый, замазанный углем и говном – все равно возникало подозрение, что пятнадцати лет я не просидел. И гримом не взяли. Так что на эту роль вынули малоизвестного артиста, но с достоверным лицом.

Так как я чиновник и начальник театра, сегодня моя творческая деятельность сводится к тому, чтобы вернуть артистов в театр из так называемого кино. Сериалы невыносимы, и артисты в них сами становятся как мыло и просто выскользывают из рук.

Более пятидесяти лет я преподаю в родном Щукинском училище (ныне Театральный институт имени Щукина). После Этуша я самый старый педагог. Евгений Князев, нынешний ректор, в каком-то архиве отыскал приказ 1957 года о зачислении меня на кафедру пластической выразительности актера. Глядя на мою сегодняшнюю комплекцию, трудно поверить, что тогда я преподавал фехтование и сценическое движение.

А получилось так. Замечательный артист Аркадий Немировский обучал нас фехтованию, будучи в прошлом чемпионом Москвы. Рубен Николаевич Симонов называл его «лучшим артистом среди шпажистов и лучшим шпажистом среди артистов». Аркадий поссорился с тогдашним ректором Борисом Захавой, ушел в ГИТИС, и я его заменял. Так и началось.

Сейчас в Театре сатиры – два десятка моих выпускников-щукинцев. Я хороший педагог, терпеливый, не вредный. Лучшее, что я делаю, я делаю в училище.

Многие студенты сегодня ничего не знают. На собеседовании мальчика спрашивают: «Кто был Ленин?» Он отвечает: «Ленин был президентом».

Да что там Ленин! Как-то в училище зашел Юра Яковлев, который никогда там не преподавал. Он сидел, ожидая кого-то, в вестибюле, и вся эта шпана бегала, сметая его, задевая ногами. Я собрал курс и начал орать: «Когда в наше время артист Михаил Астангов проходил мимо, мы сбегались посмотреть на него. Яковлев – такой же великий артист, как Астангов. Вы ничего не знаете!» Одна моя студентка, которая, как только я к ней обращался, сразу на всякий случай начинала плакать, заплакала и тут: «Вы сердитесь, а сами нам ничего не рассказываете. Почему вы не рассказываете нам о своих встречах с Мейерхольдом?»

Но я же не Радзинский, который знал в лицо Жозефину.

Я очень обязательный, к сожалению, никогда никуда не опаздываю. Прихожу в 11 часов к студентам – а их нет. Никого. И я один сижу в аудитории, как будто самый свободный человек в мире.

Ребята становятся родными детьми, их надо кормить, поить, расспрашивать, что случилось. У меня был студент, у которого регулярно умирала тетья – за четыре года у него скончалось около шести тетей. Я говорю ему: смени уже пластинку, фантазию подключи, есть же дяди, бабушки, в конце концов, товарищи. Хорони других, что ж ты к бедным тетям привязался. Нет, снова тетья умерла.

Педагогика – это вампиризм чистой воды. По себе сужу. Приходишь после всех профессиональных мук к этим молодым щенкам, видишь их длинные ноги и выпученные глаза и поневоле питаешься от них глупостью и наивностью.

К ним прикипаешь. После четырех лет обучения начинается продажа. Как на Птичьем рынке: сидит в ящике большая старая сука, вокруг 12 щенков, их брезгливо щупают: брать – не брать? Так и здесь после четырех лет «инкубатора» приходят брезгливые худруки, смотрят зубы, ноги. И ты еще уговариваешь: «Возьмите моего ребенка».

Когда твой курс оканчивает институт, кажется, что он гениальный. Худруки курсов создают молодые театры. И все актеры играют под своего мастера. Видишь такие примеры и понимаешь, что нужно зажаться и – отпустить. Хотя отпустить – трагедия.

Меня критиковали, что по сцене ходит десяток Ширвиндтов. Но, нисколько не сравнивая себя с великими, вспоминаю, как на заре «Современника» во всех спектаклях по сцене гуляло несколько

ко Ефремовых. Когда плотно общаешься с людьми, от тебя идет какая-то заразительность. Если у меня получилось привить им некоторую легкость, мягкость, ироничность – дай бог. Потому что остального они наглоотаются до ушей.

Иногда в училище у меня получались удачные эксперименты. Как-то ставил я дипломный спектакль «Школа злословия» и уговорил профессора Альберта Бурова, который был руководителем курса, сыграть со студентами. Альберт Григорьевич Буров – в быту Алик, заторможенный неврастеник, ранимый, мнительный, дотошный и любимый, был прекрасным артистом Театра сатиры прошлого. Потом, очевидно, перерос необходимость непрерывной зависимости от мэтров и восхищения значимостью родного театра на мировом рынке и ушел в педагогику, где из молодого педагога стал седым профессором, но не заметил этого и остался юношей. Артистом он был все равно замечательным, как ни глушил в себе это. В «Школе злословия» он сыграл сэра Питера и спровоцировал еще одного профессора и даже завкафедрой мастерства актера Юрия Катина-Ярцева сыграть другого сэра – Оливера. Шаг был необыкновенно мужественный. Одно дело учить, сидя на стуле в аудитории, где только подразумевается, что сам-то ты обучен давно, прекрасно и навсегда. Другое – выйти на сцену в окружении своих же молодых бандитов, которые не простили бы ничего, если вдруг...

Оба профессора боялись, что студенты их переиграют. «Так для этого же и учим, – сказал я им, – чтобы переиграли». А студенты были замечательные – Светочка Рябова, ныне актриса нашего театра, покойный Костя Кравинский, Миша Зонненштраль, потрясающее явление, к сожалению, тоже ушедший из жизни. Мощный курс. Нынешний профессор Анечка Дубровская (Исайкина) сидела тогда, как кукла, на коленях у своего руководителя курса, не смея пошевелиться от ужаса. Сегодня участие педагогов в дипломных спектаклях стало почти нормой. Но первопроходец – я.

Многие молодые теперь считают, что незачем четыре года мучиться в театральном училище, если можно воткнуться в раскрученный телепроект, и ты уже – «звезда». Но невозможно за четыре дня приобрести профессиональные навыки в этих телелепрозориях.

Хотя и одного образования тоже недостаточно. Из-за тех, кто стал актером не от Бога, а от образования, в театре возникает неразбериха. Ведь никто не может сам себя признать актером второго, третьего или четвертого сорта.

Ужасно, когда ученики уходят раньше учителей. Среди моих учеников были Андрей Миронов, Наталья Гундарева, Александр Пороховщиков... Начинаешь думать, кто не мой ученик, и понимаешь, что не ученик Яблочкина и, пожалуй, Мольер. Хотя немножко он у меня почерпнул.

Сегодняшняя жизнь – кровавое шоу с перерывами на презентации и юбилеи. Звонят: «Завтра у нас большой праздник, круглая дата – три года нашему банку». И я понимаю, почему они празднуют: боятся, что до пятилетия не доживут – или накроются, или их всех пересякают. И вот юбилей в Кремлевском дворце – три года «Вротстрой-банку». И статуэтки, статуэтки... – можно сложить медный храм.



Перед вручением премии «Золотой Остап»

Все население страны делится на поздравлял-вручал и принимал-получал. Я – из «вручал».

Нет, у меня тоже есть статуэтки, но хотелось бы больше. Если бы кому-то пришла в голову мысль вручить мне что-нибудь на солидном форуме, то могу подсказать, по какой номинации прохожу стопроцентно – «За совокупность компромиссов».

Конечно, этот фестиваль должен быть безжалостным по всем статьям. Главный приз надо давать «За потерю чести и достоинства». Причем трех степеней: «Частичная потеря чести и достоинства», «Временная потеря чести и достоинства», «Окончательная потеря чести и достоинства».

Вообще, как говорила моя соседка по дому Фаина Георгиевна Раневская, все ордена, грамоты и звания – это похоронные принадлежности.

Хотя в советские годы звания и при жизни имели некоторый практический смысл. Так, например, на гастролях в столицах союзных республик народных артистов СССР поселяли в резиденцию ЦК КПСС, а мы, живя в человеческих гостиницах, часто в нечеловеческих условиях, автоматически становились кандидатами в члены гостиницы ЦК.

В санатории «Актер» в Сочи на первом этаже была бильярдная – три стола. Тысячу лет назад мы играли там в бильярд. А рядом пролежала народная тропа – отпускники с обуглившимися носами, кефиром и картами курортников ползли окунуться в прибрежную мочу. И все проходили мимо огромного окна бильярдной. А там Канделаки играл с Товстоноговым, Сеня Соколовский с Николаем Сличенко и я с Пляттом. В дверях стоял амбал и всех прогонял. И вдруг какая-то баба, как Исинбаева, перепрыгивает через подоконник в комнату. И с курортной картой бросается к первому столу: «Я из Криводышинска. Никто не поверит мне, что я вас видела, дайте автограф». Все вальяжно кладут кии. «Только со всеми регалиями», – говорит она. И начинается: народный артист всего на свете, лауреат Ленинской премии... Она доползает до меня. Я говорю: «Друзья, я сейчас напишу звание, которого ни у кого из вас нет». И пишу: «Лауреат премии Ленинского комсомола Узбекистана».

А получил я это звание так. В пору некоторого азартного авантюризма и стабильного безденежья мы с Марком Захаровым оказались на гастролях Театра сатиры в Ташкенте. Июль. В одном из номеров по ночам устраивались танцы. Называлось это найт клуб. К нам пришел художник и режиссер Юнгвальд-Хилькевич, который в Ташкенте жил. Его друг талантливый Батыр Закиров решил создать узбекский мюзик-холл. И предложил нам с Марком Захаровым в этом поучаствовать. Мы с Марком, выйдя нетвердой походкой из найт клуба и дожевывая бешбармак, сказали: «С удовольствием». Первая программа называлась «Путешествие Синдбада-морехода». Мы написали ее в течение двух ночей. И в течение трех ночей Марк Анатольевич ее поставил. Был грандиозный успех, и мы получили звания.

Когда придумали комсомольское лауреатство, очень много артистов, отчаявшихся получить что-нибудь путное, бросились добывать себе это молодежное поощрение. Надежда состояла в том, что лауреатом премии Ленинского комсомола мог стать человек любого возраста, так как не обязательно быть молодым, чтобы посвятить себя комсомольским проблемам. «Не расстанусь с комсомолом – буду вечно молодым» – этот лозунг-песня очень помог авторам и многим деятелям искусства в приобретении юношеских привилегий. Не всем, конечно, удавалось пробиться на Олимп – ЦК ВЛКСМ – и быть помощниками пятидесятилетних комсомольских вождей – умные люди сразу бросились по республикам, областям...

Один наш очень хороший, но очень нервный артист, дико переживая из-за запаздывания звания заслуженного, проникся необыкновенной творческой любовью к комсомолу Коми АССР. Он возил туда бригады, устраивал декады и месячники дружбы. Деятельность эта была правильно понята, и буквально через полгода он стал обладателем высокого звания лауреата премии комсомола Коми АССР. Словечко «Коми» (хотя республики, как известно, у нас были все равны) несколько раздражало молодого лауреата, и при объявлении своего имени в концертах он стыдливо просил конференсье отбрасывать географическую принадлежность его лауреатства и объявлять просто: «Лауреат премии Ленинского комсомола». Заметив это, я его по-товарищески предупредил, что

если, не дай бог, кто-нибудь из «оттуда» это услышит, может быть огромный скандал, вплоть до лишения звания. Наш нервный друг поблагодарил меня и спросил совета. Я совет ему дал, и объявлялся он впредь красиво и неподсудно: «Лауреат премии Коми-сомола».

Когда времена изменились, по инициативе великого клоуна-лицедея Вячеслава Полунина в Ленинграде была создана Академия дураков. Талантливейший и неумный Ролан Быков тут же открыл Московский филиал академии и, назначив себя, Мережку и Жванецкого академиками, то есть, как написано в дипломе, «полными дураками», нашел в себе силы избрать еще член-корреспондентов академии: Гафта, Державина и меня – с формулировкой «полудурки». Когда мы законно поинтересовались причиной такой дискриминации, Ролан сказал, что до полных мы не доросли по возрасту. Все это звучало неубедительно, очень отдавало интригой, ибо не настолько уж мы были моложе и умнее академиков.

В том же Петербурге организовалось веселое содружество – «Золотой Остап» – с одновременным созданием еще одной престижной академии – Академии юмористических авторитетов. В этом заведении судьба моя сложилась более счастливо: на торжественном открытии академии во Дворце искусств один из ее создателей, Вадим Жук, рыцарь ленинградской юмористики, автор и режиссер многих прелестных произведений «капустно»-сатирического направления, демократично объявил, что выборы затягивать не имеет смысла, так как в фойе накрыты спонсорские столы, и поэтому кандидатура одна. Он попросил меня на сцену, прочел справку-характеристику, и буквально за десять минут я стал Президентом Российской академии юмористических авторитетов имени (или памяти, уже забыл) Остапа Бендера.

У меня есть ордена, а также одна звезда. Личная. Раньше, когда планеты еще не покупали, система была такая: где-то в астрономической лаборатории сидела большеглазая, очевидно, не востребованная на Земле девушка и круглые сутки смотрела в телескоп. Потом вдруг кричала: «Ой, я открыла новую звезду! В созвездии Бзи левее Бза вижу Бзу!» Проверяли, есть ли там какая-то микро-

скопическая фигня. Тот, кто эту звездочку разглядел, мог сказать: «Я хотел бы, чтобы ее назвали «Ширвиндт», и несколько инстанций, в том числе американская, утверждали название. У меня есть сертификат. Малая планета под названием Shirvindt – всего 10 км в длину. Уже лет двадцать я имею собственную площадь в космосе и «летаю» где-то недалеко от звезд по имени Хармс и Раневская. Чем очень горжусь.

Верить почти некому – критическая когорта у нас какая-то странная. По отдельности общаешься – разные, подчас самобытно-интересные личности. Попадают даже грамотные. Но стоит им собраться вместе – моментально образуется «клубок». Безапелляционность и витиеватые издевательства. Пираньи пера в газетной соревновательности превращаются в мелких насекомых на многострадальном лобке театрального организма.

Это молодая «критическая мысль». А старики, чтобы не быть выкинутыми из театрального процесса, вынуждены становиться желчными Пименами истории сплетен советского театроведения.

Не читаю прессы я,
От нее – депрессия.

Раньше критики ходили по контрамаркам и питались на премьерных банкетах. Сегодня ходят по билетам и не остаются на еду. Подозреваю, что баланс между заказной статьей и стоимостью билета смещается в первую сторону.

Самая гениальная критическая статья, которую я когда-либо читал, – в анекдоте: приехал знаменитый датский трагик в Ковент-Гарден играть Гамлета. Наутро появилась рецензия в лондонской газете: «Вчера датский гастролер в Ковент-Гардене играл Гамлета. Играл его до 12 часов ночи». Все. Это честная, хорошая критика.

Но надо с кем-то советоваться! Не с кем. Окружение делится в основном на три категории: холуи, влюбленные и ненавистники. Холуи безоглядно врут, мечтают угодить и стараются что-то повы-

годнее вякнуть. Влюбленные бездумно и покорно безразличны. Ненавистники со стиснутыми зубами сдерживают эмоции, чтобы выплеснуть их за стенами прямого общения. Поэтому никому не верю и приходится советоваться с самим собой – это очень трудный диалог, обреченный на слабавольный компромисс.

Бессознательно льстишь самому себе. Но сурово и честно или – еще пошлее – по большому счету (кто этот счет ведет?) думаю, что самая точная аналогия со мной – это Л.М. Зингерталь, под фотографией которого в какой-то одесской книжке начала прошлого века написано: «Зингерталь – известный одесский салонный юморист и импровизатор».

Я столько в длинной профессиональной жизни навякал смешного! Ах, если бы кто-нибудь догадался, что это может стать афоризмом, и записывал за мной, то, ей-богу, потомки присовокупили бы меня к ликам Раневской, Светлова, Паперного... Обидно – аж жуть!

Но это – патология мгновенной смысловой реакции на ситуацию. Или конкретная мини-задача – отписать кому-то ответ, открыточку, поздравление, сдобрить надписью скромный подарок.

Журналисты надеются что-то парадоксальное ухватить от моего так называемого ампула, имиджа: вдруг скажет что-нибудь неожиданное, в меру афористичное. Их ведь не интересует моя точка зрения, мысли или моя, не дай бог, практическая деятельность. Но если бы вдруг журналисты перестали проситься на интервью, очень расстроился бы. Это все слова, что «надоело». Альберто Сорди как-то спросили: «Мешает ли вам ваша популярность?» И он ответил: «Мне дико мешало, когда ее не было».

Звонит мне недавно Татьяна Егорова. Она стала очень популярной после книги «Андрей Миронов и я». То есть она. А я там – главное действующее дерьмо. Когда-то я взял Таньку за ручку и с каким-то рассказиком привел к Вите Веселовскому в «Клуб 12 стульев» «Литературной газеты». То есть, по сути, сделал ее писательницей. Брать за ручку надо не всякого. И в руки давать ручку тоже не каждому.

И вот звонит она и говорит: «Послушай, связались со мной якобы из «Комсомольской правды» и хотят, чтобы я сказала, с кем ты живешь и с кем жил, каким способом, что ты за мужик. И рефреном: «Вы же его терпеть не можете». Обещают хорошо заплатить. Я их послала». Ненавистники тоже бывают альтруистами.

Или еще проще – звонят агенту актрисы, моей ученицы: «Расскажите, она жила с Ширвиндтом еще в институте или он ее в театр взял и там стал с ней жить? Мы хорошо заплатим». Это журналистика?

Степень «желтизны» стало очень трудно определить, поскольку иногда и серьезные газеты позволяют себе подобные публикации. Невозможно понять с первого взгляда, какая газета: желтая, зеленая или голубая. Когда интерес строится на алькове, на болезни, на смерти, это за пределами не только совести, но и человечности. Общественная полемика опустилась до уровня спальни и унитаза.

Сейчас все обо всех в курсе дела. Ума не приложу, как актрисы осмеливаются играть что-то серьезное. Она выходит на сцену, и ползала знает о ней все: в каких колготках, в каких прокладках, с кем спала вчера и кому дала отставку на прошлой неделе. А некоторые даже на себя наговаривают. Куда лучше было раньше, когда актера окружал флер таинственности, которая, кстати, неплохо работала на репутацию. А потом начали ковыряться в закулисном хламе...

Когда-то давно в «Кинопанораме» представляли, кажется, «Алые паруса». Показали фрагмент: Вася Лановой – молодой, сияющие глазки, белая рубашка... Бабах! – в него стреляют. Ну и на рубашке эффектно расплзается кровавое пятно. А в студии сидит какой-то знатный бутафор. «Как это вам, Ферапонт Митрофанович, удался такой замечательный трюк?» И тот принимается жизнерадостно шамкать: «А фто, хорофо? Мы под рубафку подкладываем такую... типа клизмы. А у него в кармане веревочка. И когда в него стреляют, он за веревочку дергает, брыффет краска, ну и ффё...» Понятное дело, алые паруса немедленно линяют после таких захватывающих откровений.

Сколько невероятных слухов, сколько кисленькой информации, сколько якобы подсмотренных скрытой камерой альковно-амурных сплетен витает над биографиями известностей. Провергать стыдно, доказывать бесполезно.

Вот публикация – из газеты «Московский комсомолец» за 2004 год:

ПОКЛОННИЦА АЛЕКСАНДРА ШИРВИНДТА ИЩЕТ ЛЮБОВЬ В СУДЕ

Весьма экстравагантным способом добывается любви популярного артиста, руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта одна из его поклонниц. Женщина пытается принудить знаменитого актера к сожителству через суд! Впрочем, вместо своего кумира предприимчивая дамочка согласна получить деньги. Она утверждает, что Ширвиндт и так живет с ней, только «посредством технических средств». В этой белиберде предстоит разобраться Тверскому суду столицы.

Как сообщили «МК» в суде, в иске к Театру сатиры москвичка настаивает, чтобы Александр Ширвиндт жил с ней вместе либо заплатил выкуп.

Беспардонное вымогательство любви и денег у известного актера женщина считает вполне справедливым. Безумная поклонница уверяет, что знакома с Ширвиндтом много лет. Якобы артист приходит к ней в квартиру, чинит электроприборы, забывает гвозди и даже оставляет деньги, но только когда ее нет дома. Такую любовь женщина и называет сожителством «посредством технических средств». В общем, дамочка «мирилась» с таким поведением своего кумира, но теперь терпение ее лопнуло. Она желает получить либо мужчину, либо его деньги. И требует, чтобы суд помог ей в этом. Несмотря на явную бредовость иска, служителям Фемиды все же придется рассматривать его.

В процессе чтения этой публикации дома назревал мощный скандал, но, когда семья дошла до описания моих работ в качестве электрика, накал страстей поутих.

Сейчас все выходят в Интернет (я бы тоже вышел, но не умею). Кому ни позвонишь: «Перезвоните, он сидит в Интернете». Тон –

извиняющийся, будто сказали, что он сидит в клозете. Слово «сайт» тоже ассоциируется с чем-то мочеиспускательным.

Новинки прогресса – это не мое. Атрофия восприятия – страшная штука. Она, к сожалению, приходит с годами. Отталкивание того, что не понимаешь.

Компьютеры даже не знаю, с какой стороны втыкают и куда. Я когда-то умел писать, и довольно грамотно – с запятыми и деепричастными оборотами. Но и в то время печатную машинку так и не освоил. Поэтому по-прежнему пишу, как Пушкин, – пером.

Помню, один из первых компьютеров появился у Ролана Быкова. Он позвал меня к себе домой в поселок Сокол и сначала рисовал на компьютере, а потом стал печатать. Гениальный человек – был ведь уже совсем не мальчик, а все освоил. Я сидел с трубкой во рту: «Как же это ты?» И он сказал: «Просто мне очень интересно».

С Интернетом надо быть осторожным. Вот что мне оттуда достали:

Актер Ширвиндт Александр

Дата рождения 19.07.1934

Александр Анатольевич Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году окончил Щукинское театральное училище. Дебют в кино – в фильме «Она вас любит». Сыграл множество великолепных комедийных ролей как на сцене Театра сатиры, так и в кино. Пожалуй, одна из наиболее удачных киноработ Ширвиндта – роль Ипполита в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром»...

Еще бы не удачная, когда ее играл Юрий Яковлев!

Зачем пользоваться Интернетом, если можно достать документальный материал, например письма поклонниц таланта, которых раньше называли сырихи.

Письма хочется сохранить хронологически точно и дифференцировать их по жанрам и тематике. Ничего в них не надо дописывать и дошучивать, а то можно будет предположить, что их коснулась рука любимых мною Сени Альтова или Миши Мишина. Но, думаю, такого наива им уже не потянуть.

В общем, письма – документально-реальные.

Дорогой Заслуженный Артист А. Ширвиндт!

Прошу извинить нас за наше беспокойство. Пишут к Вам и обращаются с просьбой две подруги – Люда и Валя. Мы давно мечтаем вступить с Вами в письменную связь, но очень стеснялись! Один раз мы посмотрели в нашем клубе к-ф «Атаман Кодр», в котором Вы исполняли роль молдавского военного Василия Богдескула. Мы не побоимся даже сказать, что к-ф нам слишком понравился.

С той знаменательной даты мы всюду ищем Вашу фамилию в кино и в передачах по телевизору. Мы с подружкой Валей смотрели по многу раз все к-ф и передачи, где Вы выступаете: «Приходите завтра», где Вы играли образ Вадима, «Еще раз про любовь», где Вы создали замечательный образ Феликса, «Ирония судьбы», где много песен и юмора, и т.д. Лучшее всего нам понравилась передача по телевизору «Свадьба Фигаро», где Вы были очень красивый и замечательно исполняли роль графа.

Вы необыкновенный артист! Глядя на Вас, нам не хочется, чтобы кончались годы нашей только начинающейся юности!

Дорогой артист А. Ширвиндт! Мы с подружкой Валей живем в Костромской обл., окончили профтехучилище и в настоящее время работаем и мечтаем учиться и дальше. В настоящее время мы находимся в г. Москве, где остановились у Валиной тети в отпуске. Мы приходили к Театру «сатиры» 4 раза и смотрели на все Ваши фото в разных ролях, повешенных на доме.

У нас есть Ваша вырезка. Это когда вы разговаривали в дружеской беседе с артистом А. Мироновым в «Литературной газете» 24 сентября 1975 года. Мы с подружкой Валей ее часто читаем. Наша самая заветная мечта увидеть Вас живым! Но мы никогда не видели! У нас к Вам очень большая, а, возможно, и дерзкая просьба. Помогите нам достать билет на Вас! Мы понимаем, что у Вас нет на это свободного времени. Один человек нам сказал, что артистам приходится запоминать роли наизусть. Правда ли это? Мы еще раз извиняемся за наше беспокойство. По Вашим глазам – «зеркалу души» – мы считаем Вас очень добрым и очень отзывчивым человеком с большой буквы и надеемся на эти ваши чувства!

Мы придумали сделать так: Вы, может быть, можете, если Вам нетрудно, оставить билет в окошке, где касса, в конверте, который мы высылаем. А мы придем с деньгами 10 апреля с утра и можем прийти еще. Только мы уезжаем с 30 числа. Очень умоляем Вас об этом! Как пишут в стихах: «Дорога в жизни одна, Ведет лишь к смерти она». И мы не знаем, когда еще приедем в г. Москву!

Мы Вас очень-очень просим. Мы никогда никого ни о чем не просили!!! Это первый и последний раз!!! Будем с большим нетерпением надеяться!!!

О своей жизни и своем впечатлении от Вас мы опишем в следующем письме.

До свидания.

С большим комсомольским приветом к Вам –

*Люда и Валя
6 апреля 1978 года*

Здравствуйте, уважаемый Александр Ширвиндт!

Меня зовут Сергей. Мой дед, председатель колхоза «Третья пятилетка», достал билеты на «Маленькие комедии большого дома». Мне очень понравилось Ваше выступление. Вы говорили про Сергея, как про меня. Я много понял. Я теперь не «равносторонний треугольник». У меня действительно, как Вы сказали, были все тройки, но теперь – Вы, наверное, не поверите – у меня осталось только четыре тройки – по алгебре, химии, русскому и английскому языку. Спасибо Вам большое за то, что благодаря Вам я многое понял и вообще, хотя я в 8-м классе, но пьеса, особенно Вы, говорили про меня и про многих из нашего класса. Когда закончу школу, хочу стать артистом, как Вы.

Очень прошу ответить на мое письмо. Как Вы стали артистом? Что Вы мне посоветуете? Мама не хочет, чтобы я был артистом, но я знаю, что у меня получится.

Очень жду ответа.

Сергей, Москва

Здравствуйте, Александр!

Прошу извинить меня, но я не знаю Вашего отчества. И еще: прошу, представьте, что Вам пишет не девушка, а просто человек. Вы ведь артист, Вам это, по-моему, представить просто.

Знаете, почему я так хочу? Находятся еще девушки, которые пишут артистам, мужчинам всякую чепуху. Но им можно простить – они молоды и глупы. Я пишу Вам без какой-либо корысти.

Сначала – о Вас. Вы верите в любовь с первого взгляда? Только помните наш уговор (я – не девушка). Любовь не простую, земную, а любовь к таланту. Сейчас я посмотрела по телевизору «Бенефис» Л. Голубкиной с Вашим участием и подумала: «Да он и интересный человек!»

Вот тут я должна сказать немного о себе. Вы знаете, я очень жалею, что родилась женщиной (вообще-то это не ново!). Меня всегда тянет к мужчинам, но, во-первых, не ко всем, а к интересным, умным, а во-вторых, не с теми чувствами, которые свойственны женщине, а с чувством узнать что-то интересное от них.

Но вернемся к Вам. Мне захотелось с Вами поговорить. Нет, не поплакаться в жилетку, а поговорить, посоветоваться. Я убедилась в том, что Вы очень серьезный актер и человек.

Когда я смотрела эпизод, где Вы говорите: «Боже мой! Что это сегодня творится? Мама?!!» – я просто чуть не визжала от восторга. Я просто пожирала Вас на экране глазами. Ловила каждый жест, каждый взгляд. Иногда казалось, что я играю вместе с Вами... Но вот последняя сцена. Этот взгляд при словах о том, что «смогу ли я жить без вас» (извините, не помню дословно). Эта сцена полностью драматическая. Не знаю, может, Вы и играете серьезные роли (я Вас ведь не видела), но мне кажется, что Вы больше драматический актер, чем комедийный.

Какое-то у меня нескладное письмо получилось. Вы, наверно, не поймете меня. Я не буду переписывать письмо на чистой, потому что могу передумать посылать Вам его. А послать надо.

Теперь, когда Вы прочитали письмо, судите сами: или не обратиться на него внимания, или обратиться. Я буду считать за сча-

стве, если Вы хоть чем-нибудь (пусть просто открыткой) дадите знать, что получили мое письмо.

С уважением,

*Лидия.
26 сентября 1975 года*

Недавно услышал смешной анекдот. Один говорит: «Ну, все, выйду на пенсию и докончу вторую книгу». – «Вы пишете?» – спрашивает другой. «Нет, читаю».

Никак не могу решиться уйти со службы – вынужден читать ночью. Благо бессонница помогает.

Раньше мы проходили как самая читающая страна. И действительно, все читали запоем, то есть много, взалхлеб и профессионально, ибо запой – это великий менталитет нашей, и только нашей, страны. А сегодня мы становимся самой считающей страной в мире. Но так как считать мы начали недавно, то есть поздно, то картина жутковатая, варварски непрофессиональная.

Вот замуровать бы все нефтяные скважины, развеять весь газ по ветру, зажечь родную лучину около не менее родного камелька, открыть родную книжку: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...» Где же кружка?

Я сейчас живу на старой дедовской даче моей супруги. Дачный поселок НИЛ (наука, искусство, литература) расположен в Истринском районе у станции Новоиерусалимская. Станция названа в честь грандиозного Ново-Иерусалимского монастыря (точной копии израильского подлинника). Жители Нового Иерусалима в бытовых беседах отбрасывают для беглости речи приставку «Ново-», и, к примеру, раньше неискушенные иногородние слышали абсолютно потустороннее: «Мань! Мань! В Иерусалиме яйца выбросили!»

Поселок НИЛ 30-х годов. Тогда Сталин отдал каким-то наукам, искусствам и литературам огромный бугор. Слава богу, что там страшная дорога – овраг, – и настоящие хозяева жизни не могут туда въехать. А провести шоссе невозможно.

В НИЛе жили актер и чтец Дмитрий Журавлев, писатель Илья Эренбург (раньше просыпаешься в 6 утра, из-за забора, как дятел, стучит машинка – это Эренбург), академики Веснины и Владимир Семенов, на даче которого я и пишу эти строки, будучи женатым на его внучке. С годами название поселка осталось, а содержание постепенно выветривается.

В НИЛе есть библиотека. И в ней как-то устроили вечер памяти Журавлева. Меня позвали. Чистенько. Получают библиотекарьши по-прежнему гроши. Специальную экспозицию сделали. Угощали огромным пирогом с вареньем. Никаких виски и устриц.

В библиотеках нашей сферы работают очень знающие люди. А молодежь приходит и спрашивает (это не анекдот): «Дайте мне пьесу Вампилова «Уйти на охоту».

Я придумал себе хорошее занятие – читать что-то забытое. Как модно было говорить: «Вы знаете, я тут «Войну и мир» перечел». Перечел... Что значит, он ее никогда не читал.

Я люблю пиратскую литературу и сейчас с удовольствием, когда никто не видит, цапну какой-нибудь флибустьерский роман. Есть замечательные малоизвестные пиратские истории. Такая наивная прелесть. Такие мощные Робин Гуды, которых никогда невозможно победить.

В прежние годы, когда появлялась подписка на какой-нибудь многотомник, в Химках, на пустыре, ночью все на эту подписку записывались. Причем не важно было на что. Горели костры, и надо было отмечаться несколько раз за ночь. Если тебя нет – твою фамилию вычеркивают. Но чтобы не каждый день не спать, можно было договориться с кем-то: одну ночь не спит он, другую – ты. Я никогда не забуду, как мы записывались на Ожешко. Писательницу Ожешко. Никто ее не помнит, а у меня до сих пор где-то есть двенадцатитомник Ожешко. Ну как можно было не взять?

Самое смешное, что моя жена, с которой мы тогда еще не были женаты, тоже выстаивала в Химках очередь за подписными изданиями. Так у нас в семье оказалось двадцать четыре тома Ожешко.

Книги обязательно надо читать. Главное – не выписывать понаравившиеся цитаты. Потом такие цитаты создают ощущение, что это твои мысли.

Вышла замечательная книжка воспоминаний Вертинского. Огромная, толстая. Ее не знаешь, как читать: если лежа – она убьет (а засыпаемость в мои годы уже высокая).

Сейчас чтение превратилось в снотворное: какая бы шикарная книжка ни была, десять страниц – и все. А если это Вертинский – то летальный исход!

Как-то меня журналисты спросили, каким книгам я отдаю предпочтение. Я ответил: «В данный момент с умилением перечитываю Козьму Пруткова. Много времени потратил также, выписывая из Пушкина ненормативную лексику. И учу наизусть «Луку Мудищева».

Когда погружаешься в наши СМИ, создается впечатление, что население страны состоит из лиц Первого канала, лиц второго и лиц кавказской национальности.

В моем кабинете появился телевизор. Дирекция повесила. Дело в том, что мы живем при капитализме, а законами пользуемся советскими, точнее, совковыми. Если бы мы не купили телевизор, деньги с театра все равно списали бы. Их нельзя потратить, скажем, на пошив костюмов для нового спектакля или доплату артистам. Даже на ремонт унитазов. Не положено: другая статья расходов. И на счете оставлять деньги глупо, иначе в следующем году бюджет сократят, меньше дадут. Вот и тратим.

Недавно милый ведущий в телевизоре говорит: «Совершен очередной теракт. К счастью, погибли всего три человека». К счастью!

Ток-шоу – как квохтанье глухарей: все токуют и токуют.

Идущая по всем каналам беспощадная полемика под руководством иронично-циничного провокатора-ведущего напоминает

мне наше пребывание на сцене в четырехсотом спектакле, когда ни сил, ни вдохновения уже нет...

Артисты драмы, лишь бы засветиться, ломают ноги на фигурном катании, дискредитируя этот великий вид спорта. Те, кто не может стать на коньки, надевают боксерские перчатки и бьют друг другу морды, забывая, что морды их кормят. А те, кто вообще ничего не умеет и всего боится, шинкуют вялый салат по всем телеканалам под пристальным вниманием дилетантов от кулинарии. Дилетантизм шагает по планете.

В толковом словаре Даля «кумир» – изваяние, идол, истукан или болван. С этой точки зрения эlegantное воззвание «не сотвори себе кумира» может звучать «не сотвори себе болвана».

Но тот же вечный Даль, очевидно одумавшись, добавляет, что «кумир» – предмет бестолковой любви и слепой привязанности. Истоковать бестолковую любовь довольно трудно, но попробовать можно.

Как изваяния кумиры нашей родины не вечны. Каждая эпоха норовит воздвигнуть своего истукана, снося предыдущего. Поэтому, видимо, Зураб Церетели выбрал себе в кумиры Петра Первого – огромный и на воде. Попробуй снеси!

Что касается бестолковой любви, то лично я с белой завистью наблюдаю за феноменом Максима Галкина. Без всякой иронии констатирую недостижимую свободу сценического пребывания, универсальность возможностей – голос, пластика, импровизационное раскрепощение, обаяние. Чего еще!

Он всегда до ужаса чистенький, недирольно белозубый и очень складный.

Когда я в течение трех часов смотрел на его ТВ-шоу, где он не устает, не потеет и не пользуется фонограммами, закрадывалась крамольная мысль – уж не робот ли? Уж не пришелец ли из другой эстрадной цивилизации?

Так что, возвращаясь к Далю и кумирам, наступаю на горло старческому брюзжанию и признаюсь в слепой (вижу действительно неважно) привязанности к Максиму Галкину.

В три часа ночи очень утомительно быть искренним, но приходится, потому что врать некому, а сон не идет.

Удивляешься на людей, проживших жизнь в натуральном бесстрашии. У них, если пользоваться сегодняшней терминологией, кастинг совести гарантирует рейтинг биографии. Это бесит. Вот Юрский, например. Начать снова дружить уже поздно – столько не выпьешь в наши годы. Обходишься виртуальными чувствами. Среди повсеместной банальной лабуды вдруг неожиданно обнаруживаешь личность. Тут как-то на очередной телесходке он (я все о Юрском) вдруг мудро и тонко, слава богу, доброжелательно препарировал мою незамысловатую персону. Спасибо. Серьезно!

Вот со Жванецким очень выгодно дружить – не любит бессмысленной траты времени на общение. При нем не надо пытаться шутить – лучше не получится, а если хорошо – не простит.

Проявлением смелости нашего поколения считалось выбежать с партсобрания, якобы в туалет, чтобы не голосовать за ввод советских войск в Чехословакию, поэтому некоторым оправданием мне может служить моя антипартийная судьбина (не вступал в партию не в силу смелости, а в силу боязни не туда вступить).

Когда Тито спрашивали, как это Югославия вроде бы в социалистическом лагере, а вроде бы и нет, он отвечал: «Югославия – это как яйца при половом акте. Они участвуют, но не входят». Это про меня. Чистым диссидентом никогда не был – материл, как все, коммунистов на кухне. Некоторый элемент вынужденной беспринципности преследовал меня всю жизнь. Авторы альманаха «Метрополь» – мои друзья. Но все равно я не был «ихний» стопроцентно.

Все мы были замешаны, все активно или вяло клялись, врали. Хорошо бы сегодня всем оглянуться на свою биографию и притормозить с пафосом негодования и осуждения прошлого.

Я перелистываю старые бумаги в пожелтевших папках и натываюсь на плоды своего творчества застойных лет. Лестно было бы на

этих страницах поврать о непримиримости, об отказах участвовать, об акциях протеста. Самое большое, что я лично себе позволял, – не завышать планку непристойности, не быть в авангарде ликующих и ура-кричащих своих коллег. Слабое оправдание, но все-таки...

Выступать, бороться против чего-то было опасно всегда. Только раньше было опасно смертельно, а сейчас опасно карьерно.

В то время, когда было нельзя, я порой был гораздо категоричнее и смелее. А когда стало можно, начал всего бояться. Старость.

Театр сатиры не по репертуару, а по местоположению находится на острие политической борьбы, потому что стоит на Триумфальной площади, где, как известно, 31-го числа проходят митинги. Когда фоном митингующих пестрят афиши наших спектаклей «Дороги, которые нас выбирают» или «Вечерний выезд общества слепых» Виктора Шендеровича, мы поневоле становимся участниками острых баталий.

Я всегда стеснялся и сейчас стесняюсь разных политических программ. Столько их повидал, что, когда с пеной у рта отстаивают даже самые светлые идеи, мне становится скучно, я подозреваю за этим очередную глупость.

С некоторой брезгливостью и осторожностью отношусь я к коллективным волеизъявлениям и письмам как к форме социального существования вне зависимости от смысла. Смахивает на группенсекс, где можно сачкануть на волне суммарной эрекции. Я думаю, что коллективизм и единомыслие – шизофренизм философского фундамента. Единомыслие – это когда один мыслит, а остальные тут же создают вокруг коллектив. Ницше, Маркс, Станиславский – гении идей. После смерти гениев идеи превращаются в системы, системы в догмы, догмы в глупость, глупость обратно в идеи. И торжествует счастливая безапелляционность бездарности.

Общественное сознание нынче невероятно аморфно. Да и властители умов и сердец сегодня пожиже, чем в начале XX века. Одно

дело, когда полемизировали Павел Флоренский и Сергей Булгаков, и совершенно другое, когда спорят Проханов с Жириновским. Грандиозный шабаш талантливой безвкусицы.

Кстати, один-единственный раз видел Жириновского растерянным. На юбилее Говорухина. Станислав Сергеевич велел мне бегать по залу с микрофоном и спрашивать зрителей о юбиляре. Подошел к Жириновскому и сказал: «Представьтесь, пожалуйста!» Он обалдел и тихо произнес: «Меня все знают». – «Откуда?» – спросил я. И он растерялся. Ура!

Шекспир был абсолютно прав: мир – театр! Вот, например, смотрю заседание Думы и вижу депутатов, которые годами сидят в этом зале и рта не открывают. Зачем они нужны? Почему они там сидят? И тут я понимаю, что это массовка. Без массовки театр невозможен. Эта театральность существования касается не только Думы, но абсолютно всех сфер нашей жизни.

Государственного строя так и не придумали. Из свалки лозунгов пытаются сконструировать новую модель. Что-то вроде: «Народ и партия – едины Россией». Начальники, не считая театрального цеха, все очень молодые и энергичные – титанические трудоголики, поджаро-спортивные вожди.

Сегодня полностью девальвированы вечные понятия: если «авторитет» – то только криминальный, если «лидер» – то лишь политический.

Раньше мы неслись к коммунизму, теперь к обогащению. И то и другое – призраки.

Кругом бутики пооткрывали, мюзиклы ставим. Во всем на российскую действительность нанизана западная вторичность. И чем дороже, тем вторичнее.

Дефицит – двигатель прогресса. Во всех сферах. И в политической, и в общественной, и в личностной. Когда ничего не было и ничего было нельзя, то все хотели чего-то достать и для этого

страшно суетились. Направленность поиска: велосипед, мотоцикл, потом машина (что вообще было за гранью возможностей), маленькая дача на участке в четыре сотки, а потом – в шесть. А потом – о счастье – подворачивалась вагонка! Я помню, как мне позвонил друг и сказал по огромному секрету, что на 26-м километре Рязанского шоссе в пять утра будет грузовик вагонки. И мы должны были, минуя посты ГАИ, эту вагонку доставить на дачу... Дефицитная жизнь давала импульс энергии. В духовной, интеллектуальной сфере – то же самое: дефицит свободы, дефицит острого слова, дефицит открытого смеха. Было счастье обретения. А сейчас бери – не хочу. И куда девать эту энергию желания?

Я уверен, что у нуворишей все – понты. Понты – особняки: строят и не знают, что делать на четвертом этаже. Один мой знакомый, чуть моложе меня, но уже с четырьмя инфарктами и одышкой, построил дом, шесть лет в нем живет и никогда не был на втором этаже – не может подняться. А у него их четыре. Потому что сосед построил трехэтажный дом – значит, ему нужно выше. Это психология абсолютной неподготовленности к богатству.

Я когда-то купил сельский магазин в Завидове. Там в отделе «Гастрономия» лежала патока, а в отделе «Галантерея» висел одинокий хомут. На эти товары никто не зарился, и магазин продавали за ненадобностью.

Когда я стал сопредседателем московского Английского клуба, мне пришлось частенько присутствовать на приемах в среде «новых русских». Наслушавшись за столом, как московские «лорды» хвастаются вилами в Майами и недвижимостью в Сен-Тропе, я решил поддержать разговор: «А у меня в Тверской области есть небольшой магазинчик». И все с уважением посмотрели на меня.

Был еще один случай, когда мне удалось продемонстрировать свое благосостояние. Как-то из Германии я привез жене розу в горшке. Оказавшись очередной раз в обществе миллионеров, я ввязался в спор, где лучше покупать землю – в Швейцарии или Австралии, и, попыхивая трубкой, вставил: «А я вот недавно

купил землю в Германии». Между прочим, и в том и в другом случае не соврал: и земля вокруг розы – немецкая, и сарай – действительно в прошлом магазин.

Сейчас декларируется необходимость духовности, а вокруг одни силиконовые груди и гелевые губы. Все красивое и надутое, но хочется иметь что-то натуральное! Меня не покидает ощущение, что сегодняшняя жизнь – силиконовая. Сколково – силиконовый сколок Силиконовой долины – построили, надули, после чего стыдливо замолчали. Обожаем новые словечки! Инновации, инновации... Пожурем – и забываем.

Еще говорят о патриотизме. Но патриотизм – это не березка, опята и памятник Тимирязеву. Патриотизм – это в общем-то эмбриональная штука. Человек с рождения пуповиной связан с землей, нацией, родителями, со школой, с кинотеатром и зоопарком, в которые он ходил. Всё это, как бы ты ни метался, все равно в тебе сидит. А сейчас с рождения существует нигилизм.

Вечно молодая, безгранично русская Надежда Бабкина с искусственной косой, навсегда приколотой к тоже искусственному кошнику, олицетворяет бутафорскую мечту о национальной идее.

Национальную идею судорожно ищут. Боятся быть темными и старомодными. Похерив марксизм-ленинизм, заблудившись между развитым социализмом и социализмом с человеческим лицом, примеряем то китайскую, то шведскую, то американскую модель на свои нечерноземные плечи. Родину нельзя примерять – надо носить, какая есть. Куда бы нас ни швыряло, мы возвращались к родной идеологии. Русская идея – это пиздобудство (упаси бог спутать с распиздяйством): открытость, искренность, оголтелая широта и родной язык.

Я в жутком подвешенном состоянии. Запретили пить, курить, материться, парковаться. А на днях главный клоун всея Руси с трибуны Думы разрешил совокупляться четыре раза в год. Ну, для меня эта норма давнишняя. А как быть молодежи?

Теперь насчет материться. Отменили четыре основополагающих понятия нашей действительности. Народ онемел. Слава богу, пока не тронули «мудака». Очевидно, потому что «мудак» и «мудрец» – слова однокоренные.

«Чего ты матерись?» – ужасаются некоторые. Да не матерюсь я, а разговариваю на родном языке. Просто надо в совершенстве им владеть.

Покойный Георгий Павлович Менглет был замечательный, необыкновенно артистичный матерщинник. Играя Баяна в «Клопе» или господина Дюруа, он умудрялся разбавлять текст матерком. И ни один зритель не мог заподозрить, что мопассановский герой ругается матом – так это было лихо и чисто.

Конечно, в незнакомых, ханжеских компаниях надо быть осторожным. Сначала проверить степень отторжения слушателя через невинное слово «сука». Если проскочило, то уже идешь дальше.

Времена наступили не самые сладкие. Кризис. При этом сверху идет четкая установка: не сеять панику, не волновать людей понапрасну. Тебе заплатили зарплату в полтора раза меньше, а ты ходи радостный, словно проявил сознательность и накопил гособлигаций. Подобное уже было в нашей истории.

У меня на даче до сих пор хранятся тонны этой валютной макулатуры. Как вещественное доказательство того, что вместе с трудовым народом я внес вклад в строительство социализма. Коммунизм, правда, построить не успел. Страна рухнула. И похоронила под обломками обязательства, которые брала перед гражданами.

Я очень надеюсь на кризис. Мне кажется, он ближе нашему менталитету, чем достаток. Когда настроили плечо в плечо особнячков, наставили у подъездов «хаммеров» – Россия потеряла лицо. А сейчас надо потихонечку возвращаться к частичку в томате и сырку «Дружба»... Ведь это было не так давно. И вкусно.

Но ощущение, что кругом жлобье и «сникерсы», неверное. Впервые я это понял, когда хоронили Булата Окуджаву. Он лежал в Вахтанговском театре. Стояла очередь из пришедших по-

прощаться. Плотная, толстая, до самой Смоленской. И загибалась она где-то на Садовом кольце. Какие замечательные были лица! И я подумал: ведь есть же! Где они прячутся?

Наш народ непобедим. Видел в новостях во время наводнения на Дальнем Востоке: затопленная деревня, вода по крыши, а в амбразуре чердака сидит милая старуха с козой. Подплывает лодка с крепкими ребятами в оранжевых жилетах. Старуха спускает на веревке ведро в лодку, ей кладут туда бюллетень, она поднимает ведро, голосует с козой за местную поселковую администрацию и опускает ведро.

А эти ребята просто герои. Какой-то парень нырял-нырял в 10-градусный разлитый Амур, навывинчивал каких-то старух и детей, кошек и собак. Потом отряхнулся и пошел сушиться – еле поймали. Он совершенно не предполагал, что его поблагодарят и повезут на ТВ.

Мне, коренному москвичу, проживающему в сталинском небоскребе на Котельнической набережной, хорошо видна с высоты третьего этажа многолетняя, многострадальная свалка в Зарядье. Мне, коренному москвичу, физически больно каждый день лицезреть этот «вырванный зуб» в самом центре родины. И вот закончился пресловутый и модный нынче тендер, и победившие американские зодчие воплотили нашу архитектурную национальную идею.

Потемкинские деревни – физиономия России. Утопии всегда связаны с оптимизмом. Чем шикарнее и пошлее мечта, тем спокойнее на душе. Можно тащить через всю Вселенную перманентно гаснущий олимпийский факел, выбирая маршруты, не загрязненные нищетой и цинизмом, можно непрерывно выбирать «Мисс стриптиз», умиляясь интеллекту участниц, обратно пропорциональному длине ног. Но Зарядье!

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) создавалась как наглядное пособие мечты. Советский человек, входя во врата этого рая, сразу наткнулся на золотой фонтан «Дружба народов», изобретенный мужем незабвенной Рины Зеленой. И под фонограмму великого Владимира Михайловича Зельдина («И в какой стороне я ни буду...») проникался сладкой сказкой. Над фонтаном парил

аромат кавказских шашлыков, перемежающийся запахом прибалтийских миног, на уютных лужайках паслось стадо обаятельных коров с выменем до пят и грустными глазами бальзаковских красавиц, а за ними по-хозяйски наблюдал одинокий бык-производитель. На опытном гектаре останкинского черноземья колосилась двухметровая пшеница, из уютного пруда можно было выловить пятикилограммового осетра с разорванными губами и, насладившись рыбацкой удачей, выпустить обратно до новой экзекуции.

Но Зарядье! Внимательно изучив проект будущего шедевра, несколько удивился компонентам символов российского ландшафта с точки зрения американских зодчих: БОЛОТО, СТЕПЬ, ЛЕС, ТУНДРА, ФИЛАРМОНИЯ. Представляю себе воплощенную идею. Уютное болото, видимо, с прозрачным намеком на события на Болотной площади. Дрессированные, локально летающие комары – чтобы, не дай бог, не перелетели через Кремлевскую стену. Кусок выжженной степи с искусственным суховеем по набережной Москвы-реки, дующим под двусмысленную фонограмму «Степь да степь кругом...». А посреди тундры – уютный филармонический зал с циклом тематических концертов «Мы поедem, мы помчимся на оленях...».

Когда-то мы с покойным Григорием Гориным намертво поругались со своим другом, театральным критиком, одним из инициаторов закладки мемориальных звезд в лужу перед входом в концертный зал «Россия» – буквально запретив замуровать туда нашего друга Андрюшу Миронова. Ну и что? Где «Россия»? На какой свалке валяются эти мемориальные звезды?.. Не пришлось бы и в данном случае нам (конечно, уже не нам, а им) осушать зарядьевское болото, превращая его в привычно дымящийся торфяник, засеять степь кукурузой и отдавать филармонию Гергиеву для расширения его музыкального пространства.

Вспоминается анекдот о проекте строительства тоннеля под Ла-Маншем, когда дебатировались многомиллиардные проекты из Франции, Японии, Америки... Вдруг в оргкомитет приходят два брата и говорят, что готовы прорыть тоннель за 1 миллион долларов.

– Как? – ужасается комиссия.

– Очень просто! Фима начинает рыть от Франции, а я отсюда. В середине мы сходимся.

– Позвольте, а если вы разминетесь?

– Ну так у вас будет два тоннеля за эти деньги!

Может быть, не суетиться и еще немножко подумать самостоятельно (столько ждали), прежде чем осуществлять американскую мечту возле Красной площади?

Сегодня, проезжая мимо глухого забора в Зарядье, стыдливо прикрывающего жуткий пустырь, на котором по-прежнему ничего не возвышается, лыщу себя гордой мыслью – а вдруг мой голос кто-нибудь услышит, кто еще слышит, и как-то, может, и приостановит это безумие.

Страшно попасть в разряд брюзжащих стариков, но я многого сегодня не понимаю. Смотрю на своих учеников, у них счастливых браков – раз-два и обчёлся. Вместо этого – беготня. Время такое! Мобильный перезвон заглушает церковные звонницы. Наши потомки, наверное, уже не увидят «Ромео и Джульетту». Если же ее будут продолжать ставить, то Джульетта выбежит голая, а Ромео признается ей, что он гей.

Очень долго в нашей стране секса не было, и дети приносились аистами или находились в капусте. Сейчас у нас отечественная капуста почти не растет, а если какой-нибудь заблудившийся аист принесет на приусадебные 6 соток ребенка, то скорее усыновят аиста.

В моей профессии любовь постоянно приходится играть. Про любовь я наигрался, поэтому в жизни, когда говорят «любовь», у меня сразу возникает ощущение либо вранья и соплей, либо сурового быта: дети, внуки, тещи, невестки, обязательства. И всплывают воспоминания: когда начиналась вся эта любовь, не было ни квартир, ни машин. Велосипеды были. А как любить на велосипеде?

На мой вкус, женщина должна быть обязательно с длинными ногами, с длинными пальцами. И чтобы курносовая. Лучше блондинка. От женщины должно пахнуть чистотой, а не рекламируемыми дезодорантами.



Семейный театр: с будущей женой Натальей Николаевной Белоусовой

Женскую грудь я впервые увидел в родильном доме. Мама рассказывала, что, когда она стала меня кормить, я смотрел на грудь как настоящий бабник.

Но не надо сравнивать актера с его героем. Допустим, меня с героем фильма «Бабник». Актерское искусство – это перевоплоче-



ние. И чем больше перевоплощаешься, тем шикарнее. Получается, что в жизни я однолюб. То есть мужчина, испортивший жизнь только одной женщине.

Семья у меня замечательная, но жить вместе сейчас архаично и чревато раздражением. Основной раздражитель – я: все время

ору и требую знать, где в любую минуту находятся родственники, а они в ответ вынуждены меня любить – вздохнут и любят. Правда, Михаил Александрович Ширвиндт как-то справедливо заметил, что ору я только на тех, кого люблю: чем громче крик – тем сильнее чувство. С людьми, мне безразличными, я тих и интеллигентен.

Стаж моих семейных уз зашкаливает за границы разумного. Я женат на Наталии Николаевне Белоусовой больше полувека. С момента нашего знакомства она успела побывать в школе, в институте, ведущим архитектором Центрального института спортивных и зрелищных сооружений имени Мезенцева и пенсионеркой.

В Омске я с гордостью гастролировал в театре, построенном по проекту Наталии Николаевны, где – впервые в истории мирового театростроения – в каждой гримерной есть душ. Она насмотрелась на артистов после спектакля!

Уважаемейший и солиднейший академик архитектуры Владимир Николаевич Белоусов, родной брат моей жены, будучи с делегацией в Омске, показал на музыкальный театр и сказал, что он спроектирован его сестрой. На что местное руководство аккуратно и стыдливо шепнуло ему, что театр построен не его сестрой, а женой Ширвиндта. Руководству и в голову не могло прийти, что это совместимо.

Наверное, хорошо, если жены растворяются в своих мужьях. Но, я думаю, в конце концов от этого можно сойти с ума – когда в тебе постоянно кто-то растворяется.

Друзья Качалова все время говорили ему: «Вася, ты великий артист, красавец, с бархатным тембром, женщины штабелями лежат у твоих ног, и – такой подкаблучник, тебя совершенно загнобила твоя Нина». На что Качалов отвечал: «Как вы не понимаете, я для нее еле-еле говно, а она – жена Качалова».

Мы жили в двух комнатах восьмикомнатной коммунальной квартиры в Скатертном переулке. В одной комнате – родители, в другой – сначала мы с женой, а потом еще и с Мишкой. Террито-

риально было совершенно непонятно, куда этот кулек положить. И все время приходилось его перекаладывать. У нас было старое вольтеровское кресло (я до сих пор в нем сижу), и, так как кровать никуда не вставала, кресло оказалось просто спасением. Но, если в кресло нужно было кому-то садиться, Мишу перекаладывали на кровать. Мы были молодые, хотели встречаться, общаться с друзьями, а он все время мешал, и поэтому клали его туда, где подушки, потому что на подушки гости все-таки садиться стеснялись.

Миша был шепутной ребенок. Как-то в одной передаче он говорил, что в детстве прошел огонь, воду и медные трубы. Это правда. Однажды он тонул в ледяной реке – я с трудом его спас, бросившись одетый, и вынул его в одной ботинке (второй куда-то уплыл). Потом Миша падал в канализационный люк, потом – в костер на даче. Вот и получается огонь, вода и медные трубы.

Я все время слышал: «Ты будешь заниматься ребенком или ты не будешь заниматься ребенком?!» И тогда я занимался ребенком. Сколько надо заниматься ребенком? Ну, пять минут, десять. Если воспитывать целые сутки, то можно это делать спокойно, а если на все воспитание – пять минут, нужно орать сильнее и палку искать, которой якобы собираешься проломить череп. Если все это размазывать на сутки и десятилетия, то не будет никакого результата. Так тоже никакого результата, но хоть уходит меньше времени.

Прабабушка Миши, когда у нее родился очередной ребенок, написала письмо Толстому: «Лев Николаевич, вы мудрый, дайте совет, как правильно воспитывать ребенка?» Писатель ответил: «Будьте совершенны сами, будут совершенны и ваши дети». Я с ним согласен. Я верю в генетику, а не в воспитание. Человеческая личность не воспитывается. Можно держать ребенка в строгости или баловать, лупить его или с ним нежничать, образовывать по всем направлениям, но рано или поздно вылезут гены. И чем воспитанней и образованней ребенок, тем непредсказуемей дальнейшая судьба. А если не вмешиваться, пустить это дело на самотек, все-таки есть надежда, что пронесет...

У Миши три средних образования – он «окончил» три средние школы. Постоянно приносил какие-то страшные записи учителей в дневнике, взрывал унитазы. Юный химик! Нас непрерывно вызывали к директору, но ходить туда и краснеть приходилось в основном жене.

Обычно в таких случаях родители нудят: «А вот папа в твоём возрасте...» Я тогда понял – ничего нельзя хранить. Когда в очередной раз мой сын прослушал тираду на тему «Вот твой папа, а ты...», он набрел на мои чудом сохранившиеся дневники и понял, что у него наследственный порок. Более того, по сравнению со мной он ещё отличник. На этом все воспитание закончилось. Так что архивы нужно сжигать!

По словам Мишки, в десятом классе он получил от меня на день рождения самый неожиданный подарок – блок сигарет и зажигалку. Причем до этого его гоняли и ругали, если застукают с сигаретой, и после этого продолжали гонять. Мишка считает, что у меня просто не было под рукой другого подарка.

Из непредсказуемого ребенка Мишка превратился в большого, солидного дядьку. Он трудоголик – это, пожалуй, самый очевидный мой ген в его организме – остальные можно только подозревать, поскольку он, в отличие от меня, выдержан, спокоен, мудр и доброжелателен.

Бабушка Миши – Раиса Самойловна Кобиливкер, дед – Анатолий Густавович Ширвиндт с подозрительными немецкими корнями. Мать – Наталия Николаевна Белоусова, столбовая дворянка. Получился русский интеллигент космополитического разлива.

Миша, мне кажется, не очень похож на меня. Но, видимо, другим так не кажется. Как-то я с дачи заехал в городе Истра в магазин купить батарейку. Там стояло море телевизоров, и все они в этот момент показывали Мишкину программу «Хочу знать». Я стою у прилавка, ко мне подходит какая-то дама и говорит: «Ой, я прямо умираю – вы прямо и в телевизоре, и здесь. Дайте автограф».



Фото Ильи Шпиза

Ресторатор-сын и рыбак-отец

Как ни странно, моя внучка – абсолютный слепок с моей мамы: внешне и немножко даже внутренне. Чтобы от моей невестки Татьяны Павловны Морозовой родилась Раиса Самойловна, моя мама, – мистика!

Когда внучку спросили: «Какие у тебя отношения с бабушкой?» – она сказала: «Ну какие могут быть отношения, если он меня в общем-то содержит». – «А какие отношения в быту?» – «Не знаю, он, когда приходит, сразу спит».

Внучка с трехлетнего возраста научилась произносить тосты. Она знала всех моих друзей, но иногда приходили новые люди. И когда мы садились за стол, она тихонечко меня спрашивала: как зовут гостя, где он работает...

Дальше картина такая: посреди застолья вдруг поднимается трехлетний ребенок и с рюмкой в руке говорит: «Мне бы хотелось выпить... – заход бабушкин, – за очаровательное украшение нашего стола, за Ивана Ивановича, который впервые в нашем доме. Я очень надеюсь, что этот дом будет его домом». У Ивана Ивановича – вот такие шары.

Однажды внучка собиралась ко мне прийти, но пришла не как внучка, а как дистрибьютор косметической компании. Я думал, с ума сойду. Привезла каталог продукции. Я ей говорю: «Крем для снятия грима». Она отмечает. «Щетка для чистки пяток типа пемзы». Она опять отмечает. И говорит: «Еще давай, а то скидку не получишь». Взяла 500 рублей и уехала. Потом привезла заказ и новые каталоги. Я подумал: «Слава богу, хоть один человек в семье будет иметь интеллигентную профессию».

К сожалению, ее торговая карьера не удалась и она стала искусствоведом.

Старший внук Андрюша у нас личность, образовавшаяся вразрез с вековыми наследственными тенденциями семьи, и поэтому наше семейство смотрит на него с почтительным ужасом и страстной любовью. Он преподает в МГУ на юридическом фа-



Внуки Саша и Андрей

культете, кандидат наук, знает пять языков: немецкий, английский – в совершенстве, французский – свободно, итальянский – бегло, латынь – со словарем.

Сейчас не я внуков воспитываю, а они меня. Я должен быть все время в напряжении, чтобы их не подвести, не расстроить и неправильно себя не повести.

Раньше, когда театр выезжал на гастроли за границу, моя жена бросала строить театры, дворцы и стадионы и делала картонки-транспаранты на каждого члена семьи: объемы груди, бедер, плеч и всех других частей тела, на которые можно было что-нибудь купить. Проблема возникала с обувью, потому что размеры во всех странах имеют разные цифры. Первое время мне давали стельки на все родственные ноги. Но стельки загибались внутри ботинка. Тогда стали давать палки, которые вставлялись в распор, и размер угадывался. Палок обычно было полчемоdana.

Сейчас, когда, не дай бог, что-нибудь привезешь, внуки говорят: «Шура, – они меня дедом не называют, – мы тебя умоляем, больше ничего не покупай. Ты ни черта не соображаешь». И это гора с плеч.

У нас дома не выкидывается ничего (с годами возникает физиологическая невозможность выбросить даже целлофановый пакет – пакеты складировуются). Все отправляется на антресоли со словами: «Пригодится». Лет пять назад я полез куда-то наверх, поскольку мне померещилось, что там есть что-то нужное. Оттуда упал чемодан, раскрылся, и из него выкатились клубки мохера (мохер – это такая шерсть). В дефицитные 70-е годы мохер, как и болонью, резиновые сапоги, привозили из-за границы моряки. Прошло 40 лет, и это все сверху упало. Я говорю: «Это зачем?» Жена говорит: «А вдруг внуки?» Я позвал внуков, достал одну полуистлевшую пушистую блямбу. «Что это?» – спросили они. Я сказал: «Это бабушка бережет для вас, вы будете в старости вязать». – «Что?!» – переспросили они в ужасе.

Дети не понимают родителей – это данность. Но это не конфликт. Конфликт в нежелании понимать, что тебя не понимают. Время идет, нравы и приоритеты меняются, товары тоже. Если я когда-то брал лучшую по тем временам туристическую палатку и мы отправлялись куда-нибудь под Астрахань удить рыбу, то у компании сына другие общие чаяния. Эта компания – владелец сети ресторанов Антон Табаков, кинорежиссер Сергей Урсуляк, продюсеры Денис Евстигнеев и Аркадий Цимблер. Они уже летают в Австрию кататься с гор.

С внуками еще острее, чем с детьми. Внуки ждут, когда я позволю и в очередной раз поною. В чем задача деда? Все время ныть: «А это зачем? А это куда?» Ты слышишь на том конце трубки вздох. Но сам-то чувствуешь себя исполнившим свой долг. И у них перерыв до следующего нытья.

Вообще-то дети и внуки – хорошие. Даже иногда трогательные. Как-то мы были на Валдае, в 400 километрах от Москвы. У меня – день рождения. Все звонят, поздравляют, но приехать не могут. У Андрюши – лекции, Миша на съемке, Саша сторожит собак на подмосковной даче. И вдруг часов в семь к дому отдыха на Валдае подъезжает машина, и все они вылезают с подарками. Нет, неплохие дети.

Но дети все-таки приходящие и приезжающие, а один член семьи круглосуточный.

Я просыпаюсь в 5 утра, супруга просит на цыпочках уходить в другую комнату. Потом приходит сонная собака – вестхайленд-уайт-терьер Микки. По утрам мы с Микки едим творожок. Ему хорошей еды нельзя, потому что он ест овечье дерьмо, этот рояль в конине или конину в рояле (Миша-то у нас – собачий академик). А утром, пока никто не видит, мы едим всякую настоящую еду. Больше всего он любит огурцы, особенно соленые, и болгарский перец.

Раньше у нас жил старый спаниель, и кто-то сказал жене, что если она возьмет к нему маленькую собачку, то молодая кровь его взбодрит. Чего-то она не взбодрила, пес умер, но остался у нас белый бандит Микки. Жена увидела такого у Ярмольника – и влюбилась. Ленка и навел ее на питомник.

Микки реагирует на все. Вечером, перед тем как выключить телевизор, мы на пять минут включаем ему канал «Планета животных». Особенно его волнуют тигры. С лаем он становится на задние лапы, чтобы дотянуться до них. И все время оглядывается на нас – чего вы, мол, спокойно сидите, когда у нас в квартире тигры. Если на экране телевизора лают собаки, он тоже начинает лаять. Они убегают. Он тоже бежит за ними за экран, смотреть, куда они убежали. Потом приходит с вопросом: «Где же, трамтарарам, они?» Я долго объясняю где.

Дети, внуки и собаки быстро стареют. Хочется свежести. Появляются правнуки. Это обнадеживает.

Я проживаю в высотном доме на Котельнической набережной. Если бы был жив Юрий Трифонов, он обязательно написал бы вторую серию «Дома на набережной», ибо по мощности своего внутреннего существа наша высотка, думаю, не уступает Дому на набережной напротив Кремля через речку. Построенный по личному приказу Сталина, первый советский небоскреб был роздан поквартирно многочисленным сталинским клеветам и просто знаменитостям.

Жилой фонд высоты распределялся ведомственно – военные, КГБ, светила науки, искусства, партаппарат. Ничто не предвещало вселения в это престижное жилье скромного, уже не слишком молодого, но еще вполне свежего артиста. Все случай.

Весело проживая в двух комнатах многосемейной квартиры в Скатертном переулке, я никогда не вождедел к внекоммунальному жилью, так как приехал в свою скатертную альма-матер сразу из роддома имени Грауэрмана и не знал, что человеку можно жить без соседей. Знала и даже помнила об этом моя жена, которая, в отличие от меня, абсолютно чистых кровей. По отцовской линии ее древо уходит корнями в элитарное купечество. У нас дома на всякий случай висит грамота 1838 года за личной подписью Николая Первого, где купцу II гильдии Павлу Белоусову присваивается звание потомственного почетного гражданина (не во все, оказывается, века 38-й год был 38-м годом). Ну а по материнской линии моя супруга чистейшая столбовая дворянка – их семеновский род восходит к Семенову-Гян-Шанскому (при моей любви к лошадям я иногда, в отсутствие Наталии Николаевны, вру, что род ее начинается с Пржевальского). Так что семья Семеновых-Белоусовых помнила времена несколько иных жилищных возможностей. У них на даче уже в нынешнее послевоенное время была даже корова, но к периоду моего сватовства корову продали, очевидно решив, что держать в семье и меня, и корову накладно.

Наталия Николаевна уже слышать не может историю, что я женился на ней из-за коровы. Если раньше это было как бы полущуткой, то теперь все воспринимают историю всерьез.

Такое ощущение, что я сидел на пастбище, наблюдая за коровами, а потом стал потихоньку выяснять, кто хозяйка приглянувшейся скотины, и только тогда женился.

В общем, Наталия Николаевна страдала в коммуналке и менялась из последних сил. Менялись две комнаты в восьмикомнатной квартире и однокомнатная хрущевка на трехкомнатную квартиру. Утопия! Я к этой борьбе за выживание не подключался – мне и так было хорошо. Наталия Николаевна ненавидела меня за жилищную бездеятельность. Трагическая ситуация однажды обернулась счастливой случайностью.

Маме моей, потерявшей зрение, только бешеный оптимизм и человеколюбие позволяли быть в гуще событий и бурной телефонной жизни. Наталия Николаевна в метаниях по работам, магазинам и обменным бюро сломала ногу и лежала дома. Был солнечный воскресный день. Я возвратился с бегов, несколько отягощенный воздухом и прощальным бокалом чего-то белого, повсеместно продававшегося в тот период на ипподроме. Войдя осторожно в жилье (предварительно приняв усталый вид), я не заметил на полу арбузной корки, наступил на нее и, проехав весь свободный от мебели метраж, плашмя приземлился у ног матери, сидящей в кресле. «Тата! Тата! (Это домашние позывные Наталии Николаевны.) Все! Он пьян! Это конец. Уже днем!» В иное время я бы благородно вознегодовал, но, лежа на полу на арбузной корке, органики в себе для протеста не обнаружил и тихо уполз в дальний угол, прикинувшись обиженным.

В доме висела зловещая тишина, нарушаемая звуком моторов, исходящим из уст играющего на полу в машинки моего шестилетнего наследника. В передней прозвучал телефонный звонок, и соседка, сняв трубку, крикнула: «Мишенька, тебя Хабибулин». Хабибулин – сын нашей дворничихи, одноклассник и закадычный друг наследника. Мишка подошел к телефону, и бабушка и родители слышали через полуоткрытую дверь душераздирающий диалог, вернее, одну сторону этого диалога: «Привет!.. Не!.. Гулять не пойду... Довести до бульвара некому!.. Баба слепая!.. Мать в гипсе... Отец пьяный! Пока!»

Представляю себе, что говорили в подвальной квартире дворника о судьбе бедного Мишеньки, живущего в таких нечеловеческих условиях. И на фоне этого кошмара раздался следующий телефонный звонок. Во избежание новых неожиданностей я сам бросился к телефону и услышал невнятный голос человека, очевидно только что поднявшегося с арбузной корки огромных размеров. «Э! Меняетесь? Что у вас за вариант?.. Ну да не важно – приезжай, посмотри квартиру», – плавно перешел он на «ты», и, прежде чем послать его обратно на арбузную корку, я на всякий случай спросил: «А чего у тебя?» – «Трехкомнатная в высотке на Котельниках».

Через пять минут, с усилием сделав трезвое лицо при помощи актерского перевоплощения, я уже стоял на тротуаре около автомашины ГАЗ-20 («Победа»), представлявшей собой огромный ржавый сугроб в любое время года. Всякий раз, когда я выезжал на этом сугробе к Никитским Воротам, из милицейского «стакана» бежал инспектор Селидренников и, грозно размахивая палкой, привычно орал: «Ширвинг, ты у меня доедешься – сымай номер». Угроза эта была символическая, ибо оторвать номерной знак от моего сугроба можно было только автогенном, которого у Селидренникова под рукой не было. По иронии судьбы, когда я пересел на сугроб ГАЗ-21 («Волга»), сугроб ГАЗ-20 («Победа») приобрел тот же Селидренников.

Заводился мой сугроб зимой уникальным способом. Скатертный переулочек имеет незначительный уклон в сторону Мерзляковского переулочка. Задача состояла в том, чтобы столкнуть сугроб по наклону и завести его с ходу. Но сдвинуть его было невозможно даже буксиром, и если бы я жил в другом месте, то, конечно, не смог бы пользоваться этим транспортным средством в зимний период. Но я жил в доме 5а по Скатертному переулочку, а в доме 4 (напротив) помещался в те годы Комитет по делам физкультуры и спорта. По каким делам он там помещался, для меня было загадкой, но около него всегда стояла кучка (или стайка, не знаю, как грамотнее) выдающихся советских спортсменов в ожидании высылки на очередные сборы. О допингах у нас в стране тогда еще не знали, и чемпионы были грустные и вялые. Рекордсмены любили меня и от безвыходности реагировали на мои шутки, которые я бросал им через переулочек. Впрягались они в сугроб охотно и дружно, и у устья Скатертного переулочка тот уже пытел, изображая из себя автомобиль. Тут, конечно, очень важно было, чтобы у подъезда стояли не Таль со Смысловым, а нечто более внушительное. На этот раз повезло необычайно: не успел я вынести из подъезда свое уже описанное выше лицо, как ко мне с улыбками поспешили мои друзья Абрамов, Лагутин, Григорьев и Енгибарян – славная сборная по боксу тех лет. Они швырнули мой сугроб, как снежок, в конец переулочка, и через пятнадцать минут я уже осквернял им огромный двор престижного дома.

На пороге места моей будущей прописки стоял молодой человек неопределенного возраста с чертами всего, чего угодно, на изможденном лице. Он был сыном покойного генерала КГБ, сам носил незамысловатые капитанские погоны этой же структуры и жил в отцовской квартире с двумя женами – бывшей и нынешней. Как он жил с ними, только территориально или по-всякому, мне до сих пор неизвестно, но атмосфера в семье была накалена до крайности. После недолгой, маловразумительной беседы мы решили, что в его ситуации мой вариант – находка, и, выпив по рюмке чего-то неслыханно мерзкого, ударили по рукам.

Переехав, я скучал по Скатертному, часто сидел там по утрам, находясь внутри очередного четырехколесного сугроба, и учил слова роли перед репетицией.

В доме на Котельнической набережной жили Галина Уланова, Никита Богословский, Людмила Зыкина, Лидия Смирнова, Клара Лучко, Нонна Мордюкова, Михаил Жаров... Жила здесь и легендарная Фаина Георгиевна Раневская – великая актриса и уникальная личность. Она никогда не шутила и не острила – она мыслила парадоксально. Многие ее молниеносные афоризмы стали уже легендой. Каждый второй, как это принято, приписывает себе дружбу с ней и якобы лично услышанные от нее фразы. Со мной она тоже подчас перекидывалась парой слов. Не буду их хвастливо цитировать, чтобы не подумали, что я зарвался, но одну приведу, так как вряд ли кто-нибудь другой может это себе присвоить: «Шурочка, проволоките меня по двору метров пять-шесть – очень хочется подышать!»

Жил в этом доме и Евгений Александрович Евтушенко, «лево-му» творчеству которого я обязан своим въездом в гараж нашего дома.

Мест в гараже было раз в тридцать-сорок меньше, чем желающих туда на чем-нибудь въехать. Поэтому при дирекции существовала гаражная комиссия. Учитывая контингент жильцов, можно себе представить состав этой комиссии. Когда я пошел на комиссию впервые, то подумал, что влез на полотно художника Лактионова «Заседание Генерального штаба». Чином ниже ад-

мирала в комиссии никого, по-моему, не было, или мне тогда с перепугу так показалось. Очередники тоже были не с улицы, и, естественно, мне не светило ничего и никогда, хотя я честно числился в списках жаждущих парковки многие годы. Жаждал парковки и Евтушенко.

Мы родились с Женей рядом, он 18 июля, я 19-го, матери наши служили в Московской филармонии и сидели в редакторском отделе друг против друга, дружили и завещали это нам с Женей. Попытки дружбы были: у меня есть несколько Жениных книг с лихими перспективными надписями, и однажды был произведен эксперимент совместного празднования дня рождения. В списках на возможность въезда в гараж наши кандидатуры стояли тоже почти рядом, но разница в весовых категориях была столь велика, а вероятность освобождения места в гараже столь ничтожна, что мне оставалось только вздыхать. Покойный директор высотки Подкидов, очевидно вконец замученный великим населением своего дома, проникся ко мне теплотой, и я с благодарностью вспоминаю его ко мне отношение. Подкидов и прошептал мне однажды, что умер архитектор академик Чечулин, один из авторов нашего дома, родственники продали машину, и неожиданно внепланово освободилось место в гараже и что вопрос стоит обо мне и Евтушенко. Я понимающе вздохнул, и мы с Подкидовым выпили с горя.

В этот критический момент появляется известное и очень мощное по тем временам стихотворение Евтушенко «Тараканы в высотном доме». Тараканов в нашем доме действительно были сонмища – вывести их, как известно, практически невозможно, можно только на время насторожить, и Женино стихотворение потрясло своей бестактностью руководство дома и, конечно же, патристически настроенную гаражную комиссию. Сколько ни разъяснял им бедный Евгений Александрович, что это аллегория, что высотный дом – это не дом, а страна, что тараканы – не тараканы, а двуногие паразиты, мешающие нам чисто жить в высотном здании нашей Родины, все было тщетно: гаражная комиссия обиделась на Евтушенко, и я въехал в гараж. Вот как надо быть осторожным с левизной, если хочешь при этом парковаться.

Сейчас картина в нашем доме с точки зрения личностной мощи, конечно, пожиже, но зато сегодняшние хозяева жизни скупают у испуганных потомков по несколько квартир на этаже, соединяют в витиеватые архитектурные ансамбли и обитают в этих лабиринтах, боясь не отличить при реконструкции несущую стену от не-несущей. И вот бедные стены нашего дома несут на своих древних плечах груз ответственности за безнадзорность.

Не все, конечно, из старой гвардии сразу решаются и, сидя на пенсии с поджатыми от ненависти губами, отбиваются от заманчивых предложений. Одной из последних сдалась моя давнишняя подруга-соседка, вдова крупного генерала. «Никогда, ни за что я не пушу в родные стены эту шпану!» – всякий раз восклицала она при нашей встрече. А недавно тихо остановила меня во дворе и стыдливо сказала: «Александр Анатольевич, продаю! Мне их рекомендовали верные люди. Они и внешне не похожи на «этих». – Она указала рукой куда-то вообще. – Но я хотела у вас спросить: не могли бы вы помочь мне найти евреев для ремонта? Они поставили такое условие. Я в растерянности...» Я не сразу дотумкал, что они требуют от нее евроремонта.

Из великих друзей в моем доме сохранился лишь внук Дзержинского – Феликс Иванович Дзержинский. Он мой коллега – бывший артист «Москонцерта». Работал с покойным папой жонгльж русскими самоварами. Объездили они весь мир, выступали под псевдонимом Вобликовы, ибо, наверное, непедагогично было, если бы в какой-нибудь коммунистически настроенной африканской стране два Дзержинских жонглировали сувенирными ложками.

Сейчас Феликс на пенсии и охраняет платную стоянку у нашего дома. Он человек темпераментный и смелый. Когда очередной министр МВД – Куликов – начал резко бороться с проституцией и в процессе борьбы понял, что росчерком пера половую жизнь половины человечества не убьешь, он пошел на постепенные меры: запретил путанам собираться в центральных районах столицы и определил им место оседлости в сквере у слияния Москвы-реки и Яузы – прямо перед фасадом нашего дома. Старые большевики, а точнее – старые большевички, еще фрагментарно доживавшие

в доме, задохнулись от ужаса и гнева, но сил бороться у них уже не было. Тогда железный Феликс собрал горстку старух и с плакатом «Мы с Ширвиндтом этого не допустим!» внедрился в армию жриц любви. И Куликов с проститутками отступили.

Феликс трогательно следит за моим творчеством и машиной моей жены. Посещает Театр сатиры и, если ему нравится, обнимает меня и спрашивает: «Какую водку тебе купить за доставленное удовольствие?» Так что за водкой у меня бегают Феликс Дзержинский. Не всякий может таким похвалиться.

Навыки вождения у меня, слава богу, еще сохранились, притом что стаж моего автомобилизма 60 лет.

Когда я стал серьезно ухаживать за своей будущей женой, а режиссер Михаил Рапопорт за своей – Марией Кнушевицкой, мы в выходные ездили с дачи встречать их на станцию на автомобиле «Москвич-401». И поскольку он обычно сам не желал подавать бензин в двигатель, придумали особое устройство. Называлось «карбюратор падающего потока». Мишка садился за руль, а я справа, и в протянутой в открытое окно руке держал ведро с бензином. В него был опущен шланг от клизмы, который, в свою очередь, был проведен в карбюратор. Так и ехали до самой станции.

Одна из первых частных иномарок в Москве была у Никулина. Я помню, он с каких-то своих цирковых гастролей приволок старый дизельный «мерседес». Дизельное топливо Никулину наливали прямо в салон из асфальтовых катков (так как на колонках такого топлива не было в помине, а если бы и было, то за него надо было что-то платить, а водители катков считали за честь залить любимого клоуна дизельной жижей), и машина ездил, изрыгая черный дым, а народ стоял и глазел.

Раньше для ремонта всех машин, которые покупали в комиссионке, нужны были четыре вещи: эпоксидка и хозяйственное мыло – для бензобака (заделывать дыры), горчица – в радиатор,

если потек, и проволока с куском асбеста – для глушителя. А сейчас открываешь капот – и видишь практически компьютер. Вообще автомобили стали, как туалетный столик у кокетки.

В свое время я был специалистом по карбюраторам. В кругу интеллигенции слыл очень опытным, чинил их всем. А потом появились первые робкие возможности у отдельных граждан купить какую-нибудь списанную иномарку. Один мой друг через свои связи с дипкорпусом приобрел себе «форд». Все мы пришли посмотреть на это чудо. «Форд» проездил несколько дней и встал. Начались муки по его восстановлению. Запчастей для него, естественно, было не достать. Дошло до того, что машину, опять же через какие-то дикие связи, перевезли на ЗИЛ. И местные умельцы, которые собирали правительственные автомобили, взялись вытачивать своими руками некую деталь для автоматической коробки передач. И «форд» с этой деталью поехал!

Проехал он километров десять – и накрылся карбюратор. Ну тут уже ко мне. Помню как сейчас: огромный двухкамерный карбюратор. Обычно-то я разбирал «Победу», «Москвич», немножко «Волгу» – это я делал буквально с закрытыми глазами. А тут – карбюратор сам размером с «Победу». Но я взялся. Разобрал его – а там миллиард деталей, винтиков, жиклеров. Я в панике: ну все! Запомнить, что, как и где стояло, нереально. Но я его собрал. Правда, осталась гора лишнего. Разбирал я его на простыне, чтобы ничего не потерять, и под конец сложил за края эту простыню примерно с двумя килограммами железа. Но «форд» завелся! И друг мой смог отъехать от моего дома. И даже метров двадцать проехал. И тут иномарка встала навсегда.

Лет двадцать назад журнал «За рулем» организовал автопробег от Горьковского автозавода до Москвы. И меня позвали как бывшего владельца «Победы». В финале мне предложили около университета на Ленинских горах прокатиться. Машине, очевидно, лет пятьдесят, а у нее все родное. Хозяин – шикарный мужик, умелец. Я сел, он рядом. Ничего не видно. Сзади – малюсенькое окошко. Руль повернуть не могу. Спрашиваю: «Заблокирован?» Оказалось, нет. Просто руки забыли, как тогда крутили руль без

гидравлики. Как же я раньше пьяный, еще с десятью артистами, на такой же «Победе» во Внуково ночью мотался? Вот что значит привыкаемость и отвыкаемость.

Я воспитан в спартанских условиях выпивки и посиделок. В гараже, на капоте машины, раскладывалась газета, быстро нарезались ливерная колбаса, батон, огурец. Хрясь! И уже сразу хорошо. Когда сегодня я попадаю в фешенебельные рестораны, милые мальчики и девочки, обучавшиеся на элитных официантов, приносят «полное собрание сочинений в одном томе» – толстые, в переплете из тисненой кожи меню, от которых у меня сразу начинается изжога.

Раньше и в ресторанах было проще: мажешь хлеб горчицей, сверху – сальцо, солью посыпанное, махнешь под стакан – и уже загрузился. Ну а потом заказываешь, что они могут добыть у себя в закромах.

В сгоревшем ресторане ВТО были «стололазы». Прибежал кто-нибудь из артистической среды не очень состоятельный, сразу – водочка, капусточка. А дальше начиналось «стололазание». Причем это не грубо и примитивно: плюх к столу и «Дай выпить!». Это была игра. Классная актерская саморежиссура. Сюжет, каждый раз сочиняемый заново. «Боже мой! Кто это?! Это ты! Сколько лет, сколько зим! Я присяду? Буквально на секундочку. Как дела? Как, что? А что ты ешь? Ну-ка, дай отведать кусочек. А что пьешь? Вот это?!» – «Хочешь выпить?» – «Да нет... Разве что символически. (Пригубливает.) А знаешь, вообще-то вполне...» И когда за этим столом резерв терпения исчерпан, выискивается другой столик – и снова: «Боже, это ты?! Как я рад!»

Для моего поколения словообразование «рыночная экономика» ассоциируется только с рынком – об экономике мы ничего не знали и даже боялись догадываться. Раньше на рынок ходили лишь по очень большой нужде. Когда мой сын Миша первый раз решил жениться, меня послали на рынок за мясом в семь утра, к открытию. У меня там был знакомый рубщик Семен – огромный конопатый еврей.

Стоит Семен с топором, к нему – очередь колхозников с тушами наперевес. Пробираюсь, говорю, что меня просили принести ногу килограммов на пять, чтобы запечь. «Маня!» – кричит Семен. Бежит Маня с коровой на плече.

Семен корову разделывает, отрубает для меня часть ноги. Но мне почему-то кажется, что другая часть помясистее будет. Я ему деликатно на нее намекаю. Он швыряет мой кусок на разделочную тумбу и орет на весь рынок: «Вот нация! Ему уже делают, а он не верит!»

В нашей округе был элитный гастроном – в высотке на площади Восстания. В славные 60-е этот шедевр советской небоскрёбии стоял на четырех продовольственных «китах».

Ближе к Садовой, наискосок от бывшего института усовершенствования не то учителей, не то врачей, как краугольный камень советского пищеварения, висел гастрономический отдел: рожки или вермишель, геркулес, сечка-гречка, манка, хлебулочные изделия и выпечка (безграмотная тавтология – либо хлеб – это не изделие, либо булка – это не хлеб, и все это не пекут), сыр плавл. «Дружба», сметана разливная – в банки заказчика, сигары кубинские.

На углу, ближе к американскому посольству, – мясная гастрономия: колбаса за 2 р. 20 к. – несбыточная постперестроечная мечта коммунистического электората, микояновские котлеты, которые смело могли бы лежать в отделе «Сухари» (интересно, сам Микоян их когда-нибудь пробовал?), колбаса ливерная в кишке настоящей – для банкетного стола студенчества, сигары кубинские.

Над кинотеатром «Баррикады» органично возвышался мясной отдел: куры синие, кости неизвестного домашнего животного – так называемые мослы, незаменимые для холодца, срезы свежие (для молодежи поясню, что срезы – это не больная фантазия злопыхателя, а вполне мясной продукт – тонкая жилистая пленка, что имеется у съедобных млекопитающих между собственно мясом и собственно костью; подходят к рожкам и для мясной солянки), сигары кубинские.

И наконец, в стыдливый 4-й угол был загнан рыбный отдел – непредсказуемость выставяемых продуктов заставляла скрывать его от глаз политического недоброжелателя.

Там, рядом с органичными в рыбном отделе кубинскими сигарами, могла засверкать зернистая или (слюна пошла от воспоминания) паюсная икра. Вдруг, как раздавленная гигантским асфальтовым катком, шлепалась на весь прилавок камбала, или неожиданно в мраморные пересохшие джакузи начинала сочиться вода, и туда ныряли живые представители карповых.

Пиком рыбного развала являлся скромный «ценник» (так называлась мятая вонючая бумажка, на которой хим. карандашом была нарисована цифра, обозначающая размер рублевой значимости лежащего под «ценником» продукта), покоящийся над пирамидой черепов типа верещагинского «Апофеоза войны» – где было по-русски написано: «Головизна осетровая». Это разного размера черепа осетров, гильотинированные под самые жабры, с выпученными от предыдущих кулинарных пыток глазницами. Я, по молодости и глупости, всегда спрашивал себя: сколько же нужно сожрать там, где их жрут, осетровых тел, чтобы всему оставшемуся московскому населению с лихвой хватило одних только черепов?

В советское время существовал бредовый лозунг о содружестве искусства и труда. Подразумевалось, видимо, что искусство – это не труд. У нашего театра тоже был союз «с трудом» – с ЗИЛом и Сахарографинским заводом имени Мантулина. Нас даже сделали почетными членами бригады какого-то цеха и ударниками коммунистического труда. С сахаром у нас всегда было благополучно, с автомобилями и холодильниками «ЗИЛ» хуже.

Но есть надо было что-то кроме сахара.

Звонит мне как-то удивительная и непредсказуемая Нонна Мордюкова – вскоре после того, как ей где-то на самом высоком уровне присвоили звание лучшей актрисы столетия, и говорит: «Шура! Срочно выбирай день, и едем в совхоз за 120 километров от Москвы. Дадут 100 яиц и кур, а может быть, и свинины». Я положил благодарно трубку и представил себе, как Софи Лорен телефонирует Марчелло Мاستроянни и предлагает смотаться в Падую за телятиной.

Из чего складывается индивидуальность? Из непредсказуемости. От меня можно ждать всего или ничего. Я, например, не умею отдыхать. Я умею работать или ничего не делать. Я ем вареный лук. Не прикидываюсь – люблю. Несут со всего дома много и охотно, при этом даже как бы возвышаясь в собственных глазах: ну еще бы, народного артиста подкормили! Я реально вижу весь процесс: хозяйка варит щи, вылавливает из кастрюли склизкий кругляш, подносит его к помойному ведру и тут вспоминает, что в третьем подъезде живет сумасшедший, который жрет эту мерзость. Кладет лук на блюдечко и несет мне. Тут надо быть бдительным и понять по состоянию луковицы, не поздно ли обо мне вспомнили и не попала ли луковица на блюдечко уже из ведра.

Ну а если даже из ведра? Цивилизация и высокие технологии сегодня проникли во все слои общества. В нашем доме два крыла расположены очень далеко друг от друга. И вот у двоих из бомжей, которые каждое утро роются в мусорных баках, есть сотовые телефоны.

Бомжиха звонит своему другу на другое крыло здания: «Ветчинку не бери – я взяла, а вот сырка нету». Они сервируют себе завтрак.

Вкусно поесть для меня – это пюре, шпроты, гречневая каша со сметаной (с молоком едят холодную гречневую кашу, а горячую – со сметаной). Я обожаю сыр. Каменный, крепкий-крепкий, «Советский», похожий на пармезан. Еще люблю плавленые сырки «Дружба». Главное, чтобы они не были зеленые от старости.

Я люблю накрывать стол. И умею. Но не хочу. Потому что как представишь себя в роли метрдотеля или шеф-повара, которым предстоит пережить шок: ты стараешься, неделю витаешь в творческих эмпириях, сочиняешь все это. Стол – картинка! Пиши с него фламандские натюрморты для Лувра и Эрмитажа. И тут свора жажущих кидается к столу. Куликово побоище! Я всегда сочувствовал рестораторам и их шеф-поварам, накрывающим торжественный стол. Как они переносят зрелище того, что неизбежно происходит в финале?

Я абсолютный говноед. Единственное, чего не могу есть, – это чеснок. Не выношу холодец, студень и все, что дрожит. Если где-то пахнет чесноком, начинаю задыхаться. У меня партнерши были замечательные – Людмила Гурченко, Алена Яковлева, Ольга Яковлева. Они все лечились чесноком. Но, зная, что я не переношу его запах, чем-то сверху пшикали. И получалось еще ужаснее, когда целовался с ними (на сцене, на сцене).

В старости нельзя рыпаться никуда – худеть, толстеть, бросать пить, начинать пить. Самое страшное – когда прут против конституции. Это касается и физиологических проблем, и общегосударственных.

И сила воли нужна во всем. На слабой воле большинства и построена вся шарлатанская реклама. «Бросить пить окончательно и бесповоротно за один сеанс!», «Похудеть на 30 килограммов навсегда! Дорого». А я знаю способ лучше и дешевле: когда чувствую, что не влезаю в свои бархатные брючки из спектакля «Орнифль», то понимаю, что пора брать себя в руки. Как? Перестать жрать! Вот тянешься к блину – и сразу вспоминай: блина не надо – грядет «Орнифль»!

Есть старый анекдот. Лежит оперный тенор с дамой в постели. Весело, уютно, свеча горит. Начинаются ласки. Звонок. Он берет трубку: «Да? Угу. А, спасибо...» Кладет трубку. «Деточка, одевайся, уходи, ничего не будет, у меня через месяц – «Аида». Так вот, если через месяц «Аида» и есть ощущение невлезания в театральный костюм, а он, как назло, такой, что клин в задницу не вставишь, тогда я выдерживаю неделю без еды.

Только решать – не есть после шести, не пить или не делать еще чего-то – надо сразу, прямо сейчас. А если начнешь откладывать до утра следующего понедельника – ничего не выйдет. Здесь все зависит от смелости. А когда оттягиваешь, значит, трусишь.

Чем ближе к финалу, тем меньше можно пить молока. «Не-не-не, – говорят доктора, – ты свое отпил». Вообще сколько я всего уже отпил: водку отпил, коньяк отпил, кофе тоже. Не отпил только какой-то зеленый чай.

Когда мы читали в ихней литературе, что герои шли и заказывали в баре кальвадос, бог знает что воображалось. А оказалось – яблочная водка. Теперь, пробуя то одно, то другое в нынешнем изобилии, вспоминаешь прежде всего романтическое ощущение от прочитанного. Но в этом безграничном выборе тоже надо знать меру, чтобы себя не потерять. У меня вкусы остались прежние: больше всего люблю «Анисовую». Вот эти самые «капли датского короля». Пью или ее, или просто водку (пиво вообще не алкоголь, пиво – это мочегонное).

Когда-то я был на юбилее Георгия Шенгелая. А в Грузии тогда еще принимали по-настоящему, и за столом сидело человек триста. И у каждого стояло то вино, которое этот человек любит. И только возле моего прибора стояла пол-литра.

Я пью давно и много. Удар держал всегда. Ныне, на склоне лет, конечно, силы не те. Поэтому надо хорошо понимать, когда пора уходить. Это процесс – обратный тому, что было в молодости. Тогда основное ощущение: «Только все началось!» Теперь же включается что-то вроде ограничителя на спидометре: зашкаливает, пора тормознуть. Но с гордостью могу сказать: хотя пару раз меня под белы ручки... нет, не будем вдаваться в подробности, но полной отключки у меня никогда не было.

Я все уже прошел: игры, шутихи, остроты, безудержные праздники, шампанское, коньяки, горы закуски и отсутствие ее... Периоды буйного веселья отошли, как воды перед родами.

Я поздно задымил, уже в институте. Сначала курил папиросы «Беломорканал». Потом у нас произошла оранжевая революция, и мы перешли на сигареты «Дукат» в оранжевых пачечках, по 10 штук в каждой. А трубку тогда курил в стране один человек – Сталин.

Трубкой меня заразил значительно позже мой друг, замечательный оператор-международник Вилли Горемыкин. Он был человеком, глубоко и по-настоящему ненавидевшим театр. При всей любви ко мне он так и не смог за нашу тридцатипятилетнюю дружбу досмотреть ни одного спектакля. У него была редкая болезнь – «чахотка театральная»: он начинал кашлять минут через



*Запрещенная страсть. С Виктором Суходревом
и Станиславом Говорухиным*

пять-шесть после открытия занавеса и, немного поборовшись с недугом, осторожно уходил, чтобы не мешать наслаждаться спектаклем рядом сидящим.

Вилли ездил на съемки за границу со всеми вождями и генсеками – входил в команду хроникеров программы «Время» и всегда привозил оттуда что-нибудь, а мы, как птенцы, ждали с открытыми клювами – кому джинсики перепадут, кому грампластинка...

Но первым в нашей компании стал курить трубку Виктор Суходрев. Витя работал на переговорах со всеми – начиная, кажется, с Линкольна и Вашингтона. Он был гениальным переводчиком – смог, например, перевести хрущевскую «кузькину мать» на язык Шекспира. Когда он возвращался из-за рубежа с очередной встречи, мы ехали на дачу, гуляли, естественно, пили. И устраивали традиционную игру: кто быстрее по-пластунски доползет от одного конца забора до другого.

Четыре часа утра. Ползем, задыхаясь, между лягушек. Берем тайм-аут в середине пути и спрашиваем Витю: «Ну, расскажи – здесь никого нет». И он говорил: «Только никому не проболтай-

тесь, сугубо между нами». Мы клялись молчать, и он выбалтывал политические тайны. Утром эти тайны слово в слово были в газете – великий профессионал.

Витя тогда жил в Каретном Ряду. У него собирался элитный «трубочный салон» – такой внутренний клуб середины 60-х. Тех, кто курил трубки, можно было по пальцам пересчитать. Среди них – иностранные корреспонденты и наши, но с именами Луи и Люсьен. На столе стояло диковинное по тем временам виски, лежали иностранные журналы – «Плейбой», например. Виктор привозил их свободно, потому что летел с Хрущевым и его не трясло. У любого другого приземление с такой прессой могло стать последним.

В наш «салон» приезжал из Ленинграда известный трубочный мастер Киселев и устраивал показ новых работ. Он открывал невероятных размеров бархатный чемоданчик, напоминавший готвальню чертежника. А там, в ячейках, подобно циркулям и рейс-федерам, лежали трубки. Мы общались и походя разглядывали работы Киселева. По тем временам трубки стоили недешево, в среднем рублей семьдесят – при зарплате в девяносто это впечатляло.

Если трубки, которые привозил мастер, не подходили, можно было набросать эскиз и попросить сделать на заказ. Ведь даже архидорогая трубка могла не быть тебе к лицу и не садиться на прикус.

У меня есть несколько трубок Киселева, а также другого уникального мастера – Алексея Федорова.

У Вити Суходрева тоже были трубки Федорова, и с этим связана одна историческая байка. Как-то в начале 70-х в СССР приехал Гарольд Вильсон, в тот момент, кажется, премьер-министр Великобритании. Этаким совершеннейший лорд вдруг впервые оказался в стране, где, на его, очевидно, взгляд, по улицам должны ходить медведи, а глава государства должен сидеть в Кремле в лаптях и косоворотке.

Но вместо медведя Вильсону повстречался Суходрев – элегантный, красивый, похожий на молодого Алена Делона и одетый поллучше британца. А когда Витя заговорил на английском, Вильсон вообще онемел. Он же не знал, что Витька в детстве долго жил в Англии и не просто владеет языком, а различает все диалекты и наречия – на слух определяет, из какой части Великобритании родом тот или иной человек.

У британца во рту торчала трубка. И у Витьки трубка – федоровская.

Вильсон, пообщавшись с Суходревым, оценил его профессионализм и перед отъездом сказал: «Потрясен вами, сэр. Позвольте сделать подарок в знак уважения и признательности». И протянул трубку. Витя взял. В трубочном мире считается высшим шиком обменяться трубками – рот в рот. У Вильсона была жутко крутая Dunhill – номерная трубка, а взамен он получил неизвестно что. Вильсон Витькин подарок передал помощникам, и те забросили его в кейс. Словом, английская делегация улетела домой, и жизнь потекла своим чередом. И вдруг недели через две здание МИДа на Смоленской площади затрясло, как при землетрясении, все заходило ходуном: Суходрева срочно разыскивает Вильсон! Почему? Зачем?

Витьку вызвал на ковер тогдашний министр Громыко и строго потребовал доложить, что случилось. Суходрев недоумевал. Оказалось, Вильсон из интереса все-таки покурил федоровскую трубку и до того обалдел, что бросился звонить в Москву.

У меня могло бы сохраниться больше федоровских трубок, если бы не художник Куксо. Он профессионал-вымогатель, знает про трубки все и у кого – какие. Придет в гости и начинает нудить: «Зачем тебе эта труба? У тебя прикус другой. Она тебе не идет. Ой, да тут каверна!.. Как ты такую гадость можешь держать во рту?! Отдай мне, а я подарю тебе нормальную».

В конце концов забалтывает, забываешься на секунду и, когда приходишь в себя, видишь в руке какой-то доставшийся от Куксо обмылок. А он, счастливый, уже убегает, унося добычу.

Я эту схему иногда проверяю на Говорухине, но не злоупотребляю методом.

Из живых классиков остались Куксо да фотограф Юрий Рост.

Рост – товар «штучный». Представить себе его снимающим на телефон – это все равно что вообразить Тютчева, который пишет «Умом Россию не понять...» в айпаде. Не так давно мы с ним нестандартно посетили гастроном № 1 в ГУМе, где он, якобы по рассеянности, не заплатил за батон 60-х годов. К чести гастронома, никто за ним не погнался, видя, во что он одет. У меня есть

мечта: дожить до присуждения Росту Нобелевской премии, чтобы увидеть его в смокинге.

Раньше, когда настоящих курильщиков было больше, а трубок меньше, за хорошую трубу жизнь отдавали. Сейчас трубок у меня много, но это не коллекция, а свалка – навалено в кучу. Когда в доме делают уборку и выметают пепел из всех углов, постоянно норовят прихватить веником парочку трубок и отправить их под шумок в мусорное ведро. В принципе могу ничего не заметить – учет моих трубок никто не ведет.

Думаю, штук сто у меня есть. Почти все в деле. Я их курю, они теряются, падают, ломаются. Многие друзья с возрастом бросают курить, их трубки переходят ко мне. Когда умер Гриша Горин, его жена Люба отдала мне шесть трубок. Одну из Гришиных я подарил Янковскому, другую передал Росту.

У меня никогда не было проблемы, что привезти друзьям-курильщикам в подарок из-за рубежа. Конечно, табак. Ведь в нашей стране мы курили жмых, настоящий табак являлся редкостью. Сейчас в любой подворотне 150 марок табака, а тогда из всего богатства сортов доступны были лишь три: «Золотое руно» создавалось в Москве, а «Трубка мира» и «Капитанский» имели хождение в Ленинграде.

Друзья привозили нам табачок из Питера, а мы взамен слали им свой. Лист, строго говоря, был хороший, но его закладывали в фольгу, запечатывали, и получалась фанера. Нынешние-то табачки, может, даже похуже, лист хренее, но теперь используют всякие хитроумные присадки, выдержку. Словом, настоящее производство. А нам приходилось работать кустарно. Но самое любопытное – умудрялись делать табак, отдаленно напоминающий фирменный. Рецепт был прост. Покупалась китайская рубашка «Дружба» – единственный товар, который продавался в целлофановых пакетах. Сейчас пакеты разбросаны повсюду, а тогда мало кто знал, что это такое. Рубашка выбрасывалась, в пакет насыпался смешанный табак – все три наименования. Потом туда добавляли несколько долек яблока или картошки, размоченный чернослив, 15–20 капель коньяку. Смесь вывешивалась между рамами на солнце и прела. После чего этот «салат» смахивал на нормальный табак.

Но одно дело – что курить, другое дело – как. Трубка – вещь серьезная. Например, нельзя ее чистить сразу после того, как покурил, нельзя сразу же снова раскуривать. Она должна подышать, отлежаться. Вот когда-то продавались женские трусы «Неделька»: семь штук, на каждый день недели. Сегодня одни носишь, завтра другие, потом третьи, чтобы ежедневно постирушкой не заниматься. Если даже трусам дают выдохнуться, то как трубку этого лишать? Поэтому у нормального курильщика должно быть как минимум семь трубок. Со мной всегда несколько штук. Четыре самые-самые сперли вместе с автомобилем.

Когда у меня угнали джип, опытные люди сказали, что существует целая криминальная система, обслуживающая «своих». Если кто-то из «своих» разбил, допустим, левую фару, он подает заявку – нужна левая фара для такой-то машины такого-то года.



Ялта. Памятник моей трубке

И угонщикам дают задание – найти. И вот едет угонщик и видит: стоит то, что надо. Фара целая. Машину угоняют и разбирают. Если машину не находят совсем, значит, она целиком ушла на запчасти. В общем, не нашли ни машину, ни трубки.

С трубкой я везде. Бывали случаи, когда засыпал на рыбалке, сидя с удочкой, и топил трубки. Поэтому Державин придумал мне приспособление и сам его смастерил – из лески и скрепки. Это модельное устройство не давало падать дорогим трубкам в воду.

А сейчас у меня и фирменная штука появилась – шикарный ошейник на случай непредвиденного засыпания. Я сплю, и трубка спит у меня на пузе.

Сигареты я практически не курю. Только когда трубки нет под рукой или когда снимаюсь в фильме. Правда, сначала я спрашиваю режиссеров, может ли мой герой быть с трубкой. Так, по ходу съемок фильма «Трое в лодке, не считая собаки» решили, что мой персонаж курит трубку. Кстати, и героиня Аллы Покровской также закурила дамскую трубку, дабы соответствовать возлюбленному, то есть мне.

Сигары курить дома мне не позволяют – запах больно ядреный. Моя бесценная супруга смирилась с трубкой, но не с сигарой. Чуть учуяв запах, она тут же вышвыривает меня на улицу.

Мои студенты – ученики во всем, в том числе и в курении трубки. Один так увлекся работой над образом в спектакле «Опасный поворот» по Пристли, что брал у меня специальные уроки курения. Я дал ему пару трубок для репетиций, он привык, и пришлось ему их подарить.

Как-то один журналист спросил меня: чего нельзя делать с трубкой в зубах? Я ответил, что, по-моему, можно все – во всяком случае, мне удавалось.

Моей трубке установлен памятник. В Ялте на аллее возле местного концертного комплекса лет десять назад начали ставить памятники: портфель Жванецкого, жилетка Арканова, микрофон Кобзона и трубка Ширвиндта. Мы ездили эти памятники открывать.

А когда начались события в Крыму, мне позвонили, что там идут манифестации и очередная запланирована у памятника-трубки.

Я человек азартный. Лет двадцать пять тому назад мы были на гастролях в Атлантик-Сити с театром Чехова. Там в каждом казино свой огромный концертный зал. У меня сохранилась афиша, где написано: «12 июля – Лайза Миннелли; 20 июля – «Чествование», в ролях: Александр Ширвиндт... 25 июля – Майкл Джексон».

Жили мы тут же, в отеле при казино. А кругом – автоматы, и рулетки, и покер, и блек-джек... Но я решил взять себя в руки и искушению не поддаваться: мол, приехал сюда работать и зарабатывать. И все бы ничего, но нам выдали талоны на питание в столовку для крупье. Идти туда нужно было через игровые залы, а вокруг все сияет, манит...

Короче, были мы там пять дней, сыграли три спектакля, за каждый из которых мне заплатили по тысяче долларов. А домой я приехал из этого Атлантик-Сити, задолжав три тысячи, то есть проиграв весь свой гонорар плюс еще столько же. Поэтому сейчас, если кто-то из близких видит меня около подобного заведения, сразу вяжет и уводит в другую сторону.

В начале 60-х, когда я только-только учился гибнуть на бегах, мой доверчивый и интеллигентный папа попросился со мной на ипподром, чтобы вникнуть в суть этой пагубной страсти.

На бегах тогда существовали ростовщики. Был знаменитый сеньор Помидор – с красным лицом. Он круглые сутки торчал на бегах – ходил с авоськой, в которой лежали бутылка кефира и бутерброд.

В чем смысл гибели на бегах? Я проигрываю, проигрываю, проигрываю, а в 13-м заезде бежит лошадь – и я «точно» знаю, что она придет. А денег уже нет. И тогда – к сеньору Помидору: 3–5, 5–8, 8–12. Трешку берешь – пятерку отдаешь и так далее. Поскольку тогда это преследовалось, Помидор чужим не давал – а завсегдаев он знал наизусть.

Я все спустил, у папы денег нет. А Помидору я был должен и подойти к нему не могу. Посылаю папу. И папа своей наивностью произвел такое титаническое впечатление на Помидора, что тот дал ему денег.

Помню одного отставного генерала железнодорожных войск. Приходил на ипподром в черной шинели до пола, посверкивая генеральскими погонами. В авоське – подшивка программок. Собирали их годами. Генерал по ним смотрел все резвости лошадиных дедушек, бабушек, мам – кто и когда пришел, летом или зимой, при какой погоде. Он все это сверял (компьютеров не было) и решал, есть ли надежда на данную кобылу.

Существует такое поверье: кто первый раз в жизни на ипподроме просто тыком ткнет в лошадь, обязательно угадает. Никогда никто ничего не угадывал. Хотя экспериментировали нередко. Собираемся компанией человек десять и, предположим, в Женский день, когда ничего понять невозможно, играем. Правда, по одному билету – всех со всеми. На всех со всеми неожиданно могли случиться очень большие выдачи. С нами – Гриша Минников, замечательный конферансье из Баку. Впервые на ипподроме. Выигрываем одну и отправляем Гришу взять выигрыш. Второй заезд проходит – он опять к кассам. Третий – он вновь получает. И слух по всему ипподрому среди аборигенов: «Мужик какой-то неизвестный угадывает во всех заездах». А на круг все равно в пух проигрались.

8 Марта едут одни бабы: ветеринары, конюхи, другие службы. Высчитать даже прожженным игрокам ничего невозможно. Кто собьется, кто сразу на конюшню отправится. Непредсказуемо. Но девочки едут с таким азартом. Были блестящие женщины-наездницы – Евгения Лихобаба, Алла Ползунова, которые выезжали и делали мужиков, как хотели.

Когда меня однажды на ипподроме усадили в качалку и дали «порулить», я понял, что такое беговая лошадь. Ее трогаешь – и такое ощущение, что от тебя уезжает паровоз. Какая силища! Удерживать – ох как не просто.

Помню, как на ипподроме решили внедрить русские тройки. Из Якутии приехал Пупко, который там, в Якутии, ездил на тройке. Так что русские тройки на ипподроме внедрил Моисей Гидальевич Пупко.

При помощи второго тестя Державина – Буденного – я был пущен на правительственную трибуну ипподрома – как партнер род-

ственника Буденного. Потом, когда Михал Михальч с Буденным развелся, меня вышвырнули вниз.

На трибунах обреталось немало знакомых. Актер Пров Садовский стоял с пятью секундомерами в руках и еще одним на пузе. Все поездки фиксировал. Профессионал. Или руководитель Малого театра Михаил Иванович Царев с вечно поднятым воротником, чтобы его не было видно. На бега приходило огромное количество людей из Малого театра – актеров, оркестрантов. Отношение к Цареву было неоднозначное. Его дико боялись, но уважали. А на ипподроме тогда работал наездник второй категории – Царев. И когда была поездка и показывали лошадей, все начинали орать: «Сбейся, царевская морда! Сбейся! Сбейся, гад!» Кому орали?

Рядом в директорских ложах сидели Старостин, Яншин... Както в Доме актера на юбилее Михаила Яншина на сцену вышла лошадь. Организовал это Саша Аронов, был такой симпатичный режиссер, тоже беговик. И сидел на сцене Яншин, а рядом стояла несчастная лошадь. Она с ипподрома пешком пришла на пятый этаж. Высокие этажи, старый дом – ступеньки, ступеньки. Как добрела, до сих пор не понимаю. Зато юбиляр был совершенно ошарашен.

А однажды я с ипподрома отправился на юбилей «Сатирикона». На следующий день в газете появилась заметка:

Александр Ширвиндт один, без Михаила Державина, вышел на сцену нетвердой походкой, вытянув за собой тележку с каким-то грузом. «Я с ипподрома», – гордо сообщил Ширвиндт. После чего он долго навешивал на слегка растерявшегося Константина Райкина всяческие лошадиные принадлежности: сбрую, хомут с пестрыми ленточками, шоры. Когда Райкин был полностью экипирован для забега, Ширвиндт снял с телеги увесистый мешок. Как заклинание промямлив: «Чтобы ты всегда помнил, где ты живешь и с чем тебе предстоит сражаться», он вывалил прямо на подмостки кучу навоза. Наверное, это бутафория, предположили зрители. Но тут раздался запах. Потом долго убирали (хотя пахло до самого финала). Ширвиндт тоже помогал под бурные аплодисменты зала. Талантливому шуту позволено все.

В тот день на ипподроме были какие-то большие бега, меня там слегка напоили. Я уже опаздывал на юбилей, а нужно было что-то подарить Косте. Я взял сбрую, но понял, что ее будет маловато. И мне накидали огромный мешок свежего ипподромного навоза с овсом. Выходил на сцену я не сразу, а в зале было жарко, и я немножко созрел. Когда пошел запах, меня вместе с этим говном вымели.

С возрастом мы все время преодолеваем разного рода пороки, и, когда наконец все преодолено, образуется огромное количество времени, которое нечем занять. Тут выручает рыбалка.

Вообще-то я урбанист, потому что вынужден быть городским. И если куда-то выбираюсь, то это не море и не Майами, а какая-нибудь тихая заводь средней полосы. Мой отдых – только под нашим кустом и чтобы никого не было. Лица наших комаров мне приятнее.

Несколько лет назад меня все же совратили. В последний момент накрылась моя заводь на Валдае, я в панике дал слабинку, и меня повезли отдыхать в Черногорию. Чисто, уютно и бессмысленно.

Как и в Швеции. Однажды вывезли меня туда на рыбалку. Мы искали, где бы остановиться, и обнаружили целый архипелаг сдающихся коттеджей. Никаких глухих заборов, колючих проволок. Только правила пользования коттеджем и ключи от дома, висящие на калитках. Ну это же застрелиться можно от такой жизни! Скукота! А у нас действительно интересно. Только страшно. Страшно за детей, за внуков, за собак. И немножечко – за себя.

Многие считали рыбалку смыслом существования. Михаил Степанович Державин, отец Михал Михалыча, блестящий вахтанговский артист, был знатный рыбак и увлек сына сызмальства. Стилика рыбалки у нас – полюсная. Я с рассвета плюхаюсь в складной «стульчак» и тупо сижу вне зависимости от клева. Михал Михалыч мечется по побережью, меняя кусты на трясину, переоснащает удочки, пробует блеснить...

Корифеем и фанатом рыбалки был народный артист Советского Союза Николай Крючков. К старости он соглашался сниматься в фильмах в том случае, если рядом с натурой оказывался водоем.

Замечательными рыбаками были Гриша Горин, Вячеслав Тихонов... Удивительный поэт-песенник Леня Дербенев рыбачил зимой и летом. Ловил подо льдом, под айсбергами, в унитазах, когда ничего другого не было. Не мог жить без удочки.

Однажды он и меня потащил на подледную рыбалку. Зимой, как известно, ловят на мотыля – такой маленький красненький червячок, которого и летом-то не надеть на крючок. Сейчас все оснащены, есть даже специальные резервуарчики с подогревом от батареек, а тогда, сорок лет назад, мотыля засовывали в презерватив и держали его за щекой!

Ездили мы с Леной рыбачить и летом. Как-то отдохали с ним и Державиным в Сортавале. Внизу – Ладога с судаками и щуками и прилепившийся к скале Дом творчества композиторов. Со скалы мчится маленькая речушка, где мы всласть ловили небольшую форель. Но кто-то из местных подсказал, что, если забраться высоко на гору, там есть скальные озера и можно поймать громадных черных окуней. Мы навьючились как мулы: надувная красная лодка, рюкзаки со снаряжением, снасти, прикормка... Словно альпинисты, почти по отвесной скале стали карабкаться вверх.

Когда наконец добрались до плато, нашему взору открылось красивейшее озеро.

В предвкушении активного клева мы облачились в ярко-оранжевые непромокаемые костюмы, надули и спустили на воду лодку и забросили свои фирменные удочки. Адаптировавшись, заметили неподалеку висевшего вдоль скалы местного мужичка, одетого в валенки и ватник.

Он одной рукой, как обезьяна, держался за корень наклонившегося дерева, а другой, в которой было зажато самодельное удилище, пытался поймать рыбу.

Прошел час, второй, третий – ничего, ни поклевки. Ни у нас, ни у него. Как часто бывает в таких случаях, от злости перешли на «эсперанто». Леня кричит:

– Мужик! Чего ж тут рыба так х...во ловится?

Тот отвечает:

– Не то что х...во, а даже очень плохо!



Нос чужой яхты

В нашем театре были замечательные рыбаки: Володя Ушаков, Клеон Протасов и, конечно, Родион Александров. Породистый, дворянских кровей красавец, джентльмен. Уж если у нас кто-то и смахивал на артиста академического театра, то это он.

Холодным летом 1983 года охотничко-рыболовецкая бригада в составе Р. Александрова, М. Державина и вашего (ихнего) покорного слуги, воспользовавшись отпуском в театре, вырвалась в Костромскую область, на великую реку с целью укрепить то, что в простонародье называется здоровьем. Поселились в пансионате. Великая река цвела из-за бесконечных шлюзов и ГРЭС и рыбы не давала. Бригада готова была впасть в отчаяние и начать подрывать то, что хотела укреплять, при помощи того, что можно выудить на суше. Но руководитель артели Родион Александров (браконьерская кличка Родя) не стал ждать милостей от природы, а стал их брать... Брезгливо взглянув на шведскую удочку с волжским червем на конце (удочки) в руках Мих. Мих., он пошел на кухню, посредством обаяния украл три алюминиевые кастрюли, личным сверлом превратил их в помесь решета с дуршлагом, набил последние черствым хлебом (так как бригаде мучного нельзя, а рыбам можно), на леске (0,5) смонтировал три кольца с грузом, отдельно пустил леску (0,3) с веером крючков и велел Мих. Мих. и вашему (ихнему) покорному слуге ехать на ближайшую ферму. Там мы в туче слепней и комаров вгрызлись в родной край и добыли фирменных, упругих темно-коричневых червей.

Смахнув скупую мужскую слезу (это – аллегория: ни слез, ни мужчин под рукой не было), мы оттолкнули руководителя от берега.

Буквально через 7–8 часов Родик вернулся с фарватера с 5 (пятью) лещами (1 кг 500 г, 800 г, 3 кг 300 г и два по 600 г – взвешено на державинском безмене и проверено). Из багажника извлекли коптильню – не сегодняшнюю хромированную «пудреницу» с флакончиками и ежичками, а настоящую.

Дело в том, что с «Мосфильма» был сперт операторский яуф. Это железный сундук для перевозки отснятой продукции. Внутри – ячейки, куда киношники вставляли круглые коробки с пленкой. Эти ячейки не доходили до крышки, и на образовавшуюся плоскость помещалась решетка от холодильника «Саратов», которая ложилась туда

тютелька в тютельку. На дно сундука стругалась ясенева стружка. Затем раскладывался дубовый костер, подбрасывалась хвоя, немного лиственницы для дымку, и через 17 минут на берегу великой реки уже стоял запах, который нельзя сформулировать словами.

Поскольку, к сожалению, в окрестных лесах, кроме помета неизвестных животных, никакой дичи не было, винчестер Родиона висел на стене и при всем уважении к Чехову так и не выстрелил.

К сожалению, ушли многие друзья. Их рыболовное богатство перешло ко мне по наследству.

Кроме того, возвращаясь из каждой зарубежной поездки, я обязательно привожу что-то новенькое. Казалось бы, покупая очередную спиннинговую катушку, четко осознаю, что дома лежат еще штук двадцать. Но удержаться невозможно – не дает ностальгическое ощущение дефицита, когда поплавки делали из шампанских пробок, а четырехсекционные бамбуковые удилица были верхом пижонского благополучия.

Помню, тыщу лет назад летели мы впервые в Канаду, и наш самолет посадили ночью на дозаправку в Шенноне. Мы вышли в полутемный зал аэропорта и увидели огромный супермаркет, в котором все было и никого не было. Мы, как в Эрмитаже, стали по нему прогуливаться – денег-то ни у кого нет, – и вдруг я увидел огромную корзину, в которой лежала голубая леска – 0,8. Что делать? Оставалось только одно – украсть! Полтора часа я кружил около этой корзины с леской, брал ее, клал обратно. Страшно же: первый раз выехать за границу и быть арестованным прямо в аэропорту дозаправки. Когда объявили посадку и все табуном пошли в самолет, я зажмурился и положил леску в карман. Мокрый, зашел в салон, все ждал – сейчас задержат. Но ничего. До сих пор эта леска у меня лежит – мы же на акул не охотимся. Иногда супруга отматывает от нее метра два и сушит мои трусы на даче...

Кто в нашем театре понятия не имел о рыбалке, так это Андрей Миронов.

Но на съемках фильма «Трое в лодке, не считая собаки», которые проходили на Немане, в районе города Советска (Тильзита),

мы, пока шла подготовка, отправились рыбачить и позвали с собой Андрюшу. В фильме есть эпизод, когда на удочку попался огромный сом (естественно, муляж), и он тащит нашу лодку неведомо куда. Для этого нужны были водолазы. Мы дали Миронову удочку, предварительно кое о чем договорившись с водолазами. Мужики подкрались по дну и аккуратно подцепили Андрюшке на крючок окуня граммов на шестьсот...

Боже, что было с Андреем! Восторженный, он носился среди группы, показывая каждому трепыхающуюся рыбу, и приговаривал: «Понимаете, это не они! Это я поймал! Я!»

В съемках, кстати, участвовали три собаки – три одинаковых фокстерьера. Один – просто убийца, сволочь, гад. Он мог делать что угодно: он таранил лодку, танцевал, пел, улыбался, но к нему нельзя было подойти, потому что он откусывал сразу все, что попадалось. Другого можно было держать за ухо, за ногу, можно было ему откусить нос, но при этом он оказался полным кретином и только жрал и лежал там, где его положат. А третий был чем-то средним. И вот они втроем играли эту одну «не считая собаки».

...Редко удается очутиться на рыбалке в безлюдном месте. Так называемой частной жизни в нашей актерской профессии вообще нет, если актерское лицо примелькалось в народе. Спрятаться некуда, потому что народ у нас везде и его много.

В одна тысяча девятьсот... году мы с моим другом и партнером выкроили несколько долгожданных летних дней и на моем частном автомобиле «Победа» (маленьком БТР для семейных нужд) двинулись по наводке под город Вышний Волочек на никому не известные Голубые озера, чтобы порыбачить и отключиться от общественной жизни. Наводчики гарантировали глушь и уединение. Двое суток мы пробивались через овраги, ручьи и дебри, и, когда неожиданно вырвались к озеру, даже не разобравшись, голубое оно или нет, раскинули палатку, окунулись, и я, как самый ленивый в дуэте, плюхнулся на траву, а Державин, как самый рыбак, тут же голый по что-то пошел в воду и закинул удочку. Тишь, глушь, одиночество и счастье!

– О господи, благодать-то какая! – вырвалось у меня.

На эту реплику из-за мысочка выплыла лодка, в которой сидела дама в отдельном сиреневом купальнике, а к веслам был прикован плотный мужчина в «майке» из незагорелого тела.

– Коль! – нежно сказала дама. – Смотри: голый – это Державин, а матерится – Ширвиндт.

И уплыли...

Оказалось, за мысочком располагался какой-то дом отдыха какого-то машиностроения и от Вышнего Волочка по шоссе до него добираться минут сорок.

Сейчас рыба в таком же состоянии, что и общество. Прежние законы – клюет на рассвете, потом на закате... – все накрылись. Рыба клюет, когда ей вздумается, или когда у нее плохое настроение, или когда она хочет отомстить правилам. Причем это – повсеместно. Куда-то мы приехали, нам говорят: «У нас клюет только с двух до четырех». Дня!

Нельзя заранее готовиться к хорошей рыбалке. Бывало, наешь хлеба, возьмешь случайную удочку – и прекрасно ловишь, а если собираешься двое суток – возвращаешься ни с чем. Хорошее должно на тебя обрушиться.

Никогда нельзя ездить рыбачить во Владивосток, в устье Волги, на Камчатку. Ловишь там жерехов по 40 кг, сомов огромных, а потом приезжаешь сюда и счастлив, если вытянешь карася с ладошку. К хорошему не надо привыкать.

Снасти должны быть старые, свои. Когда несколько лет назад угнали мой джип, то уперли и старые снасти. Сейчас у меня все новое, все блестит и сверкает, а счастья никакого.

К тому же вокруг – много врагов. На Валдае рыба стала клевать хуже. Поэтому, если вынешь леща на килограмм, целуешь его, фотографируешь. А рядом Рязанов – с лицензией на две сети. Когда он вытаскивает судаков и щук, хочется его убить.

Лучшая насадка – отечественный навозный червяк. Он должен быть средней руки, темно-коричневый и свежий. Все эти полиэтиленовые красоты, которые привозят из Америки и Канады, – искусственные черви, но точь-в-точь как живые, – наши рыбы не берут. Не верят. С червями, правда, сейчас катастрофа: очень дорожают.

Ни в коем случае нельзя делать дырочки в коробочке, лучше накрывать ее марлей, иначе черви, превратившись в нитку, обязательно вылезут. Моя несчастная супруга видеть не может всех этих выползков. А хранить их приходится в холодильнике. Если жена открывает холодильник, а там со всех огурцов свисают черви, можно домой не возвращаться.

Однажды я вообще был на грани развода. Мы приехали в дом отдыха ВТО в Плесе. И Родион Александров, уезжая, оставил мне целый ящик опарышей, которых сам вывел. Я недозакрыл этот ящик, и миллион опарышей расползся по всему этому крошечному номеришку.

С опарышами теперь – вообще тупик. Когда я начинал рыбачить, в любом селе или на даче можно было зачерпнуть чем-нибудь в том месте, где они живут, и идти ловить. С потоком цивилизации опарыши исчезли, и их надо выводить специально.

Подкормки сейчас продают импортные. Я еду на конкурс любителей рыбной ловли имени Григория Горина. Его проводит Дом актера, а курируют журналы для рыболовов. Нам там постоянно дают новую подкормку. Последний раз инструктор взял бадью, насыпал в нее фирменный порошок, налил немного какой-то фирменной жидкости, затем воды, а потом достал огромный миксер и сделал мусс!



Не клюет

Но подкормку можно делать проще – из всего, что остается от еды. Конечно, лучше не бросать в нее помидоры, а все остальное заворачивается в геркулесовую кашу, и из этого лепятся снежки.

Вранье, что нельзя рыбу пугать и нельзя кричать на берегу. Если рыба есть и она голодная – будет клевать. Когда купаются, катаются на лодках и матерятся, рыба порой клюет лучше, чем когда тишь-гладь, – видимо, в этом бурлении она на что-то надеется.

У всех есть какие-то страстные желания, устремления и мечты. К стыду своему должен признаться, что с годами круг моих мечтаний чрезвычайно сузился. Одни исполнились, другие отпали, третьи исполнились, но не мной. Сегодня чистосердечно должен признаться, что у меня есть одно, видимо, последнее, заветное желание. Я считаю дни и часы до того момента, когда можно будет не бриться. Я тяну до последней минуты перед уходом в театр, на съемку, концерт, в чужие гости (в свои гости можно и не бриться). Женщины говорят, что рожать больно. Думаю, если суммировать все морально-физические муки, связанные с необходимостью бриться, баланс будет в мужскую пользу.

Идеальную картину моей сбывшейся мечты я до последнего времени представлял себе так: тихая, без ряби поверхность пруда, клев мерного карпа, отсутствие комаров, присутствие хорошего табака, облачная (без дождя) погода, на той стороне заводи купаются голые супермодели, а слева от меня стоит телевизор, по которому показывают женский биатлон, и недельная борода на счастливом лице. Вот примерно такой расклад, как мне казалось, меня весьма взбодрил бы.

Всю жизнь я считал, что рыбы не входят в число населения, осмысливающего свое существование, и поэтому цеплял их крючками. И вдруг в прошлом году на Валдае неожиданно и вожделенно зацепив 500-граммового подлещика и вытащив его на помост своей пристани, я кровожадно выковырял крючок из его недр, посмотрел ему в якобы бессмысленные глаза, и он (клянусь) посмотрел на меня осмысленно-вразумительно.

Как быть дальше? Кого ловить? Кого убивать? Кого слушаться? Кого бояться?

Я, обладатель спортивных регалий в виде «Готов к труду и обороне (ГТО)» второй ступени, второго юношеского разряда по баскетболу (все награды в моей жизни почему-то до первой степени не поднимаются), смею заявить, что спорт и искусство имеют идентичную эмоциональную основу.

Футбол и театр. Как надо играть на сцене и на поле, знают все – от мала до велика. В 1946 году только что демобилизовавшийся брат Борис взял меня на стадион «Динамо» с обязательным условием – не задавать ему во время игры идиотских вопросов: «Куда бегут?», «Чего хотят?», «Кто где?». Сидели мы на самой верхотуре, на «востоке» (хуже мест на стадионе не бывает), при переполненных трибунах, диком накале игры и высоковольтном напряжении болельщиков. За дальнейшие 70 лет моей привязанности к футболу я смотрел матчи из всех возможных точек: из комментаторских кабин, со скамеек запасных, из правительственных лож, из-за ворот – рядом с приютившим меня фотокором Лешей Хомичем – гениальным вратарем прошлого. И все эти 70 лет я слушаю комментарии, компетентные рецепты, восторги и негодования поклонников удивительного зрелища. Содержание реплик стабильно, только форма выражения эмоций год от года упрощается и ужесточается.

70 лет назад на стадионах не матерились, не пили, не дрались с инакомыслящими болельщиками на трибунах, не убивали игроков за гол в свои ворота, не подкупали судей. Максимум, что могли, – сделать из них мыло. При послевоенном дефиците этого продукта сорокатысячный выдох «судью на мыло» звучал реальной угрозой.

Я всю жизнь болею за «Торпедо». Страсть моя сложная, не всегда счастливая, но неизменная. Началось это давно, в довоенное время, когда я жил в коммуналке в Скатертном переулке, в одной квартире с Пономаревым (не динамовским, а торпедовским Пономаревым). От него я узнал, что на свете есть футбол. Прошло много лет, и я, наблюдая за тренерами и игроками в раздевалке, на играх и на сборах, до и после матча, до и после поражения и победы, прихожу к мысли о необыкновенной эмоциональной схожести наших профессий.

Зритель! Страшная, непредсказуемая масса, для которой ты существуешь. Мы для него сфера обслуживания, рискующая навлечь на себя невероятный восторг и неистовую ненависть.

Зритель и поклонник! Это необходимо и утомительно, когда опустошенный и усталый после игры актер и футболист принимают сладкие поцелуи или трагическое сочувствие.

Почему же плохой футбол? Раньше, когда за каждым поражением стоял престиж родного завода, города, партии, государства, флага и гимна, страх перед возмездием в виде очередной накачки сводил в судороги все, вплоть до ахилла. Пришла свобода: играй – не хочу. Нет, опять не очень! Мало платят. Вот если бы контракты, как у них... Гонорары приближаются к мировым стандартам. Счастья опять нет. Почему?

Думаю, что снова стоит вернуться к моей фантазии – схожести наших искусств. Пока Игра не восторжествует на футбольных полях и не затмит своим волшебством и магией все меркантильно-бюрократические интриги – ничего сверхъестественного не произойдет.

Заготовки, разбор, тактика, репетиции, репетиции, репетиции – все это до выхода на зрителя. Разные команды – разные труппы. Разные режиссеры – разные тренеры. Разные творческие почерки – и разные лица команд и театров. Все разное, но решает здесь одно – успех и победа.

Мы нуждаемся в великом футболе, ибо мы – единственная страна в мире, где все самые острые государственные, личные и служебные вопросы решаются в бане и на футболе. Чем выше будет наш футбол, тем быстрее и успешнее все решится в перерыве между таймами. Чем зрелищнее станет игра, тем вдохновеннее и честнее окрыленный болельщик бросится в объятия рыночных отношений. Чем темпераментнее пойдет футбольный спектакль, тем добрее и счастливее будут лица на стадионе – такими, какими были на «Динамо» в 1946 году, когда я еще не знал, что с футболом и театром я окажусь связан всю свою жизнь...

Размечтался! А пока я стою под дождем среди фанатов своей любимой команды, которые, пользуясь завидными голосовыми связками, 90 минут не переставая кричат: «Торпедо» – мы с тобой! «Торпедо» – мы с тобой!» И один из наиболее пьяных и рьяных обращается ко мне дружески: «Чего не орешь, старый козел?!» Действительно, старый. Но почему козел?

от 40



до 20



Мое первое продвижение по ступеням профессиональной значимости – в Театре имени Ленинского комсомола. Это было счастливое время. Чем дальше оно уходит, тем становится счастливее.

В 1957 году театр ютился в зале, в котором Ленин вроде бы сказал: «Учиться, учиться и еще раз учиться». Очевидно, именно поэтому часть уникального особняка Купеческого клуба была впоследствии отдана Дому политического просвещения, где в огромных мрачных залах лежали тонны политических брошюр, которых никогда не касалась рука человека. Время от времени некоторые брошюры изымались в связи с кончиной или развенчанием очередного идеолога, попадали в соседнее помещение и использовались в спектаклях театра как реквизит. В «Чайке» Эфроса я выходил в роли Тригорина в сад и разговаривал с Ниной Заречной, держа в руках прекрасно изданную биографию Хрущева.

Впоследствии Марку Захарову удалось выселить Дом политпросвещения на Трубную площадь и в его помещении оборудовать кабинет главного режиссера, по размерам и архитектуре напоминающий зал заседаний Совета Безопасности ООН.

Театр имени Ленинского комсомола представлял собой странный организм. Не было режиссуры в прямом, профессиональном смысле этого слова, но было созвездие личностей. Во главе этих личностей находились умнейшая, талантливейшая, необыкновенно пронизательная и навсегда шокированная действительностью Софья Владимировна Гиацинтова и взрывная, мощная, безапелля-

ционно прямая Серафима Германовна Бирман. Этот тандем руководил коллективом, что являлось уникальным случаем в истории мирового театра. Рядом были «старые мастера» берсеневского театра: Соловьев, Вовси, Пелевин, Всеволодов, Шатов, Брагин...

Владимир Брагин – удивительно одаренная, разбросанная своими собственными усилиями по всем мелочам искусства личность. Брагин писал эстрадные фельетоны и вступительные монологи, ставил массовые зрелища, выступая где угодно и в чем угодно, был остроумен, импозантен, ироничен и имел в жизни сверхзадачу: сделать все возможное, чтобы правдами и неправдами, подключая свое титаническое обаяние, не выходить на сцену родного театра – основной помехи его бурной жизни. Символично, что роль в «Первой Конной» предназначалась именно ему, и он, интуитивно учуяв во мне человека со схожим жизненным и творческим кредо, одним поворотом интриги свалил этот эпизод на мои хрупкие плечи.

Молодежь театра, его репертуарная основа – ученики Студии театра, мои друзья и «наставники»: Всеволод Ларионов, Маргарита Лифанова, Лев Лосев, Леонид и Римма Марковы, Геннадий Карнович-Валуа – тянули репертуар, были любимцами своих учителей Гиацинтовой и Бирман и приняли меня в свой круг и в свою жизнь с испытательным сроком.

В театре был длинный коридор с гримерными, и последняя – № 12, где сидела самая элита: Марков, Лосев, Ларионов. Они собрали совет гримерной и написали мне письмо:

Уважаемый товарищ Ширвиндт А.А.

Доводим до Вашего сведения, что художественное руководство и общественные организации гримуборной № 12 проводят конкурс на замещение вакантного места столика № 4.

Условия конкурса:

- 1. Три неизвестных похабных анекдота.*
- 2. Коллоквиум – честные ответы на интимные вопросы, ряд примеров супружеского непостоянства.*
- 3. Предоставление справки о православном вероисповедании. (В случае невозможности предоставления таковой совершается*

обряд крещения, торжественного возвращения в лоно православной церкви и возвращение ранее утраченной крайней плоти.)

4. Банкет за счет конкурсируемого.

Москва, улица Чехова, 6.

Дано в лето 1959 года.

Документ с подписями, печатями.

Так меня поселили в 12-ю гримерную.

Римма и Леня Марковы жили в пенале, переоборудованном под жилье из служебной проходной театра во дворе дома, рядом с котельной и огромной кучей угля. Из двери, с улицы, попадали в кухню (1,5 кв. м), а из нее – в холл, гостиную, столовую и спальню (4 кв. м). Этот метраж не мешал особняку Марковых быть салоном интеллигенции Москвы, открытым 24 часа в сутки. Набивалось туда человек пятнадцать. Шутили так: в детский ночной горшок выливали две банки баклажанной икры и клали две сардельки. Казалось дико смешным и вкусным.

Сидя на полу, пел Коля Сличенко (как он тогда пел!), что-то тихо и мягко мурлыкал Володя Трошин (еще далеко было до звездного часа «Подмосковных вечеров»). Забегал на огонек Смоктуновский, отпущенный своей очаровательной, но строгой женой Суламифью (зав. женской пошивочной театра) погреться в лучах марковской личности.

Кстати, о вышеупомянутой пронциательности Гиацинтовой. Она иногда давала сбои. Я помню, как те же Марковы привели к ней никому, кроме них, не известного иногороднего артиста Смоктуновского и умоляли попробовать его в репертуаре. Гиацинтова и Бирман попробовали, не вдохновились и внимательно следили, чтобы в ответственные дни не он играл свою небольшую роль в спектакле «Колесо счастья», а первый состав.

Я помню, как тот же Владимир Брагин привел к нам своего тифлисского приятеля Георгия Товстоногова, уговаривая дать ему режиссерский дебют в театре. Даже он не уговорил, и Товстоногов уехал, уехал и Смоктуновский. Уехали, чтобы стать Товстоноговым и Смоктуновским.



Леонид Марков был для меня в те годы идеальным воплощением актера и мужчины. Богема не в литературно-теоретическом плане, а в наглядно-жизненном пленяла меня совершенно. Он был для меня авторитет. Стройный и гибкий, как лоза, сильный и пластичный, с жеманно-порочной речью, наделенный универсальным актерским диапазоном. Витавший над ним донжуанский, немного жутковатый ореол безотказной любви – все это пленяло и подчиняло.

В 1958 году у меня родился сын. Разочарование мое было безграничным: я хотел дочь! Я мечтал о дочери. Родители, жена, друзья, коллеги наперебой убеждали меня, что я идиот, что все прогрес-

сивные отцы во все времена и у всех самых отсталых народов мечтали о сыновьях – продолжателях рода, дела, фамилии и так далее. Я вяло кивал и убивался. Наконец слух о моих терзаниях дошел до Леонида Васильевича, и он призвал меня для разговора.

– Малыш, – сказал он, мягко полюбнвяв меня за плечи, – я слышал, что у тебя там что-то родилось?

– Да! Вот! – И я поведал ему о своих терзаниях.

– Дурашка! Сколько тебе лет?

– Двадцать четыре.

– Мило! Представь себе, что у тебя дочурка. Проходит каких-нибудь семнадцать лет, ты сидишь дома, уже несвежий, лысеющий Шурик, и ждешь с Таточкой свою красавицу Фиру. А Фиры нет. Она пошла пройтись. Ее нет в двенадцать, в час, в два. Ты то надеваешь, то снимаешь халатик, чтобы куда-нибудь бежать, и вдруг звонок в дверь. Вы с Таточкой бросаетесь открывать. На пороге стоит лучезарная, счастливая Фира, а за ней стою я! «Папа, – говорит она, – познакомься, это Леня». Ты втаскиваешь ее в дом и в истерике визжишь все, что ты обо мне знаешь и думаешь! «Папочка, – говорит она, – ты ничего не понимаешь: я его люблю». И я вхожу в твой дом. Малыш, тебе это надо?

С тех пор я хочу только сыновей.

Актерская слава изначально зиждется на признании близких, прежде всего родителей. Они – первые критики, рецензенты и популяризаторы своих гениев. Моя бедная мама, к концу жизни совсем ослепшая и воспринимавшая творчество сына на слух, однажды чуть было не лишилась ближайшей подруги Розы.

В Театре имени Ленинского комсомола новый год начинался с детских утренников по узбекским народным сказкам. Как-то я заменял на этом утреннике загулявшего накануне актера. Он играл эдакого этнического горниста с двухметровой трубой. От меня требовалось выйти на сцену и протрубить в эту узбекскую дуду. Как назло, на спектакль угораздило прийти тетю Розу с внуком.

Они удобно устроились в первом ряду и приготовились наслаждаться спектаклем. Тут появился я в пестром потном халате, пропердел в эту дурацкую трубу и ушел навсегда.

Потрясенная тетя Роза позвонила маме: «Рая, я видела Шуру. Это трагедия!»

Мама сказала Розе, что это всего лишь случайность, что в театр пришел Эфрос и я у него взорлил.

Тетя Роза, уже без внука, попала на премьеру спектакля по пьесе Розова «В день свадьбы», где в финале вся труппа гуляла на сельской свадьбе. Мы с Державиным стояли у крайнего стола с подозрительно колхозными лицами и кричали: «Горько!» Роза позвонила маме и сказала: «Рая! Он тебе все врет! Ему надо срочно искать профессию!»

Трудно упомянуть всех хударуков, какие у меня были в Театре имени Ленинского комсомола: Софья Гиацинтова, Сергей Майоров, Борис Толмазов, Анатолий Эфрос...

Толмазов – отличный актер, но никакой режиссер – ходил по театру со «вчерашним» лицом, у него были крепкие руки водопроводчика. Утром, перед репетицией, он непременно беседовал с труппой, видимо, где-то вычитал или ему кто-то сказал, что так надо. В руках он держал томик Станиславского, большой палец правой руки воткнув в том месте книги, где была отмечена нужная цитата. Все молча слушали. Софья Гиацинтова и Серафима Бирман сидели с иезуитски внимательными лицами. Есть прекрасные стихи у Саши Черного: «Квартира? Танцкласс ли? Харчевня?/ Прилегла рябая девица:/ Нечаянно «Месяц в деревне»/ Прочла и пришла «поделиться»...» Это был тот самый случай.

Сергей Майоров, черноземный режиссер, ставил «Хлеб и розы» Салынского, там среди действующих лиц было много большевиков. Мужчин в труппе не хватало, поэтому Майоров одевал в шинели актрис, и они стояли с наклеенными усами. Он всех называл Васями, кричал на репетиции: «Вася, ближе к Васе, еще ближе к Васе». Михаил Пуговкин – в то время уже кинозвезда – играл в этом спектакле роль какого-то сибирского парубка, недовольного приходом большевиков. На «Васю» Пуговкин решительно отказывался реагировать. «Ну ладно, ладно», – соглашался Майоров и через минуту снова: «Вася, ты...» – «Если еще раз скажете «Вася», – предупредил Пуговкин, – уйду из театра». И действительно ушел.

Сюжет спектакля «Хлеб и розы»: Сибирь лежит в снегах и ждет ходока из Петербурга. Весь театр играл ожидающих советскую власть. Страшная изба, печь, и мы все в париках. Я лежал около печки с замечательным артистом Аркадием Вовси (племянником академика Вовси, пострадавшего из-за памятного «дела врачей»). Когда кто-то кричал: «Идет, идет!» – мы все выбегали в степь. Но ходок не шел. По двум причинам. Во-первых, по драматургии. А во-вторых, его играл Аркадий Щербаков, который трезвым бывал редко. А ходок по сюжету должен был прийти трезвым. Мы, не дождавшись, возвращались в избу и снова ложились. И я говорил: «Почто зазя по степу мыкаемся». По органике за свою жизнь ничего лучше я не играл.

В Театре имени Ленинского комсомола был знаменитый спектакль «Семья». Пьесу написал Попов, секретарь Ленина. Ставила спектакль Софья Гиацинтова, игравшая мать Ульянова. А я играл кучку меньшевиков в пенсне. Ставили и возобновляли спектакль несколько раз, ибо все время хотели Сталинскую премию. Но в пьесе не хватало Сталина. Ленина было навалом, а Сталина нет. Наконец в последнем варианте в финале спектакля Ленин произносил речь и, показывая на смуглого красавца, представлял Кобу как надежду на все. Ленин уверял, что мы победим, сверху спускалось красное знамя и реяло над ним. Знамя закреплялось за крюк на колосниках. Рабочий сцены, чудный мальчик, даун, весь спектакль торчал на верхотуре и в финале цеплял за этот крюк знамя. И как раз в тот день, когда пришел ЦК решать, можно ли выдвигать спектакль на Сталинскую премию, мальчик то ли заснул, то ли отвлекся, и на штанкете на Ленина опустился огромный ржавый крюк. Премию не дали. Дауна выгнали.

Сергей Львович Штейн поставил прелестный спектакль «До свидания, мальчики!» – инсценировка повести Бориса Балтера. В спектакле был исторический персонаж Джон Данкер, великий гитарист начала прошлого века, игравший на гавайской гитаре. По Балтеру, он был кумиром всех барышень. Я в белом костюме, с черными усиками и с гитарой – до приторности красивый и про-

тивный – выходил на сцену, и вся девичья массовка, захлебываясь, шептала: «Джон Данкер, Джон Данкер». А я проходил, зазывно и маслено на них поглядывая.

Как-то мы играли этот спектакль в Ленинграде, во Дворце Горького. Я сижу за кулисами весь в белом, с перстнями и гитарой. И вдруг прибегают и говорят: «К вам Джон Данкер». Оказывается, он еще жив и живет в Ленинграде. Приходит в гримерную маленького роста с оттопыренными ушами совершенно лысый старый еврей и плачет: «Боже мой! Боже мой! Как вы замечательно меня сыграли». Очевидно, я сыграл не его, а его несостоявшуюся мечту о собственном облике.

Когда я начинал работать в Театре имени Ленинского комсомола, туда пришел новый замдиректора, бывший подполковник. И как раз через день мы поехали в Казань на гастроли. А он выехал раньше, как это бывало всегда, чтобы «заделать гастроли». Обычно прибывает поезд – на перроне пионеры, цветы, духовой оркестр. Потом артистов расселяют по квартирам или в гостиницы.

Приезжаем – никого! Какая-то несчастная местная администраторша с одним цветком. «Что это?» – спрашиваем. Он говорит: «Так, цветоув нет, номероув нет, зрителей нет». Это он «заделал гастроли». Осталось на века.

Директором театра был Анатолий Колеватов. Приказы на доску он писал как кандидатские диссертации. И все – с заголовками. Один я помню до сих пор. В оркестре играл трубач Пинсон. Воплощение хитрости еврейского народа. Справа и слева находились осветительские ложи, а под ними – маленькая узенькая оркестровая яма, в которой сидел Пинсон. Он из театра вынимал все возможное. У него появилась первая в театре частная машина «Волга» ГАЗ-21, на которой он за деньги возил из дома на спектакли Гиацинтову и Бирман. У него была хорошая труба – страдивариобразная. В театре он на ней не играл, а играл на какой-то дудке из пионерского лагеря. И постоянно говорил: «Я сижу под старой осветительной аппаратурой, а моя труба стоит больших денег». В итоге он договорился с

осветителем, и во время спектакля упал раструб и ударился о трубу. И вышел приказ директора Колеватова под названием: «О падении раструба на трубу товарища Пинсона».

Второй пункт Колеватова – он прекрасно говорил, но не мог закончить фразу. Помню первые гастроли театра со спектаклями Эфроса в Перми. Открытие. Колеватов с Эфросом и Гиацинтовой на сцене. Колеватов произносит приветственную речь: «Мы счастливы. Начинается новая эра Театра имени Ленинского комсомола, и знаменательно, что первые гастроли нового театра проходят в Перми – в городе, славившемся тем, что во время войны приютил множество замечательных актеров, и мы открываем сегодня гастроли последней премьерой нашего нового театра, несмотря на то что были другие предложения, но мы решили, что Пермь – театральный город, знакомый со многими постановками, а Эфрос – это человек, готовый начать сегодня наш новый сезон и новую эру именно в Перми...» Ему все уже подсказывают: «первым спектаклем». Он: «...первым спектаклем». Все облегченно вздыхают. «Первым, потому что...»

В Театре имени Ленинского комсомола помимо молодости и зафиксированных и сфотографированных творческих свершений я пережил получение первой правительственной награды – медали «За освоение целинных земель». Мало кто сегодня помнит об этом знаке отличия, но в конце 50-х медаль зарабатывалась трудно, а в моем случае могла быть приравнена к медали «За отвагу». Дело в том, что профсоюзную организацию театра в те годы возглавлял Борис Федорович Ульянов – человек безграничного патриотизма и наивной, но всепоглощающей тщеславности. Он организовывал все шефские концерты театра. Мы играли эти концерты везде – от близлежащих поликлиник до отдаленных воинских частей. Сам БФ, как его звали в кулуарах театра, вел эти концерты и читал стихи Маяковского в неизменной бабочке на неизменной серой рубашке, которая, вероятно, была когда-то белой, но от постоянного использования не успевала окунаться в мыльную воду. Вел он концерты с ожесточенным вдохновением, переходящим часто в патетический экстаз. Мы, молодые артисты,

– Дорогие друзья! – услышали мы неожиданную прозу в стихотворной канве хрестоматийного произведения Маяковского. – Как вы понимаете, в поезде началась таможенная проверка документов... все сдают паспорта. Ну, и я...

сдаю
мою
пурпурную книжицу, –

проскользнула фраза истинного текста...

Пауза. Видимо, в затухающем сознании мастера художественного слова блеснула надежда... Но не случилось, и БФ стал рассказывать содержание дальше...

– Что говорить, отношение к различным документам у проверяющих различное: «с почтеньем берут, например, паспорта с двухспальным английским лёвою», – опять неожиданно проклюнулся у чтеца подлинник. – Но... когда, друзья, я предъявил ему наш с вами паспорт, вы не представляете, что с чиновником случилось...

Берет –
как бомбу,
берет –
как ежа,
как бритву
обоюдоострую,
берет,
как гремучую
в двадцать жал
змею... –

легко понесло исполнителя и тут же заклинило, ибо дальше – «двухметроворостую» – этого словообразования лучшего и талантливейшего поэта нашей эпохи БФ осилить не смог и, вновь плавно перейдя на прозу, закончил свою поэтическую информацию:

– В общем, друзья мои, я всегда с гордостью достаю из широких штанин свой бесценный груз – смотрите, завидуйте, я гражданин Советского Союза...

Итак, в феврале месяце актерская бригада театра вызвалась (в лице, естественно, БФ) поехать в Кустанайскую область обслужи-

вать целинников. Такой заявки не ожидали даже обезумевшие от призывов «Все на целину!» работники ЦК ВЛКСМ и мягко намекнули нашему предводителю, что порыв сам по себе прекрасен, но возможны неожиданности, поскольку в феврале там вьюга, снег, минус 30–40°, и не пашут, а сидят в землянках и бараках и пытаются согреться чем бог послал. БФ был неумолим, и мы полетели в Кустанай.

Не буду подробно описывать гастрольный маршрут, скажу только, что два раза при перелетах мы были на краю гибели, а один раз, разминувшись со встречающими нас тракторами, стали замерзать посреди степи. «Газик», в котором коченел я, был населен тихо поскуливавшей актрисой Ириной Костровой, тенором Владимиром Трощинским, завернутым с ног до головы в огромный шарф и все время проверяющим голос, как будто он надеялся, что на том свете ему придется петь «Ландыши», пик его гастрольного репертуара. И был еще водитель Леша – рыжий гигант, комсомолец в драном меховом полушубке на голой рыжей волосатой груди. Матерился он мало, старался казаться спокойным, но, когда бензин кончился (а двигатель работал, чтобы не замерзла вода в радиаторе, и что-то типа теплого воздуха дуло в «салон»), он выполз на снег, спустил воду из радиатора, влез обратно и сказал: «Все! ...дец!» Кострова зарыдала, Трощинский перестал петь «Ландыши», а я тихо спросил Лешу, можно ли как-нибудь устроить мне комплект резины для «Победы», так как комбайны тех лет ходили на победовских колесах, а комбайнов этих в замерзшей степи стояло столько, сколько, очевидно, было подбитых танков после битвы на Курской дуге. Леша внимательно посмотрел на меня, проверяя, не поехал ли я умом перед смертью, и сказал: «Александр! Клянусь тебе! Если случайно выживем, будешь иметь колеса».

Мы случайно выжили – на нас буквально натолкнулись два поисковых трактора, доволокли нас до Кустаная, где мы были встречены как папанинцы. В зале филармонии состоялся прощальный концерт. БФ рассказал кустанайцам «Стихи о советском паспорте», нам вручили медали, а через полтора месяца я получил на Казанском вокзале маленький контейнер с пятью покрышками от самоходных комбайнов и ласковым письмом от Лешы с благодарностью за оптимизм и жизнелюбие.



Брехт. «Что тот солдат, что этот»

Мы с шефскими концертами ездили по стройкам, воинским частям, колхозам. В актерской бригаде был артист Аркадий Вовси. И вот картина: мы отработали концерт, на сцену поднимается какой-нибудь замполит или председатель колхоза и начинает нас благодарить за прекрасное выступление. Вовси с его легкой руки превращается то в После, то в Прежде.

А со мной он вообще не может справиться, так как не в силах осознать, что в фамилии могут быть три согласных подряд, и облегченно произносит – «Ширвинут». Еще встречались Ширвин, Шервал, Ширман и Шифрин. Имелось даже штук пять неприличных вариантов моей фамилии, но о них не буду из скромности.

Мишка Державин всегда злорадно торжествовал. Но спустя много лет мы с ним были в военном госпитале под Ашхабадом, выступали перед ребятами-афганцами. И там на большой палатке типа клуба (она же – столовая) висела бумажка: «У нас сегодня в гостях известные артисты Дарвин и Ровенглот».

Ну я Ровенглот – это понятно, но чтобы Мишка – Дарвин! Перебор!

Я много думал об облегченном варианте моей фамилии. В 56-м, когда оканчивал училище, мне товарищи популярно объяснили, что с моей фамилией в искусстве делать нечего. И на сцене Театра эстрады в обозрении, поставленном Александром Конниковым, я дебютировал как эстражник под псевдонимом Александр Ветров. Потом опомнился и вернулся на круги своя. С тех пор так и живу – с тремя согласными на конце.

Тяга к эстраде! Разговор со зрителем напрямую, без четвертой, театральной стены, глаз в глаз, стал для меня профессиональным недугом, физической необходимостью. Эдакое конферансное шоуменство увлекало меня, я мечтал о хороших аудиториях и о дерзких репликах из зала, на которые я лихо, остроумно и броско отвечал бы с ходу.

В смешанных (или сборных) концертах разножанровость исполнителей цементировалась бывалым конферансье. В его арсенале имелось два оружия: подводка и связка – прошу не путать.

Подводка – это когда перед именем исполнителя произносится дифирамб, одобренный почетными званиями, а связка – это когда конферансье якобы импровизационно говорит: «Вот я сейчас наблюдал великолепное выступление нашего любимого такого-то, и мне пришла в голову мысль...» Мысль в голове заключалась в том, что не пора ли выпустить на сцену уникального... – дальше шла подводка.

Когда мы с моим другом и частым соавтором Аркадием Аркановым готовили эстрадный спектакль для Владимира Винокура, я заглянул в словарь и вычитал: «Конферансье – человек, разговаривающий со зрительным залом». Как просто и замечательно. Великие конферансье моей юности провоцировали зал на взаимное хулиганство, были находчивы и искрометны: Николай Смирнов-Сокольский, Александр Менделевич, Михаил Гаркави, Петр Муравский не упускали ни одной возможности зацепиться за зал и взять публику в партнеры. Удивительный Алексеев, один из создателей Театра сатиры, умерший в возрасте девяноста вось-

ми лет, имел свой стиль, свою манеру конферанса. Маленький, изящный, всегда во фраке, пенсне и канотье, он вылетал на сцену и отрывисто говорил: «Здравствуйте, товаррищи!» Однажды, в конце 30-х годов, он вел концерт в клубе НКВД на Лубянке и, вылетев во фраке со своей сакраментальной фразой: «Здравствуйте, товаррищи!», услышал из первого ряда от плотного господина с ромбами НКВД на воротничке: «Гусь свинье не товарищ!» Алексеев моментально ответил: «Тогда я улетаю!» – и улетел со сцены на фалдах своего фрака. Улетел на много лет в Магадан, откуда вернулся таким же поджарым, легким оптимистом, каким был при отлете.

Уходящая профессия! Ведь Аркадий Райкин, Геннадий Хазанов, Евгений Петросян и другие артисты начинали как конферансье. Потом все завели театры, бросив эту профессию на произвол судьбы. Оставшиеся же конферансье при каждом шорохе в зрительном зале норовили вызвать наряд милиции, а не вступать со зрителем в импровизационную перебранку. Правда, однажды я видел и слышал, как профессия победила зрителя.

Театр сатиры гастролировал в Новосибирске. Играли мы в оперном театре, наверное самом большом театре в мире. Во время войны внутри него стояли танки. Отыграв первый акт какого-то произведения и не будучи занятым во втором, я направился в гостиницу, находящуюся напротив театра. Чтобы не огибать с улицы всю эту громадину, я избрал другой, прямой путь. Можно было перейти в маленький концертный зал, что находился внутри театра, и уже по его балкону пройти прямо в вестибюль. Когда я оказался на балконе концертного зала, то увидел там странное зрелище. Шел концерт. На сцене у микрофона стоял московский конферансье Олег Милявский, последний из могикан конферанса, и, почти взяв в рот микрофон, что-то в своей доверительной манере курлыкал публике. А публика (полный зал) вела себя крайне неожиданно. Зрители разговаривали, перекликались через ряды, входили и выходили, смеялись чему-то своему, а не репризам Милявского. Я замер. Оказалось, что какое-то мощное новосибирское СМУ (строительно-монтажное управление) празднует двадцатипятилетний юбилей. Все было

рассчитано по вековым стандартам: торжественная часть с вручением хрустальных ваз, цветов и грамот, концерт московских артистов, банкет.

Самолет со столичными звездами опоздал на два часа, и график праздника немного сместился: торжественная часть, банкет, концерт.

Публика вся тепленькая, настроение хорошее. Милявский что-то шепчет – он им не мешает. У них своя жизнь, у него – своя. Я остался на балконе посмотреть, чем это закончится. Мужественный Милявский из последних сил пытается взять зал: «Боже мой, какие лица, сколько прекрасных женских глаз...» Ноль внимания! Наконец взрыв произошел. Рядом со мной на балконе расположилась группа юбиляров, которые, скорее всего, и на торжественной части не были, они начали сразу. Им надоело курлыканье со сцены, один из них свесился с балкона, чуть не рухнув вниз, и крикнул зазывно, обращаясь к Милявскому: «Э! Расскажи лучше про аборт». Настала щемящая тишина и в зале, и на сцене. Милявский делает вид, что он этого не слышал, и продолжает братание со славным СМУ. Выждав паузу и поняв, что пронесло, балконный юморист кричит: «Москвич, а пустяков не знаешь». Тут уже зал дружно взревел, оценив по достоинству юмор своего сослуживца. Милявский опять пропускает это мимо ушей и берется за свои приветствия. Наш шутник делает третью попытку упасть с балкона и кричит: «Если не знаешь, я расскажу!» Тут уже чуть ли не аплодисменты в зале: все стараются увидеть автора и исполнителя репризы, многие встают. Я смотрю на Милявского и думаю: всё, пропал.

Милявский делает паузу и говорит: «Дорогие друзья! Мне с балкона все время задают один и тот же вопрос. Я взрослый человек и, конечно, знаю, что это такое. Думаю, вы все тоже знаете, что это такое. Мне очень жаль, что этого не знала его мама».

Моментально пьяная компания с балкона схватила юмориста и вышвырнула его за дверь. Милявский, естественно, уже не мог удержаться и при выбрасывании «коллеги» сказал: «Друзья! Это, кстати, называется выкидыш!»

И всё. Зал утих и покорно отдался Милявскому. А если бы он вызывал милицию, выкинули бы его.

Мои эстрадные грехи многообразны. Как автор и режиссер я работал с Тарапунькой и Штепселем, Мировым и Новицким, Леонидом Утесовым. Позже были Лев Шимелов, Лейла Ашрафова, Владимир Винокур, Илья Олейников. На мне лежит ответственность за создание дуэта «Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична» (Вадим Тонков и Борис Владимиров). Моя бабушка Эмилия Наумовна сидела всю жизнь на кухне коммунальной квартиры нос в нос с моей вечной нянькой Наташей, которую связывали с нашей семьей больше сорока лет. У них были полусные образование, воспитание, взгляды на жизнь, полусные национальности. Но деться они не могли друг от друга никуда. При этом они друг друга любили. На кухню приходили соседи, обсуждалось, что варят, что случилось во дворе, кто умер... Вероника Маврикиевна была абсолютная Эмилия Наумовна, а Авдотья Никитична – Наташа.

С годами эстрада, получив мощную технику, вышла из уютных концертных залов на широкие просторы Родины, на площади, в парки, Дворцы спорта и стадионы. Я сам не раз участвовал в подобных сценических преступлениях и как автор, и как режиссер, и как артист. Апофеозом эстрадного самомнения стали, конечно, стадионные зрелища, где вместо полупустых трибун на матчах второй лиги были полные трибуны на шикарных шоу типа «Кино плюс все остальное». Собирались обрывки киноплёнок с фрагментами из любимых картин. При заходящем солнце на экран в виде паруса, сшитого из дюжины несвежих простыней, проецировали фрагмент. И в кульминационный момент с экрана якобы сходил на помост обожаемый артист. Эффект всегда был грандиозный. Правда, сходила с экрана звезда под овации, а уходила с помоста, пролепетав что-то бессвязное о своем счастье видеть зрителя, под стук собственных каблуков. Тут-то и возникал я как большой специалист эстрадного киномолога.

Так появились «шедевры» кинофельетонов моего авторства для Веры Марецкой, Михаила Пуговкина, Всеволода Санаева и других, которыми они пользовались многие годы. Бывали в этих фантастических шоу и трагические срывы. В эстрадных, театральных и спортивных кругах хорошо знали милого, интеллигентного конференсье Евгения Кравинского, мужа моей любимой партнерши по театру Эфроса, блистательной актрисы Антонины Дмитриевой,

и отца моего любимого ученика по Театральному училищу имени Щукина Кости Кравинского. Женя был энциклопедически осведомлен в спорте, особенно в футболе. Он помнил все составы команд всех времен и народов, с фамилиями, именами, голами и травмами. Вторым таким энциклопедистом был Георгий Менглет. Можно было ночью разбудить его, спросить, как закончился в 1938 году матч «Пищевик» – «Торпедо», и он безошибочно называл счет и засыпал. И не надо было проверять. В спектакле Театра сатиры «У времени в плену» Георгий Павлович играл эпизодическую роль и долго находился на сцене, практически не произнося ни слова. Когда шел футбол, специально для него ставили в кулисы маленький телевизор, и он умудрялся смотреть матч прямо во время спектакля.

Так вот, Женя Кравинский, человек редкой общительности и открытой доброжелательности, был, как и мы в молодости, завсегдатаем ресторана Дома актера. Входя в зал, он только часа через полтора добирался до своего столика – так много остановок совершал, чтобы облобызаться со случайными артистами.

И вот вспоминается трагический случай. В зале ресторана я вдруг увидел в углу за столиком одиноко сидящего Женю с потухшим взором. Зрелище было настолько необычным, что я невольно подсел к нему: что случилось?

«Только что прилетел из Грозного, со стадиона», – беззвучно прошипел он. «Что с голосом?» – «Сорвал: микрофон отказал. Вообще, жуть! Сейчас же Ленинские дни. Представляешь? Объявлено массовое зрелище: «Ленин и теперь живее всех живых!» Рушилось все подряд. Переверзев заболел, у Пуговкина съемки, Никулин с цирком за границей, а Вицин с Моргуновым без него не хотят. Харитонов без фонограммы не соглашается петь свою «Если б гармошка умела», а фонограмму не привезли. При этом они все в афише. А тут еще объявлен Крамаров, и, как назло, суббота, а в субботу правоверные евреи, если тебе известно, не работают. Никто и в мыслях не держал, что любимец российской шпаны, косой уркан Савка Крамаров по совместительству правоверный еврей... Полный стадион. Я выхожу, звучит «Ленин всегда живой», а «Ленин» еще не прилетел из Донецка со вчерашнего стадиона. Срочно гримируют местного артиста, который больше похож на Горького,

чем на Ильича, сажают в пролетку и везут два круга по беговой дорожке. Но забыли про Крупскую, и в последний момент хватают меня, заворачивают в плед, и я два круга под потной ленинской подмышкой мотаюсь по стадиону за те же полторы ставки!»

Постепенно грандиозные шедевры площадного искусства угасли, и на смену им на эти же стадионы вышли смелые и архипопулярные солисты и даже несколько «речевиков». И появился критерий актерского успеха: «Он собирает стадионы», «Он собирает Дворцы спорта», «Он не собирает»...

Вечная боль эстрадного артиста – отсутствие репертуара. Дефицит эстрадных авторов существовал всегда и достиг апогея в наши дни, когда они просто исчезли – исчезли не физически, а как профессионалы. Было светлое время, когда на эстрадном фронте существовала строгая дифференциация. Замечательные наши друзья Арканов, Горин, Хайт, Курляндский, Жванецкий, позднее Задорнов и другие писали, писали под стоны, просьбы, истерики, а артисты, вымучив материал, бросались его подминать под себя и исполнять...

Потом все кончилось! Авторы стали читать сами. Я иногда думаю: откуда возникла такая уродливая ситуация? Конечно, авторы тоже люди и хотят есть, а жить и есть можно, только если тебя узнают в лицо на улицах и в магазинах, а в лицо тебя могут узнавать, только если ты мелькаешь на телеэкране, и чем чаще, тем сытнее ты живешь. Но, конечно, не один лишь страстный меркантилизм бросает сатириков на теле- и эстрадные подмостки. Неизлечимая зараза публичного успеха хватает мертвой хваткой наших подчас не очень внешне приспособленных к пребыванию на сцене авторов.

Но причина упадка эстрадной литературы кроется, как мне кажется, в другом. В могучей советской литературе существовали могучие писатели, имевшие Союз, Литфонд, наконец, носившие гордое звание «инженеры человеческих душ». Люди, пишущие специально для эстрады, даже пишущие ярко и великолепно, никогда в писатели не допускались – они всегда назывались «авторы». Если попадался поэт, пишущий для эстрады, к нему тут же прилепывали: песенник. Эстрадные авторы тем самым образовывали некий второй и третий эшелоны литераторов, не попадав-

ших в Союз, с трудом и пренебрежением допуская в Дома творчества, не имевших возможности стать «инженерами душ» (в лучшем случае они могли дослужиться до сантехника этих душ). Сколько было криков, споров о незаслуженном принижении этого клана, о пересмотре принципов приема авторов в Союз писателей. Все это кончилось тем, что при Всесоюзном управлении по охране авторских прав была создана секция эстрадных авторов с сомнительным уставом и все тем же второсортным статусом. Они не печатались в толстых журналах и не издавались в серьезных издательствах, они были неименитыми – они были авторы. А отсюда уже рукой подать до расхожего нынче сочетания «автор и исполнитель». Вот они и бросились исполнять – круг замкнулся.

Одним из самых мощных атрибутов культурной жизни застоя были правительственные концерты. Попасть на сцену Большого театра или в дальнейшем Дворца съездов считалось огромной честью. Но страшной голгофой как для участников концерта, так и для организаторов был выбор репертуара, его редактирование и цензурирование. Самые большие сложности подстерегали так называемых разговорников, ведь если даже «Аппассионату» и «Умирающего лебедя» прослушивали и просматривали по несколько раз, чтобы не проникла туда неожиданная крамола, то уж актерское словоизвержение на сцене после пленума ЦК таило в себе огромную и роковую опасность. Текст гулял из МК в ЦК, в Управление культуры, оттуда в Министерство культуры, опять к авторам, опять в ЦК и так до бесконечности, поскольку ни один из отвечающих за концерт чиновников, начиная с вечных «правительственных» режиссеров Туманова, Ансимова и Шароева и кончая завотделом культуры ЦК Шауро, не в силах был сказать окончательное «да», а нести миниатюру на просмотр к Брежневу не полагалось.

Но юмористический отсек был в концерте обязательным. Добрый, позитивный, никого не задевающий. Волнения с текстом продолжались до последней секунды, на каждой репетиции что-то убиралось и какое-то слово заменялось. А репетиций этих была масса, и волнений, естественно, столько же. Поэтому речевики с черной завистью смотрели на лежащий на полу в предкулисье Ансамбль

песни и пляски Советской армии, который был уже проверен раз и навсегда, с очередной песней о Родине. Они привычно лежали группами по четыре и ждали сигнала: «Ансамбль Армии, на сцену!», чтобы гаркнуть: «Партия – это!..»

Я долгое время не понимал, зачем у каждого певца ансамбля, находящегося за кулисами, были полурасстегнуты штаны и из них на белой тесемочке болтался небольшой матерчатый мешочек, подобно тем, в которых дети оставляли свою сменную обувь на вешалке в школах. И однажды понял. Дело в том, что, лежа и сидя на полу в течение изнурительного репетиционного дня с тремя-четырьмя прогонами концерта, славные воины-певцы резались в домино (неудобно, говоря о правительственном концерте, употребить словосочетание «забивали козла»). К моменту команды по радио: «Александровцы, на сцену» – партия (домино), как правило, была на середине розыгрыша, и, чтобы не начинать игру с начала, певцы смахивали свои костяшки в мешочек, засовывали в штаны и, гремя домино, бежали на сцену, врубали «Партия», а затем ложились снова и, расстегнув ширинки, продолжали увлекательную игру до следующего призыва к творчеству.

Когда не было на каждом шагу и углу ресторанов и дискотек, заведений для различных меньшинств, существовали маленькие гейзеры клубной жизни – «дома интеллигенции». В силу дефицита развлечений там все и было сосредоточено.

Теперь в дома интеллигенции ходят редко, потому что вокруг – уйма фестивалей, премьер, проектов – только успевай бегать.

А просто в дома друг к другу вообще не ходят, а пролетая мимо, кричат: «Перезвонимся».

Время перевернуло все.

Я с ужасом смотрю на развитие тусовочной жизни. Раньше тусовки существовали по интересам. Сейчас, когда у всех интерес один, возникла вечная общая тусовка.

Сегодня Дом актера моей юности видится во флере доброжелательности и восхищает необыкновенной концентрацией талантливых людей.

Дом актера – нехитрое название, но в те далекие времена как нельзя лучше определяло сущность жизненной ситуации: не Дворец искусств, не Клуб театральных работников, а дом.

Позже мне казалось, что не было дня, когда я не заскакивал бы «домой», на угол улицы Горького и Пушкинской площади. Мне нравилось там все: возможность гордо пройти мимо бдительных пенсионерок на входе и, не предъявляя обязательного «членства», дружески поприветствовать строгих стражей театральной диаспоры; мне льстило, что пальтишко мое вешалось без номерка, а в дальнейшем я вообще допускался в святая святых любого заведения – внутрь гардероба, где раздевался безнадзорно-самостоятельно и мог при желании уйти в любом манто. Мне импонировала дружба со швейцаром ресторана Димой. На глазах у стайки артистов я пропускаться им без очереди и попадал в объятия Симы – метрдотеля ресторана, которая на весь зал кричала: «Валя, твой пришел!» – и мощная, аппетитная Валя, радушно улыбаясь, вела меня к столику.

Я возник на сцене Дома актера. Конечно, я что-то играл в Театре имени Ленинского комсомола, но узнали меня там, на 5-м этаже, как начальника всей шутейности. И то, что я родился в этой «капусте», – мой пожизненный крест.

В кабинете директора Дома актера Александра Моисеевича Эскина за круглым столом сидели мы, молодые нахалы, и, бесконечно и неравноценно остро, что-то придумывали. Рядом, за своим столом, сидел хозяин и смотрел на нас влюбленными, доверчивыми глазами. Он почти никогда не слушал, что мы говорим, он верил и надеялся. Он верил, что будет весело, и надеялся, что нам хорошо, он отгонял от себя мысли о последующем скандале из-за нашей юношеской смелости. В креслах по углам сидели то Утесов, то Плятт, то Раевский, то Канделаки. Появлялся сам Михаил Иванович Жаров, общественный директор Дома актера. Настороженно взглянув на хихикающих возмутителей спокойствия, садился ненадолго на место Эскина, а Эскин перемещался ненадолго на стул с другой стороны стола. За время бесконечного общения они внешне стали похожи друг на друга до такой степени, что на одной из посиделок я подменил их в телепередаче, и этот

трюк удался. Заглядывала иногда в дверь суровая, но справедливая Ирина Николаевна Сахарова, жена Эскина, чтобы проверить, не слишком ли часто я тыкаю ее мужу. Вплывал Иосиф Михайлович Туманов после очередной репетиции правительственного концерта и делился последними впечатлениями от своего посещения ЦК партии. Забрёдал, тяжело дыша, Яншин и жаловался на Театр Станиславского, где он побывал худруком. А когда входила Серафима Германовна Бирман, нас сметало молниеносно, и мы переселялись в малый зал, чтобы до глубокой ночи старательно выдумывать смешное.

Все было! Были и меценаты, подбадривающие и подкармливающие голодную молодую братию в ночи, – это два ухажера наших любимых буфетчиц с 5-го этажа Дома актера, могильщики с Ваганьковского кладбища. Самые острые программы были созданы при подкормке этих ритуальных структур, а после того, как один из меценатов ушел на повышение, а другой бросил буфетчицу, острота программ несколько спала.

Время было замечательное, потому что мы не знали, что бывает другое – лучшее. Мы умилялись ощущению уже морозной «оттепели», не соображая, что она в весну не перешла и уже не перейдет никогда.

Я вспоминаю традиционные посиделки в Доме актера, где актеры по-детски упивались келейным, цеховым актерским раскрепощенным общением.

Что касается капустников, сегодня, конечно, наивно кичиться нашей тогдашней смелостью и левизной, но хочется. Когда в 60-х годах с появлением первых подземных переходов в Москве мы говорили, что советские архитекторы строят большой подземный переход от социализма к коммунизму, в зале не смеялись, а оглядывались на двери.

У Михаила Ивановича Жарова, который принимал наши новогодние программы, волосы дыбом вставали от ужаса. И Александр Моисеевич Эскин отводил его в сторонку, умоляя не волноваться. Их каждый раз куда-то вызывали, но им удавалось отговориться. Это уже потом я вычислил, что происходило на самом деле.

Когда приезжал какой-нибудь Сартр и заявлял: «У вас тут застеноч, никакой свободы слова», – ему отвечали: «Да что вы! Зайдемте куда хотите – да вот хоть в Дом актера!» Приводили. А там, со сцены, при публике, банда молодежи и суперизвестные артисты несут черт знает что. Это была отдушина для узкого круга, которую позволяла госбезопасность. А мы уже ею пользовались на полную катушку. Поэтому у нашего начальства возникали порой неприятности.

На голове у меня довольно много волос, почти не тронутых серебром (красиво! образно!). Этому феномену я обязан Леониду Осиповичу Утесову – обладателю (если кто помнит) в свои семьдесят лет вполне густой шевелюры с относительной сединой. «Шура! Никогда не мой голову!» Эту заповедь нашего веселого ребе я осуществляю и проповедую друзьям. Голову мою только по большим революционным праздникам, а с уменьшением их количества стал мыть ее по праздникам религиозным, причем суть вероисповедания для мытья головы значения не имеет. Голова при таком режиме не должна быть грязной, она не должна испытывать на себе (по заветам Утесова) постоянного надругательства мылом, а так – делай с ней что хочешь и сколько хочешь. Остальное тело можно мыть часто и даже с мылом. Этого покойный Лёдя мне напрямую не говорил, но и не отговаривал ходить регулярно в баню.

Лёдя Утесов! Дядя Лёдя! Тщеславный, остро жаждущий – каждую секунду – аудитории вокруг себя, мощный и наивный одесский «лимитчик» в Москве, все время ощущающий нехватку солевого аромата в холодно-заторможенной столице.

Я готовил антиюбилей Утесова в Доме актера. Я сомневался, не понимая термина... Я знал, что когда-то был анти-Дюринг, есть антисемитизм, будут антимирры, но антиюбилей! Я лексически понимал, что «анти» – это против, то есть Боря Поюровский придумал чествование наоборот. Но, поразмыслив, я подумал, что если юбилей – это всегда елей юбиляру, то антиюбилей – это хамство не только в адрес юбиляра, но и в адрес окружающих.

Сегодня, когда прошло столько лет со смерти Леонида Осиповича, любая строчка, адресованная мне, читается уже как раритет.

Дорогой Александр Анатольевич! Шура!

Примите искреннюю благодарность за то большое удовольствие, которое Вы доставили своим участием всем собравшимся и мне лично на моем антиюбилее.

Ей-Богу, которого, как Вы знаете, нет, я Вас очень люблю! А это есть!

С уважением и пожеланиями новых успехов

*Ваш Л. Утесов
(от руки) Твой Лёдя!*

У меня была мощная команда: Миша Козаков, Майя Менглет, Никита Подгорный, Сева Ларионов, Нина Палладина, Анатолий Адоскин, Андрюша Миронов, Слава Богачев, Миша Державин, Леня Сатановский. Лев Лосев, даже когда ушел из Театра имени Ленинского комсомола и работал инструктором отдела культуры Фрунзенского райкома партии, тайком прибегал к нам играть капустники, в одном из которых мы с ним пародировали Рудакова и Нечаева, исполняя матерные частушки. Зал замирал.

В других творческих домах тоже были серьезные силы, но все мы смотрели в сторону Питера, где под руководством Саша Белинского процветала капустная сборная: Рэм Лебедев, Валя Ковель – примадонна, Сережа Юрский, Кира Лавров, Сергей Боярский-папа (Мишка Боярский тогда был классе в четвертом, но уже, по-моему, в усах и шляпе).

Александр Аркадьевич Белинский – удивительная фигура на театральном небосклоне. Казалось бы, не может быть фигуры на небосклоне. На нем могут быть только звезды разной величины и космическая одноразовая творческая пыль. Но нет, Саша Белинский был фигурой на небосклоне. Он помнил все, он знал всех, он был любопытен и любознателен, незлопамятен и остроумен, талантлив и мудр при абсолютном детском наиве – он писал и говорил с экраном от лица старого сплетника, но никогда не врал, не вспоминал о своих встречах с Мольером, хотя они могли бы быть, если бы были.

Так вот, когда мы привезли в очередной раз «капусту» в ленинградский Дворец искусств и Белинский брезгливо-доброжелатель-



Папа Кости Райкина

но нас приветствовал, он сказал: «Конечно, Шура, все это мило, у меня, конечно, помощнее, но вывести с матерными частушками инструктора райкома партии – я не потянул бы».

Приезжая с гастрольями, мы дико волновались – как пройдем. А надо сказать, что питерцы появлялись у нас и мы наведывались к ним довольно часто – Александр Моисеевич Эскин исправно челночил нас туда-сюда.

Обычно был бешеный успех. В первых рядах – Товстоногов, Акимов, Вивьен, Меркурьев, Райкин... А потом – банкетик. И однажды

на банкете Аркадий Исаакович говорит: «Ребята, замечательно, потрясающе, очень весело. Но вообще этим заниматься не надо». – «Как не надо?» – удивились мы. «То, что вы делаете, я тоже мог бы, но не могу. Вы этот пар выпускаете здесь, внутри нашей келейности. А его надо тратить на профессию». И он был прав. Но мы продолжали этим заниматься. Все мои телевизионные опыты родились в недрах Дома актера.

Велик талант истинного администратора! Когда мне, артисту, брезгливо выдавали несколько билетов на общественный просмотр моего же спектакля и в жидкой стопочке были четыре места в 5-м ряду партера, два – в 13-м и 6 мест в амфитеатре, у меня выступал холодный пот от предчувствия обид за неравноценное расселение друзей в зрительном зале. У Александра Моисеевича Эскина «премьеры» в Доме актера были почти ежедневно, и почти ежедневно он рассаживал театральную элиту в трехсотместном зале так, что ни одной кривой физиономии в креслах не было.

Гениальное чутье на сегодняшнее значение данного субъекта театральной федерации определяло точный порядок рассадки светил в зрительном зале, и, если ты неожиданно перемещался из 6-го ряда в 8-й, надо было срочно задумываться о своей творческой жизни.

Когда стал меркнуть домашний очаг Дома актера на Тверской? Мне кажется, я знаю точную дату. Это день смерти мамы Александра Моисеевича. Многое кончилось в его жизни, и из большого, нежного ребенка он стал превращаться в старого человека. Дом процветал, мероприятия чередовались, шумела дряхлеющая молодежь, но все кончилось. Потом умер и сам Эскин. Сгорел Дом актера...

Свято место пусто не бывает? Бывает! Сколько святых мест заполняется ничтожной «пустотой» без всякой стыдливости. Сколько грязных задниц плюхается в святые кресла предшественников. Уникально избежал этой традиции Дом актера. Пылкая и непредсказуемая Маргарита, наследница Эскина в прямом и служебном смысле, неслась в вихре политических эмоций, стараясь не уда-

рить в грязь лицом перед напором псевдокапиталистических финансово-спонсорных структур, и с титаническим темпераментом пыталась совместить, как тогда казалось, несовместимое: сделать уютным новый Дом актера на Арбате – семиэтажный министерский домище, собрать на чашечку чая «друзей дома», которые предварительно стыдливо спрашивали: «А почему чай?», устроить непринужденные актерские посиделки в «овальном зале», где все незаметно зыркали на маленькую дверь, боясь, что вот-вот оттуда, из своего кабинета, появится министр культуры Демичев. Она создавала, не без моей помощи, актерский клуб «Театральный Арбат», где в анфиладе пяти кабинетов замминистров располагались гостиные, казино, бар, музыкальный салон, бильярд. Мы все судорожно и утомительно старались «организовать отдых», а раньше на Тверской мы просто отдыхали.

Казалось, в Доме на Арбате невозможно создать ту же атмосферу, что была на Тверской. Но Маргоша это сделала. Александр Моисевич Эскин – уникал. Он сам или его незримый дух всегда присутствовал на 5-м этаже старого Дома актера. И с Маргаритой – то же. Она ведь работала и на телевидении, и еще в ста местах. Но генетика привела ее сюда. И когда она села в «святое место» – в кресло директора Дома актера, она как будто окунулась в свою теплую ванну. При престолонаследнице Маргоше в Доме по сути, по духу, по отношению все было абсолютно тем же. Она старалась не стареть, старалась успеть, старалась собрать всех под свое крыло – наша любимая наседка и пионервожатая.

Часто слышишь от артистов: как хочется отдохнуть от своих! А потом они идут в какой-нибудь клуб – и так тошно становится. Артисты – это своеобразные животные, и у них должен быть свой вольер – Дом актера. Там и старые львы, и юные зайцы, и вальяжные лисы. Отсюда – ни с чем не сравнимая атмосфера: и шутки, и глупость, и драки впустую, и слезы, и амбиции, и нарочито громкий смех – все соединяется в симфонию-какофонию, и получается дом артиста.

Время диктовало закуски и шутки, все остальное было прежним. И не нужно этого старческого: «А вот в наше время...»



Любимая Маргоша

Мой вклад в досуг театральной общественности велик, но, к сожалению, мало оценен и эфемерен. А очень хочется оставить где-нибудь глубокий след. Не наследить, а оставить. Сегодня в веках можно зафиксировать себя только через рекламу.

Из рекламы ресторана Дома актера: «Большинство рецептов сохранились еще от ресторана ВТО. Это, например, изысканные «судак орли», «бризоль», котлеты «адмирал», которые в свое время на улице Горького заказывали Плятт, Утесов, Яншин...

«Сельдь по-бородински» – ароматное филе селедочки в густом орехово-томатном соусе – блюдо с особой историей, его рецепт придумал знаменитый Яков Розенталь, бывший директор ресторана, которого друзья прозвали Борода. Также в меню вы найдете хорошо знакомые современные фамилии... «Омлет по-ширвиндтовски» готовится по рецепту, подаренному самим Александром Ширвиндтом».

Рискуя поиметь неприятности от моего друга-ресторатора Владимира Бароева, конспективно изложу рецепт омлета. Он – крайне демократичен. Изобретен мною в период домашнего одиночества, когда все домочадцы – на даче. Открывается холодильник и смотрится в него. Выгребаются всё лежалое, скукоженное, засохшее и чуть-чуть поникшее (категорически выбрасывается гнилое и плесневелое). Всё – обрезки колбасы, хвосты огурцов, редиска, каменный сыр и так далее – режется очень мелко (если резать невозможно, пробуйте натереть). Потом этот – как бы поинтеллигентнее назвать – натюрморт высыпается на сковородку и жарится. Выглядит неприятно. Затем разбиваются штук пять яиц, добавляется молоко и немножко минеральной воды для взбухания (но ни в коем случае не соды – от нее омлет синеет). Всё это взбивается и выливается на сковородку. Сверху кладется крышка. Получается пышный омлет, а что там внутри, не видно, но на вкус очень неожиданно. Проверял на близких – удивляются, но едят. В ресторане – одно из самых дешевых блюд.

Дом актера был для нас домом, когда домовыми там были удивительные Эскины. Чтобы не быть голословным и излишне скромным, публикую одно из писем Маргоши (их у меня десятки):

Дорогой мой, драгоценный, лучший на свете (из театральных деятелей) Шурик!

Я понимаю, что и без моих писем дел у тебя невпроворот, но твоя Наташа (ангельское создание), как я знаю, бережет эти письма. А пишу я тебе опять про любовь и про то, что я всегда страдаю, заставляя тебя приходиться в Дом актера и что-то делать. Я ведь понимаю твои нагрузки.

Я пишу и плачу (честное слово!). Плачу от счастья, что твоя семья есть в моей жизни.

Я хочу, чтобы все знали, что ты лучший из лучших не потому даже, что ты самый красивый и остроумный, а по своему нутру, по мудрости и доброте.

Вечно твоя Маргоша

от 20



до 10



Я занимался капустниками уже в Щукинском училище и лелеял мечту показаться на глаза и понравиться самому Ролану Быкову. Показался и понравился.

После окончания училища я на год попал в Театр-студию киноактера – меня не взяли в Театр имени Вахтангова. Потом главный режиссер театра Рубен Николаевич Симонов говорил: «Напрасно не взяли». Я сказал: «Поздно». Театр киноактера давал бронь от армии. Там в спектаклях было занято 487 артистов. Или даже больше. Я играл с Руфиной Нифонтовой какой-то спектакль, в котором она была героиня, а я милиционер. В программке напротив роли «Милиционер» значилось 18 артистов. Я был не последний.

В артисты я поступал трудно. Помню, пришел к Иосифу Моисеевичу Раевскому, замечательному мхатовскому режиссеру. Старая уютная квартира, обставленная настоящей мебелью, и сам он уютный, неизменно пахнущий хорошим коньячком. А я принялся терзать его «Медным всадником», причем на словах: «По мшистым, топким берегам / Чернели избы здесь и там», – протер руку к потолку для пушшего эффекта. Тут он меня остановил: «Одну минуточку. Скажи мне, мой дружок, ну где *там* избы?»

Театральная педагогика – штука скользкая и коварная. Шею себе свернуть на ней проще простого. Часто сетуют, мол, препода-

давательский уровень снизился, в учителя идут несостоявшиеся актеры. Тезис, на мой взгляд, вредный. Есть потрясающие артисты, близко не понимающие, что надо делать со студентами, чему и как их учить. И в то же время никогда не работавшие на сцене и в кино люди порой оказываются гениальными преподавателями. Это разные профессии. Бывают, конечно, счастливые совпадения, как, например, в моем случае. Меня же учила великий педагог Вера Константиновна Львова, которая была, мягко говоря, минимальной актрисой.

Кроме мастерства актера нам преподавали марксизм-ленинизм, западную и советскую литературу. Все эти предметы по причине педагогической дефицитности вел преподаватель Шохин, интеллигентнейший человек, который перед входом в училище всегда вздыхал и нырял внутрь, как в прорубь. Он не мог видеть этих все время врущих идиотов. Постоянно повторял: «Делайте что хотите, но читайте обязательную литературу». Тогда существовало такое понятие. И среди этих обязательств был роман Николая Шпанова



Дипломный водевиль

«Поджигатели». Тяжелый, как кирпич, страниц восемьсот. Шохин понимал, что осилить его мы не в состоянии, поэтому говорил: «Я вас прошу прочесть сто страниц».

На нашем курсе учился Мишка Шайфутдинов, бывший военный летчик. С нами поступили несколько бывших фронтовиков, которых взяли без экзаменов. Чтобы к ним и дальше относились снисходительнее, они ходили на занятия в гимнастерках. Мишка ничего не знал, был маленького роста и с плохой дикцией. Он путался в «ч» и «щ». Говорил «Птицки чебещут». Во время экзамена по советской литературе Шохин с трагической интонацией спросил его: «Шайфутдинов, вы «Поджигателей» читали?» – «Щитал». – «Чем заканчивается сотая страница?» – «Ска». – «Что «ска»?» Мишка притаранил кирпич «Поджигателей», открыл сотую страницу, в конце которой стояло: «ска-». А на 101-й было продолжение: «-зал».

Я тоже не выговаривал «ц», «ч», «ш», «щ». И страшно мучился. До сих пор помню:

Щегленок шупленький за рощей
 Нещадно щелкал и пищал.
 И щавелем, и щукой тощей
 Я тещу тщетно угощал.
 Что за несчастье? Как клещами,
 Вдруг тещу ущипнул щенок.
 Та, запищав, в меня со щами
 Кипящий бросила горшок.
 Я обесчестен, ощавелен,
 От жажды мщенья трепещу.
 Змея свистящая расщелин,
 Тебя я, теща, укрощу.

То, что надо играть на сцене сегодня, выучить не могу, а этот стишок столетней давности помню.

Владимир Абрамович Этуш был всегда эталоном того, как исправлять дикцию. Когда он пришел учиться после армии, то не выговаривал ничего. Но так как он был фронтовик, взяли без звука (в том числе без шипящего). Этуш тренировался с камушками во рту. Теперь якобы говорит правильно.

Тому же Шохину уже западную драматургию сдавал Гришка Абрикосов, красавец, сын Андрея Абрикосова, знаменитого артиста Театра имени Вахтангова. Гришка был курса на два старше меня, а с нами на курсе училась Юлия Гендельштейн, дочь документалиста Альберта Гендельштейна и падчерица Эдит Утесовой, дочери Леонида Утесова. В нее были влюблены все студенты. А концертмейстером педагога по танцу Виктора Цаплина была милейшая испуганная дама ростом метр десять по фамилии Розенцвейг. С огромной головой и шевелюрой Анджелы Дэвис. За роялем виднелась только шевелюра. Про концертмейстершу говорили: «Возникла старая хреновина с лицом, похожим на Бетховена».

На экзамене по западной драматургии Шохин спросил Гришку Абрикосова: «Григорий, вы читали «Гамлета»?» – «О чем вы говорите? Вы меня обижаете». – «Скажите, кто были два друга Гамлета?» И Гришка со знанием дела моментально ответил: «Розенцвейг и Гендельштейн».

Сцена Театра имени Вахтангова – альма-матер. В 1953 году (сколько это лет назад? не вычитается) на этой сцене мы, студенты, играли бояр в спектакле «Великий государь». Жара, конец сезона, мы в пропотевших боярских тулупах, надетых почти на голое тело. В какой-то момент мы падали на сцене ниц, мордой в пыль, шепча: «Государь, государь!» – и выходил мой педагог Иосиф Моисеевич Толчанов, который играл государя. «Бояре», – произносил он скрипучим голосом. Мы считали: «Раз, два, три и...» – «Я пришел...» Мы снова: «Раз, два, три и...» – «Чтобы мы...» – «Раз, два, три и...» Ни разу с этого ритма он не сбился.

Я вспоминаю оформление спектакля: залитый голубой задник, огромные окна царских хором, и по всему заднику стоят невысокие белые церквушки с золотыми маковками куполов. Отыграв какую-то сцену, мой однокурсник Вадим Грачев скинул с себя боярский тулуп и в семейных трусах и майке тихонько, на цыпочках, стараясь не нарушить действия, стал пробираться из одной кулисы в другую, но не за задником, а перед ним. И чтобы, не дай бог, не уронить декорации, он придерживал купола рукой.

Выгнали из комсомола.

Будучи студентами, мы всегда и везде подрабатывали. К примеру, разгружали товарняки на станции Москва-Рижская. На Рижской – потому что Трифоновка (студенческое общежитие театральных вузов под нарядной кличкой «Трипперный городок») находилась на подъездных путях Рижского вокзала.

Но иногда выпадали и театральные приработки.

Первая новогодняя елка в «Лужниках» в середине 50-х. На эту елку согнали всех, кто мог как-то взбудоражить детей. А детей было очень много. В Кремль тогда не пускали (елки проходили только в Колонном зале), и предприняли первую попытку масового праздника. По сценарию темные силы, как и положено, боролись со светлыми. И все закулисье «Лужников» (огромные комнаты со скамейками для хоккеистов) было заполнено силами разного рода. Как на насесте, в одной из комнат сидели, например, Снежинки – несчастные дети в возрасте от 5 до 10 лет, все в белых пачечках и каких-то перьях. А соседняя комната досталась мушкетерам. Я, как и все студенты театральных вузов, был мушкетером – со шпагой.

И так по всем комнатам распределили эти темные и светлые силы, в каждую человек по двести. Кроме одной. Из нее шел запах керосина. Там жил Змей Горыныч – несчастный старый еврей, цирковой артист. Этот Горыныч, весь в каких-то отрепьях Кощея Бессмертного, с нарисованными на несвежем лице бороздами-морщинами, в страшном парике, лежал в комнате на раскладушке, а рядом стояли канистры с керосином и сидела Баба-яга. Это была его жена. По жизни жена. Тоже страшная, тоже в каких-то нарисованных ошметках.

Кроме керосина в комнате находилось еще огромное количество бутылок с подсолнечным маслом. Змей целый день ничего не ел. Во время борьбы между светлыми и темными силами, когда вдруг светлые начинали побеждать и мушкетеры бросались на чертей, Змей Горыныч выпивал стакан подсолнечного масла, потом полстакана керосина и вылетал на сцену. Дети кричали: «Ой, летит, летит!» За ним бежала Баба-яга (она же – жена) и поджигала длинную спичку. И он выблевывал этот керосин, и получался длинный язык пламени.

Три раза в день, перед каждым представлением, на пустой желудок он для грунтовки выпивал масло – на круг, очевидно, бутылку – и в общей сложности граммов двести керосина.

Это зрелище темной силы в лице несчастного еврея я отчетливо помню до сих пор.

Наш класс можно вносить в Книгу рекордов Гиннеса. С тех пор как мы окончили школу (а окончили мы ее в 1952 году), ежегодно собираемся на встречи. Это патология. Даже из Америки Сережка Хрущев приезжал. Один наш школьный друг выпускает с пятого класса фотографическую стенгазету, которая называется «Колючка». Там под каждой физиономией – четверостишие. Первые снимки он делал «лейкой», потом перешел на «Зенит», а теперь уже обзавелся цифровым фотоаппаратом. «Колючка» вывешивается в том кабаке, где мы проводим традиционный сбор. Он приходит заранее и разворачивает этот рулон. Такой портрет Дориана Грея наоборот. Страшная картина: начинается с двенадцатилетних рож, а кончается восьмидесятилетними. Мемориал советского среднего образования.

Когда на телевидении выходила передача «Однокашники», согнали наш класс. Зрелище, конечно, не очень аппетитное. Самое смешное, что после передачи мне каждый второй позвонил и сказал: «Ширва (моя школьная кличка), тут мои смотрели передачу и говорят, все очень изменились, и только ты да я почти такие же, как раньше». Потом следующий звонит: «Слушай, тут мне жена выдала: «Ты и Ширва лучше всех выглядите!»

Я учился девять лет в московской 110-й школе под предводительством директора Ивана Кузьмича Новикова. Говорю «девять лет» не потому, что мне не удалось доучиться до финиша, а потому, что первый класс я окончил в Чердыни, в эвакуации. Школа № 110 тогда была на редкость элитная и престижная. Детей привозили на ЗИСах, и оказался я там только потому, что жил в соседнем от школы дворе и физически попадал в самый что ни на есть микрорайон школы, хотя в те времена такого понятия не существовало.



Горстка одноклассников

Учился я жутко, и, если бы не мамины школьные концерты, меня вышибли бы. Мама, будучи редактором Московской филармонии, дружила с великими творцами середины прошлого века. И чем катастрофичнее складывалась моя школьная судьба, тем мощнее выглядел состав очередного концерта для родителей и подшефных. Флиер и Козловский, Журавлев и Обухова, Рина Зеленая и Плятт томились в кулисах маленькой школьной сцены, пытаюсь в складчину окончить вместе с оболтусом своей подруги школу № 110.

Главная беда была – химия. На выпускном экзамене я с ужасом узнал, что химии – две: органическая и неорганическая. Мне одной-то было через голову. Перед экзаменом наши умельцы взорвали в кабинете дымовые шашки, в дымовой завесе украли билеты и пометили мне один точечками с обратной стороны.

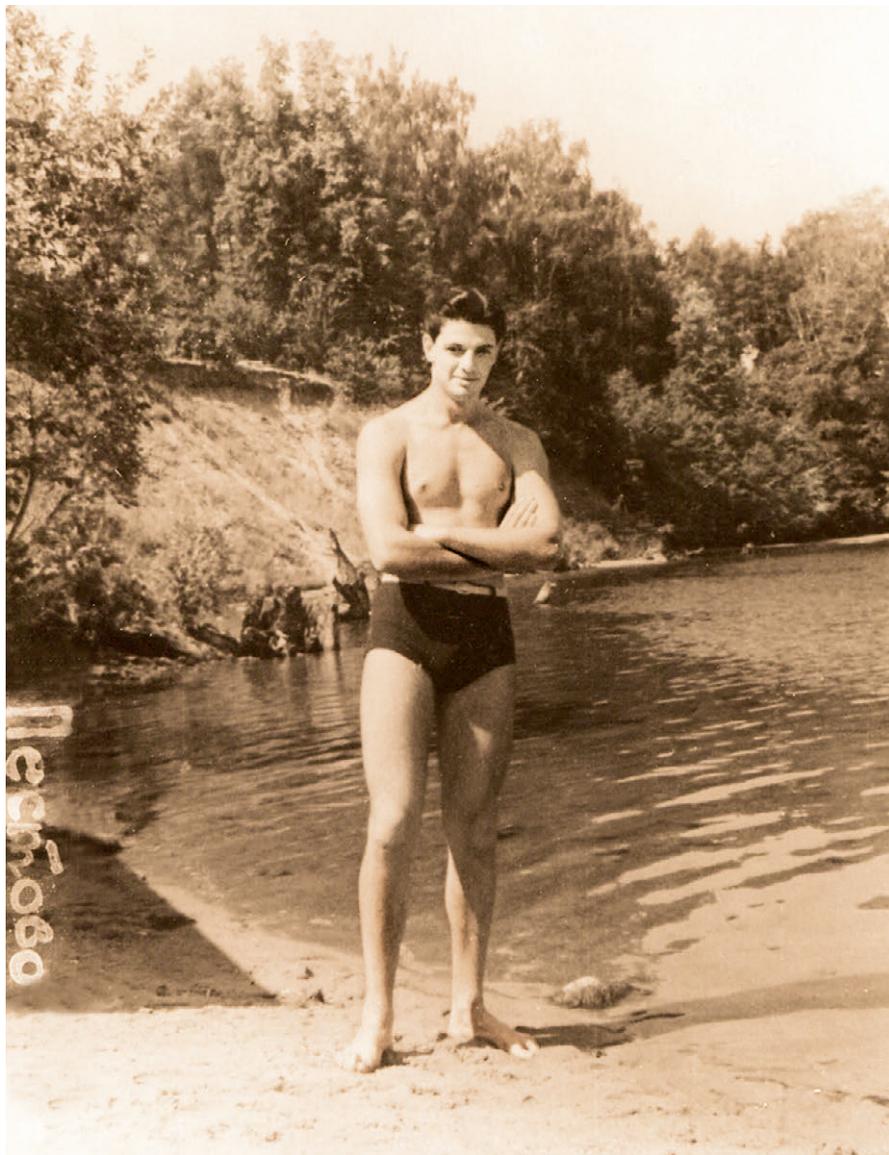
Всю ночь, как попугай, я повторял какие-то формулы. На следующий день вытащил помеченный билет. Слово автомат, лепил ответ, но попался на дополнительном вопросе: «Как отличить этиловый спирт от метилового?» Я вспомнил, что от одного слепнут,

а из другого делают водку. И начал: «Возьмем двух кроликов. Капнем им в глаза разного спирта. Один – слепой, а другой – пьяный».

Мне поставили тройку условно, взяв с меня обязательство никогда в дальнейшей жизни не соприкоснуться с химией. Что я честно выполняю. Кроме разве прикосновения к спирту, хотя до сих пор не знаю, что я пью – этиловый или метиловый. В связи с тем, что вижу все хуже и хуже, думаю, что пью не тот.

В школе на нас, учениках, испытывали педагогические новшества: вводили логику, этику, латынь. Очередное новаторство было по части нашего атлетического совершенствования. К нам привели нового физрука – полковника. А с физкультурой обстояло в школе отвратительно, все были маменькиными сынками, совершенно неспортивными. И этот полковник, амбал, сразу же взялся за нас: «Завтра же чтобы были в форме – в трусах и майке!» Никто не придал его словам значения, и назавтра все опять явились кто в чем. Он кого-то схватил за шкуру, кому-то дал подзатыльника, кого-то чуть не убил, и мы поняли, что дело серьезное. На следующее занятие все пришли в трусах и майках. Я тоже. Но чтобы поддерживать реноме самого остроумного в школе, мне надо было все время что-то придумывать. Я выкрал у моей бабушки, Эмилии Наумовны, длинные панталоны с кружевами внизу и кружевную ночную полурубашечку, расшитую бисером. В школе, как опытный эстражник, взял паузу, выждал, пока все напялят на себя в закутке семейные трусы и майки и, хлюпая носами, встанут в линейку в зале. Слышу, физрук, проведя переключку, спрашивает: «А где Ширвинх?» – так он произносил мою фамилию. «Еще не в форме», – ответил я из закутка. «Выходи как есть», – крикнул он. И я вышел – в бабкином нижнем белье. Скандал был страшный. Я пытался оправдываться – предупреждал же, что еще не в форме. Выгнали из школы на две недели.

В школе был довольно сильный драмкружок. Премьерами считались Леня Глейх и Вадим Маратов, ставшие потом очень хорошими артистами. Меня они иногда брали что-то им подыгрывать. Помню свой дебют на драматических подмостках. Играли сцену из «Бориса Годунова». Стоял школьный стол, покрытый до пола зеленым сукном.



Трудно поверить

Леня Глейх – Пимен с седой бородой, наклеенной на испуганное еврейское личико, а Вадик – Самозванец. Я же всю сцену сидел под столом и немного шатал его, чтобы пламя свечи на столе колыхалось. Это было таким потрясением для зрителей: душный маленький школьный зал – и вдруг пламя колыхается, как на ветру. А это я.



1950 год. Демисезонное пальто

Скатертный переулок, где я жил, находится не очень далеко от Арбата, но все-таки у нас был свой отдельный мегаполис. Огромный архипелаг проходных дворов. Дворовая мафия казалась доброй и наивной. Нашу банду возглавлял атаман по фамилии Кроликов. Он погиб во время игры.

Тогда в домах еще существовали старые лифты с резными сетчатыми дверями. Обычно лифт едет, когда дверь закрыта. А тут можно было дверь не закрывать, просунуть руку, нажать на дверной замочек, и лифт ехал. И эти дворовые бандиты устраивали такие игры: на верхнем этаже цеплялись за дно лифта, спускались вместе с кабиной вниз и, подъезжая к нижнему этажу, прыгивали. А Кроликов не успел спрыгнуть, и его придавило лифтом.

Во дворе происходили какие-то разборки, но до настоящей поножовщины не доходило. Меня опекали – бандиты защищали

своего интеллигентика. В соседних же дворах меня не обижали, потому что знали – наши могут отомстить.

Мы тогда все росли во дворе. Ребята кричали друг другу в окна: «Выходи!» Прочел недавно анекдот. В большом дворе стоят два парня и кричат наверх: «Марь Иванна, Марь Иванна!» Из окна высовывается женщина. «А Петя выйдет?» – «Ребята, Петя не выйдет, у него – пожизненное».

Мы с другом выходили (все-таки выходили) в 8 утра из дома с бутербродами и учебниками и шли к Никитским Воротам, в «Кинотеатр повторного фильма». Первый сеанс был в 8.20. Там за 10 копеек мы садились в тепло. Смотрели «Танкер «Дербент». Фильм заканчивался около 10, мы выходили на Никитский бульвар, завтракали и шли на Арбатскую площадь, в кинотеатр «Художественный». Там сеанс был в 11.00. «Танкер «Дербент». В 13.00 выходили и в половине второго были уже дома – «из школы».

Мы учились в отдельных школах: мальчики отдельно, девочки отдельно. К тому же учились в консервативные времена, нельзя было просто так подойти и познакомиться с девочкой – тебя бы не поняли, стали прорабатывать на пионерском сборе или комсомольском собрании. На праздниках, когда школьники собирались вместе, девочки стояли вдоль одной стенки зала, мальчики – вдоль другой. Девочки танцевали с девочками, а мальчики – с мальчиками, даже вальс. Если кто-то типа меня, нахала, решался пригласить девочку, потом столько было насмешек и издевательств.

Помню, как выгнали из школы учительницу Елену Николаевну (она преподавала у нас с 4-го по 7-й класс), потому что в нее влюбился наш пионервожатый. Он учился в 9-м классе. Какой ужас: у мальчика роман с учительницей! Это же происходило в конце 40-х. А учительница была совсем молоденькая – лет на пять старше девятиклассника. В общем, ее выгнали. А он на ней женился. И они прожили более 60 лет, до самой кончины Елены Николаевны.

Я тоже был пионервожатым. В школе учились сыновья Буденного, и я был пионервожатым у Сережи Буденного, чем до сих пор горжусь.

от 10



до 0



Мой нежный и уникальный папа – пруссак, а мама – одесситка. Роясь по старческой сентиментальности в пыльных семейных бумажках, я наткнулся на справку. Оказывается, мой папа не Анатолий Густавович, а Теодор Густавович. Просто в те годы иметь в России немецкие корни было даже опаснее, чем еврейские. Золотые времена! И папу сделали Анатолием. А я мог бы быть Александром Теодоровичем. Красиво!

У меня очень мало родственников. Сейчас, кроме моей ветви, практически никого нет, все ушли. Был любимый и единственный двоюродный брат, Борис Евсеевич Ширвиндт, замечательный педагог, академик. Возглавлял один из показательных интернатов для детей. У него масса учеников, теперь уже мощных людей. Он прошел всю войну артиллеристом. Пришел с нее, слава богу, целый, немножко раненный. Он был очень похож на меня. У меня есть любимая карточка, на которой он – майор, в шикарной фуражке, с озорными глазами. Когда в 1946 году он появился с орденами на груди, для меня, одиннадцатилетнего, это было воплощением красоты и победы. А мой дядя, его отец, был очень крупным юристом. Его посадили в 1938-м, и только в 1955-м мы встречали его из лагерей. Вот такой был победный марш: родители сидели, а дети воевали.

Мой папа играл на скрипке. Он обладал удивительным звуком. Некоторое отставание в технике, как мне сейчас представляется, а также уникальное отсутствие каких-либо пробивных свойств



Папа

характера не позволили ему добраться до музыкального Олимпа, куда, впрочем, он особенно и не стремился.

Брат-близнец отца Филипп играл еще и на виолончели. Когда-то Эмиль Кио-старший придумывал свои безумные аттракционы с использованием близнецов, в основном лилипутов. Очевидно, лилипуты надоели, и папа с дядей стали для него находкой. На арену выходил папа и играл на скрипке, затем его запирали в сундук и поднимали под купол, а из-за кулис моментально появлялся Филипп со скрипочкой в руках.

На этом цирковая деятельность папы закончилась, и дальше он играл в оркестре МХАТа, концертировал как солист и преподавал в музыкальной школе.

Папина обескураживающая мягкость и интеллигентность нередко ставила в тупик как его самого, так и людей, с которыми приходилось общаться. Помню трагикомический случай, произошедший, когда мы жили под Звенигородом у родительских друзей – физика-ядерщика Алиханова и скрипачки Славы Рошаль – в академическом поселке Мозжинка. Однажды папе срочно надо было выехать в Москву, и он, проголосовав, сел в черную машину рядом с водителем. Все 60 километров бедный папа высчитывал, кто его везет – сам академик или его шофер. Эти муки кончились у Киевского вокзала, когда папа, набравшись храбрости, спросил: «Извините, ради бога, в какой форме я мог бы выразить вам свою благодарность?» На что не то академик, не то водила ответил: «С тех пор как избрели деньги, ваш вопрос звучит риторически».

Моя мама окончила 2-ю студию МХАТа. Сохранился документ:

Справка

Р.С. Француз-Ширвиндт обучалась с 1921 по 1924 годы во II Студии Московского художественного академического театра под художественным руководством Народного артиста К.С. Станиславского при режиссуре Заслуженной артистки РСФСР Р.Н. Молчановой. По окончании Студии была переведена в актерский состав Малой сцены МХАТа.

Мама из-за туберкулеза была вынуждена оставить актерскую профессию (это сейчас очень модны чахоточные героини, а тогда было строже) и заняться редакторской деятельностью сначала в Московской филармонии, а затем, когда в филармонии количество талантливых сотрудников определенной национальности на одно советское учреждение превысило норму, ушла в Московскую эстраду, что находилась тогда напротив ЦУМа, в здании Театрального училища имени Щепкина при Малом театре. Матери давно нет, но до сих пор я случайно или нарочно сталкиваюсь с актера-



Мама

ми, которые с благодарностью вспоминают ее и говорят, что обязаны ей выходом на большую эстраду.

У мамы тоже был брат, мой дядя Аркадий. Он уехал в Англию еще в 20-х годах. Будучи врачом, организовал там гинекологическую клинику. И вдруг в начале 60-х от него пришла весточка, которая вместо радости вызвала в семье страшную панику. Ведь все бандероли, приходящие из-за границы, непременно визировались известными организациями. Кроме того, получить заграничную бандероль можно было в единственном почтовом отделении, рас-

положенном в гостинице «Украина». Заплатить за посылку пришлось непомерную сумму (мы заняли денег у всех знакомых, друзей и коллег). В посылке оказалось письмо от дяди и маленький шарфик. Фактически мы купили этот шарфик за бешеные деньги да еще и натерпелись страху. Потом мама даже ухитрилась потихоньку переписываться с братом.

К концу жизни мама стала слепнуть. Последние пятнадцать лет она мужественно переносила свою слепоту. Когда же начинала унывать, я говорил ей: «Мать, не горюй – совершенно не на что смотреть!»

Она бесконечно разговаривала по телефону с подругами, а иногда переходила на шепот. Однажды я поинтересовался, о чем они шепчутся. Оказалось, рассказывают политические анекдоты, думая, что шепот при прослушке не слышен. Я ей объяснил, что как раз шепот и слышен лучше всего. Мама забеспокоилась, но страсть к анекдотам осталась.

К ней приходили подруги-чтицы, читали толстые журналы и литературные новинки. Одной из подруг была Анастасия Цветаева. Жаль, мама не видела, как Цветаева, которая летом и зимой носила на голове штук пять платочков, бережно снимает их один за другим. Она непременно оценила бы этот моноспектакль.

Несмотря на слепоту, мама очень хорошо вязала, и многие известные люди до сих пор показывают мне «кольчужки» из толстых белых ниток. Сначала она на ощупь мерила человека, затем вязала и дарила. Люди брали вроде как из сострадания, но потом носили с удовольствием.

Естественно, как принято в любой интеллигентной семье, меня учили играть на скрипке. Происходило это так. Появлялся папа со скрипкой, предварительно заперев дверь в коридор, и умолял встать за гаммы. Я, уже тогда очень сообразительный, смиренно склонял голову, якобы соглашаясь начать мучить население дома жуткими звуками гамм Гржимали, и просился перед этим святым актом в туалет. Наивный папа открывал дверь, я бросался в туалет и запирался там навсегда. Нестабильность этого плацдарма заключалась в том, что квартира была коммунальной и кроме нас в ней проживало еще пять семей. Семьи эти, несмотря на разное со-

циальное, национальное и материальное положение, жили очень дружно. Вообще, если коммунизм берет истоки в коммунальных квартирах, что-то в нем есть. Но это вопрос для отдельного изучения. Жильцы кормили чужих детей, помогали друг другу, и многие из населявших квартиру были на моей стороне в кровавой борьбе с музыкальным образованием.

Но даже союзникам иногда надо было посещать место моей отсидки, и я волей-неволей вновь попадал в руки папы, стоящего у святой двери с четвертушкой в руках (четвертушка – это не емкость влаги, а скрипочка, по величине составляющая $\frac{1}{4}$ большой скрипки). В таких взаимных муках мы с папой поступили в детскую музыкальную школу, где из любви к папе меня продержали до пятого класса, после чего, извинившись перед ним, во время очередного экзамена по сольфеджио (химия и сольфеджио до сих пор возникают как ужасы в моих старческих снах) попросили больше не приходить.



Виртуоз Москвы

На домашнем совете мать говорила, что это – последняя капля и что теперь прямой путь в ремесленное училище (в конце 40-х ремесленным училищем пугали детей в интеллигентных семьях). На все нападки по скрипичному вопросу у меня был один-единственный ответный аргумент: «Игорь Ойстрах тоже не хочет заниматься!» Тут родителям крыть было нечем, ибо действительно Игорь в тот период страшно поддержал меня своим идентичным отношением к скрипке.

Прошло несколько лет, и папа со слезами на глазах говорил, что встретил Давида Федоровича Ойстраха и тот сказал, что Игорь давно одумался, прекрасно и много занимается и на днях будет играть в Малом зале консерватории в сопровождении студенческого оркестра на отчетном концерте. «И ты бы мог, если бы!..» – восклицал папа, но поезд уже ушел.

Бедный папа! Я вспоминал эту его трагическую фразу в Большом зале консерватории весной 1992 года.

Дело в том, что наш уникальный Владимир Спиваков, руководитель «Виртуозов Москвы», играет на папиной (моего) скрипке. История почти детективная.

В войну папа разъезжал по фронтам с актерской бригадой. Фронтвые бригады – отдельная, героическая, а чаще трагическая страница Великой Отечественной войны. К сожалению, мало и постно зафиксированная историками. В Театре сатиры был спектакль «Прощай, конферансье!», поставленный Андреем Мироновым по пьесе Григория Горина, где делалась попытка на документальной основе прочесть хотя бы одну страницу из эпопеи «Актер на фронте». В короткие передышки между боевыми действиями на импровизированных сценах в виде сдвинутых кузовов полуторок актерские бригады пытались немного развлечь измученных бойцов. Папа не только играл в этом концерте соло, но также из-за отсутствия фортепиано аккомпанировал оперной певице Деборе Пантофель-Нечецкой.

И вот во время одного из переездов в машину с артистами попал большой осколок и раздробил папину скрипку. Когда артисты приехали на место концерта, то доложили начальству о возникшей ситуации и невозможности выступления. Армейское начальство



(а это оказалась – ни больше ни меньше – ставка Георгия Жукова) сказало подчиненным: «Достать скрипку». Шел 44-й год, трофеев было уже достаточно. Через некоторое время по приказу Жукова привезли три скрипки, папа выбрал одну и прошел с ней войну, концертировал после войны, преподавал и играл в оркестре Большого театра. Инструмент был мастера Гобетти, с удивительным звуком, что, впрочем, не надо доказывать, слушая Спивакова.

Прошли годы, и папа показал скрипку профессору Янкелевичу, своему приятелю, который определил, что в нижней деке завелся червячок и скрипка погибает, надо срочно что-то делать, если уже не поздно. Скрипка оказалась у Янкелевича. Не знаю, боюсь клеветать на большого мастера, но, так или иначе, червячка (если он был), очевидно, вывели, и скрипка попала впоследствии в руки ученика Янкелевича – Владимира Спивакова. Папа был бы счастлив, если бы узнал об этом.



Наследственный порок

И вот в Большом зале консерватории состоялся тысячный концерт «Виртуозов Москвы».

За три месяца до этого события мне позвонил Володя Спиваков и сказал, что настало время публично отнять у него скрипку, и как раз подвернулся удачный случай – юбилейный концерт. Мы вышли с незаменимым Державиным на сцену Большого зала, я отнял у Спивакова скрипку, рассказал эту душещипательную историю и в подтверждение своих слов сыграл десять нотных строк из Концерта Вивальди (кульминация моего скрипичного образования) в сопровождении «Виртуозов Москвы», правда, при дирижировании Державина, что несколько снижало серьезность момента.

Бедный мой папа! Мог ли он себе представить, говоря о триумфе маленького Игоря Ойстраха в отчетном концерте музыкальной школы, что не пройдет и пятидесяти лет и непутевый сын будет играть на его скрипке в Большом зале консерватории в

сопровождении «Виртуозов Москвы» перед уникальной по составу аудиторией, в присутствии первого президента России Ельцина и Жванецкого.

Как-то в прессе началась спонтанная кампания против актерских детей. Актерские дети, мол, захватили все места в театральных институтах и не дают пробиться к рампе талантливым самородкам из глубинки. Я тогда уже разгневанно пыхтел по этому поводу в какой-то газете, но на волне этой кампании к театральным училищам страшно было подойти с актерской фамилией.

Вот бред! Почему шахтеры, хлеборобы, сталевары – это династии, а у нас сынки. Как будто не логично, что детеныш, который с первых шагов в доме натывается на известных актеров и с рождения слышит разговоры вокруг очередной театральной несправедливости, должен к семнадцати годам поступать в текстильный институт.

Я помню себя сидящим на коленях у Яхонтова. Он, как правило, проверял все свои работы «на маме», сажая меня к себе на колени и мотивируя это тем, что Шурик не даст ему возможности броситься в мизансцены – он хочет очень скупно показать маме готовящийся материал. Я помню незабвенного Диму Журавлева (называю Дмитрия Николаевича так, как называл его всю жизнь), рыцаря художественного слова, мастера с каким-то «врожденным пороком» – безупречным вкусом. Журавлев за неделю, за день, за час перед концертом – это раскаленная лава мук, переживаний, сомнений, вечное ощущение надвигающейся катастрофы. Когда он стоял за кулисами перед выходом, буквально вздрагивая от каждого шороха, то напоминал мне какого-то сверхпородистого скакуна чистейших кровей перед заездом, где решается все, и главное – не сбиться и выдать весь запас неутомимой энергии и подготовки перед стартом.

Качалов, Флиер, Плятт, Рина Зеленая, Утесов и многие другие – вот круг людей, бывавших в родительском доме и заполнявших мир моего детства. К сожалению, молодость тем и опасна, что мы только *post factum* соображаем, кто нас окружал и кем они были.

Сидение на коленях у Яхонтова – не единственное воспоминание детства.

Кто-то врет, что помнит себя с пеленок. Я смутно помню себя шагающим по Гоголевскому бульвару в детской группе с немецким уклоном – где-то в 3–4 года, а потом, уже осмысленнее, – в 5-летнем возрасте на даче в Ильинском.

Кстати, к сведению нынешнего поколения, незадолго до войны на всех платформах Казанской железной дороги продавалось самое вкусное в моей долгой жизни мороженое. Оно было только белое. Называлось оно облизка. На перроне стоял большой бидон с мороженым, а в руках мороженщицы был агрегат – круглая, как



Смотрю в корень

шайба, плоская с ручкой-поршнем. Мальчика или девочку спрашивали: «Как тебя зовут?» Мальчик или девочка отвечали: «Шура». Мороженщица брала круглую вафельку, на которой было выпечено «Шура», располагала ее на дне плошки, затем намазывала ее мороженым и сверху клала вторую вафлю. Поршнем выдавливалось это сооружение, и получалось колесо с двумя «Шурами». Все это лизалось и съедалось. Если у девочки или мальчика в тот период созревания имелась сердечная привязанность, можно было одну вафлю заказать с Шурой, а другую, например, с Олей, отчего облизка становилась еще желаннее.



Ворошиловский стрелок

Четко помню начало войны. Это сейчас в Ильинском хоромы, а раньше стояли скромные интеллигентские дачи. Рядом – город Жуковский со своим авиационным центром. После того как случился первый налет фашистской авиации на Жуковский, всех несчастных интеллигентов с соседних дач погнали рыть бомбоубежище. Врачи и скрипачи лопаточками рыли окопчики, и выглядело это всё беспомощно. Бомбоубежища не получилось, получилась какая-то жалкая щель, в которую нас, пацанов, загоняли во время бомбежек.

Еще помню, как завешивали темными тряпками окна – для светомаскировки. Один из наших соседей не завесил, так потом говорили, что он шпион и тем самым приманивал врага.

Хорошо помню нашу эвакуацию в город Чердынь.

Сотрудники Чердынского краеведческого музея имени Пушкина нашли газету «Северная коммуна» за 14 августа 1941 года: «...в связи с угрозой захвата Москвы в Чердынский район эвакуирована бригада Московской государственной филармонии в составе лауреата Всесоюзного конкурса мастеров художественного слова Д.Н. Журавлева... солистки Ленинградского государственного театра имени Кирова К.Н. Ардашевской (балет), заслуженного артиста РСФСР, орденоносца, балетмейстера Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова В.И. Вийнонена... солиста филармонии А.Г. Ширвиндта (скрипка) и директора Р.С. Ширвиндт».

Эта бригада оставляла детей в Чердыни, а сама ездила обслуживать военные части.

Отвечал я как-то на вопросы корреспондента чердынской газеты.

– Что, – спрашивает, – вы помните с той поры?

– Помню, – говорю, – из глубинки приезжал огромный мужик в тулупе, обаятельный: «Артисты есть? Поедем в такой-то район». Так вот – просто. Тогда не было нынешних жуков-администраторов. Меня пару раз брали. Ехали на розвальнях, под тулупом, мороз, снег блестит, похрустывает. Приезжаем. В клубе взрослые дают концерт, а мы в натопленной избе уминаем настоящую вареную картошку, горячие пироги, сало... Еще помню северную природу.

Зазубренные ели. Крутой спуск к Вишере. По обледеневшей дороге вверх карабкается лошадь – понурая, грустная, прелестная. Тащит огромную бочку, и вода из нее выплескивается. Водовоз был моим старшим другом. Я страшно этим гордился. Он видел, как я серьезно, уважительно относился к его делу, и доверял мне вожжи, черпание воды. Так вот я полюбил лошадей. Гораздо позднее, на Московском ипподроме, я понял, откуда истоки этой пагубной страсти... В Чердыни я пошел в первый класс. Учительница была чудесная. Как звали? Шестьдесят с лишним лет прошло! Тут не помнишь иной раз, как себя зовут, а уж учительницу... Да, еще был отличный фотограф там, неподалеку от нас. У него еще имелось ателье. Он запечатлел нашу семью. И снимки сохранились поныне!..

Вот так я умилился и вдруг получаю очень трогательное письмо:

Я коренной чердынец, родился и вырос в этом городе, проработал там 26 лет. В 1941 году я учился в той самой школе, о которой говорил в интервью А. Ширвиндт. Как сейчас помню, на одном из вечеров в честь какого-то праздника дети собрались в актовом зале школы на концерт. Как всегда, основную программу концерта составляли номера ребят из детского дома (у них был очень талантливый директор, любитель художественной самодеятельности). И тут вдруг ведущая концерта, пионервожатая, объявляет: «А сейчас, дети, Алик Ширвиндт сыграет на скрипке». В нашей школе никто на скрипках не играл, а тут – великое удивление. На сцену вышел маленький мальчик в клетчатой рубашке, в штанишках на ляшках, встал среди сцены и заиграл. Что он играл, мы не знали – не объявляли, – но игра понравилась, хлопали усердно.

Учительницу, что учила тогда первый класс, звали Марфа Николаевна Афанасьева. Фотографа, который жил неподалеку от квартиры Ширвиндтов, звали Можаринов Аркадий Иванович. А водовоз, что любезно давал Ширвиндту вожжи и черпак для воды, работал конюхом в конторе агентства «Камлесосплав», которая располагалась неподалеку от их квартиры. Туда же они ходили обедать, поскольку были прикреплены к столовой этой конторы. Так часто поступали с семьями эвакуированных, чтобы хоть как-то облегчить их жизнь.

Мы тоже иногда бывали в этой столовой (в ней работала наша мама) и не раз встречали того мальчика, что играл нам на скрипке. Когда мы уже стали взрослыми и с экранов телевизора увидели А.А. Ширвиндта, возник вопрос: а не тот ли это Ширвиндт, что выступал на школьной сцене в 1941 году? Выяснилось, что тот...

Георгий Шестаков

Я был поздним ребенком – появился на свет, когда родителям было уже под сорок. Сначала у них родилась дочь, но прожила она всего девять лет, и они вынуждены были родить еще что-то, и получился я.



Ростки стриптиза

Когда еще не существовало «вставной челюсти» Москвы – Калининского проспекта, а ныне Нового Арбата, там была Собачья площадка на стыке с Поварской, дровяной склад на углу Мерзляковского переуллка, откуда мы перед войной воровали дрова, а напротив, рядом с рестораном «Прага», располагался огромный роддом Грауэрмана. На Собачьей площадке стоял памятник собаке, старинный особнячок, в котором размещался музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, деревянные пивные ларьки, где пиво закусывали бутербродами с красной рыбой и не менее красной икрой, где зимой в ледяное пиво доливали его же из большого чайника, подогретого почти до кипения, чтобы жаждущее население не простудило горлышко, а на фасаде заведения было большое воззвание: «Требуйте долива пива после отстоя пены!»

Потом построили Калининский проспект, а роддом решили выселить, и нам звонил главный врач, просил спасти роддом. Мы ходили в разные инстанции, рассказывали, что в нем родились Булат Окуджава, Марк Захаров, Михаил Державин, Андрей Миронов и масса других знаменитостей. Все возмущались, как можно закрывать роддом, но чиновники привели аргумент: мол, роженицам шумно рожать. Они, видимо, знали, что рожать надо в тишине. А поскольку мы оказались не очень опытными акушерами, то не нашли с доводами. И роддом кончился.

**ВОСКОВЫЕ ФИГУРЫ
МОЕГО МИНИ-МУЗЕЯ**



МИХАИЛ КОЗАКОВ

Мечта выйти на эстрадные подмостки зародилась еще на студенческой скамье. Не у меня одного. Мы кончали театральные вузы – Михал Михалыч Козаков – мхатовский, я – вахтанговский, и решили сразу по окончании блеснуть в концертах (так что Державин – не первый Михал Михалыч в моей сценической судьбе). Блеснуть надо было, говоря языком нынешних философов, «однозначно», но блистать оказалось не в чем.

В Москве были два знаменитых закройщика – Затирка и Будрайтис. Они шили только элите – в основном литературной, иногда – актерской. Наши мамы посчитали, что раз мы все-таки доползли до диплома, то заслуживаем вознаграждения. Наши мамы были дамы, плотно связанные со всей богемной знатью.

Они скооперировались, подкупили черного крепа и пошли кланчить, чтобы Будрайтис сшил детям двубортные костюмы. Добились. И Будрайтис, у которого шили Погодин, Чуковский, Светлов, Маршак, Михалков, безглаголиво занялся двумя испуганными худыми галчатами.

Из материала, что набрали мамы, можно было скроить шесть костюмов. Он сшил два одинаковых двубортных шкафа, и мы, совершенно не разгибаясь и не сгибаясь, от него вышли. Тут же поехали к Аркаше Арканову, который тогда еще учился на врача, но тяготел к чеховской традиции, и сказали: «У нас замечательная задумка – нужно выходить на эстраду». Арканов спросил, что за задумка. Мы выложили идею: Козаков появляется из левой кулисы, я – из правой, мы медленно идем в одинаковых костюмах и встречаемся в центре сцены. На этом замысел заканчивался.

Арканов сказал, что идея интересная. И сел писать... Прошло больше полувек – костюмы истлели, Арканов пишет.

В ожидании аркановского шедевра мы по счастливой случайности попали в поле зрения филармонического чтеца Всеволода Николаевича Аксенова.

Он в Концертном зале имени Чайковского читал литературно-музыкальные композиции «Эгмонт» и «Пер Гюнт». Конструкция представления была такова: Большой симфонический оркестр под управлением Амосова, перед ним, в центре, – красавец Аксенов, а между оркестром и красавцем на нескольких стульях сидела, как воробьи на высоковольтных проводах, группа подыгрывающих партнеров.

Партнеры, по замыслу премьера, должны были быть хорошенькие, прилично одетые, молодые, но абсолютно «зеленые» и бездарные, чтобы оттенять солиста. Мы с Михал Михалычем Козаковым подходили стопроцентно.

Загвоздка состояла в том, что при наших элитных костюмах черные ботинки у нас были одни на двоих, но так как партнерствовали мы Аксенову не вместе, а по очереди, то, «отыграв», я плюхался рядом с Михал Михалычем, молниеносно под стулом мы ме-



Друг и наставник

нялись ботинками – я напяливал какую-то желтую жуть, Козаков всовывался в черноту и выходил к Пер Гюнту.

На этом наше с Козаковым стремление к эстраднему Олимпу не закончилось. Уже будучи архизнаменитым артистом (он был знаменитым, но бедным, а я просто бедным), Козаков вспомнил о нашей юношеской мечте и призвал меня к очередным авантюрам. В то время у Николая Охлопкова шел нашумевший патриотический спектакль «Молодая гвардия», где Эммочка Сидорова играла Любку Шевцову, и кульминацией роли была лихо поставленная сцена, в которой два подвыпивших эсэсовца заставляют Любку танцевать для них на столе, глумясь при этом нещадно.

Козаков в том спектакле не играл, а я вообще работал в другом театре, но жажда славы и денег не знает границ. И Михал Михалыч, выкрыв из театра две эсэсовские фуражки и повязки со свастикой, уговорив Эммочку и меня, а также милого театрального музыканта, который на баяне должен был имитировать немецкую губную гармошку, погнал нас по концертному марафону. Свастики очень хорошо читались на наших двубортных мундирах, репетировать было недолго, ибо вся тяжесть зрелища лежала на хрупких Эмминых плечах, а мы с Михал Михалычем, вальяжно развалившись на стульях, пьяно орали: «Шнель! Шнель!», закинув ноги на стол, где мучилась под баян Эмма Сидорова...

Номер имел зрительский успех – приглашения сыпались, гонорары росли, мы обнаглели и стали подумывать о второй паре черных ботинок, но...

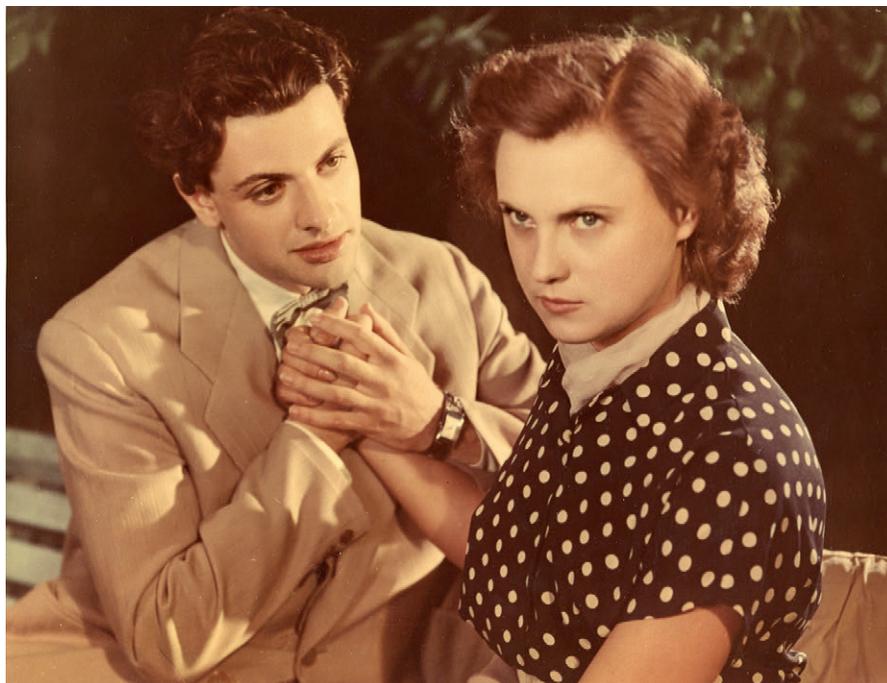
Прошла уйма лет, а я как сейчас помню последний выход с этим скетчем.

Шел концерт в Высшем техническом училище имени Баумана. До отказа набитая студенческая аудитория. В закулисную часть сцены нет отдельного входа, и артисты идут на подмостки через весь зал и через него же уходят, отвыступав. И вот мы, в очередной раз понадругавшись над Сидоровой, привычно засунув под мышку эсэсовские фуражки и стыдливо прикрыв рукой свастики на рукавах своей двубортности, пробиваемся через зрителей к выходу. В самом конце зала, прямо перед дверью в

фойе, на приставном стульчике сидит очаровательная интеллигентная девушка в очках. Когда мы поравнялись с ней, она подняла на нас огромные, полные ужаса и сострадания глаза и тихо спросила: «И вам не стыдно?»

Больше мы Любу Шевцову не пытали.

Михаил Козаков вывел меня и в кинематограф. Первый фильм, в котором я снялся, – «Она вас любит». Я учился на четвертом курсе, а Козаков уже снялся у Михаила Ромма в «Убийстве на улице Данте». Его тут же пригласили в картину «Она вас любит» сыграть молодого кретина. И он начал сниматься, но его позвал Охлопков на роль Гамлета, и он, конечно, все бросил. А киногруппе сказал: «Я вам привезу такого же». Приволок меня и всем рассказывал, какой я гениальный. Первый, и последний, раз он так обо мне отзывался. В киногруппе все были в трауре: Козаков привел вместо себя какую-то испуганную шпану. Но выхода не было, и я стал сниматься.



Кинодебют



АВТОР СЦЕНАРИЯ
В. ПОЛЯКОВ
РЕЖИССЕРЫ –
ПОСТАНОВЩИКИ:
С. ДЕРЕВЯНСКИЙ,
Р. СУСЛОВИЧ

ПРОИЗВОДСТВО
КИНОСТУДИИ «ЛЕНФИЛЬМ»
ВЫПУСК 1957г.

Заработав на этом фильме, я вскладчину с родителями приобрел первую свою машину – старую «Победу» – у мхатовского артиста Станицына, который менял свой автопарк.

Через 43 года после съемок картины «Она вас любит» я получил от своего друга Козакова интеллигентнейшее письмо. Тогда это еще было разрешено, а сейчас, может быть, напечатают только ради светлой памяти Михал Михалыча.

Ну что, Шуренко? Ё...ло шестьдесят пять? А куда мы на х... денемся? Иду, как всегда, вдогонку: в октябре можешь мне ответить виртуозным трехэтажным, которым ты всегда владел лучше меня, твоего ученика. И хотя ты, б..., всю нашу сорокапятилетнюю совместную и параллельную жизнь держал меня на задворках, предпочитая мне других, несомненно более блестящих и достойных твоей дружбы, я, сукин ты сын, тебя очень люблю! Ты, сука, почти родственник...

Помню Скатертный. Маленького, нежнейшего папу Толю, его скрипку. Маму Раю, что первая помогла мне стать миллионером, установив не положенную мне ставку 13 рублей 50 копеек в обход всех законов. Она, в отличие от тебя, мудака, не засыпала от скуки, слушая мои стихи.

Помню sacramентальную бутылку водки, разбитую нами в Парке культуры и отдыха имени Горького. А старый Новый год в ресторане гостиницы «Советская», куда мы с тобой, водила х...в, добирались на станицынской «Победе», заправляя радиатор мочой...

А ночные посиделки в ресторане «Внуково», куда добирались уже на двух «Победах» – твоей и горемыкинской...

Историческое наше фото после опохмелки в фотографии Напельбаума или другого еврея с Женькой Евстигнеевым. Два черных креповых костюма со свастикой для фрагмента из «Молодой гвардии» и праздничной халтуры по клубам Москвы.

Ну и, конечно, свадьба, Таточка, ее родня, ты... и я при сем.

Дальше начиналась совсем взрослая и, как выяснилось, длинная жизнь. Полагаю, ее можно назвать счастливой, что у тебя, что у меня.

Мы отцы, деды, даст Бог, станем прадедами. Мы много видели, много пережили, увы, уже многих похоронили...

Что мне пожелать тебе, хрен ты моржовый, в середине пути от одной круглой даты до другой? Что тебе, б... ты эдакая, не хватает? Все у нас с тобой, мудаков, есть: прошлое, настоящее, надежда на будущее...

Разве что здоровья. Тебе, Таточке, родным, близким.

Все остальное при нас и в наших руках.



Евгений Евстигнеев и Михаил Козаков с автором

*Обнимаю тебя от всего сердца, мысленно (только мысленно!!!)
выжираю за тебя литра полтора водяры, после этого посылаю
всех на х... и по обыкновению падаю в канаву.*

19.VII.99

Твой Миша Козаков

К несчастью, Мишки уже нет. И я не получу от него очередное
лирическое поздравление к юбилею.

МИХАИЛ ДЕРЖАВИН

Работать на эстраде одному скучно, я работал всегда с напарником.

Наш дуэт с Державиным возник издревле: сначала мы просто родились в одном роддоме имени Грауэрмана. Потом мы «дружили домами» – Державин жил и живет в доме, где размещается Театральное училище имени Щукина, которое мы с ним впоследствии окончили (он позднее как молодой, я раньше как старый), а в детстве часто собирались в миниатюрной двухкомнатной квартирке на первом этаже этого же дома, где жила семья Журавлевых, где было весело и шумно, где вокруг младших Журавлевых – Маши и Таты (наших подруг и почти ровесниц) – устраивались балы, вечера шарад и импровизаций, где пели, читали и танцевали под аккомпанемент Святослава Рихтера, – думаю, мало кто может похвастаться тем, что имел в своей биографии такого «тапера».

Страсть к эстраднему пребыванию родилась у нас с Михаилом Михайловичем с капустников еще в первом нашем совместном театре (а мы их вместе поменяли в своей жизни три, включая, надеюсь, последний – Театр сатиры), в Театре имени Ленинского комсомола, где мы прожили разную, но веселую и молодую актерскую жизнь. У нас с Мишей была одна эстрадная зарисовка, которая сопровождала нас более полувека и не устаревала. Долгожительство ее было predetermined формой. Державин (не владеющий, впрочем как и я, ни одним зарубежным языком) имеет патологическую способность к имитированию мелодики разных иностранных языков на словесной абракадабре. Номер строился как интервью с приехавшим иностранным гостем, со всеми нюансами советского перевода, где говорилось явно одно,

а переводилось явно другое, где гость произносил слова в течение двух-трех минут, а перевод звучал как «Здравствуйте, друзья!». Эта форма в каждой ситуации, в каждой аудитории, в каждый данный момент наполнялась сиюсекундным содержанием, что приводило публику в некое ошеломление. Приезжая на какой-нибудь провинциальный завод, мы до концерта расспрашивали местных об острых проблемах производства, узнавали об одиозных фигурах предприятия. И дальше, когда на сцене «иностранец» говорил, что он потрясен женщинами номерного завода, после этого закатывал глаза и с вожденным вздохом произносил: «О! Григорьева», а я переводил: «Он без ума от Камзолкиной», – зал вставал в едином порыве, ибо никак не мог понять, откуда заезжие столичные артисты могут знать фамилии главного бухгалтера предприятия и начальника ВОХР (военизированной охраны).

Однажды мы делали этот номер в МИДе на встрече дипломатов, куда нас позвал переводчик Витя Суходрев. Державин говорил по-английски, а те недоуменно слушали и спрашивали друг друга, что это за диалект.

Работать и существовать вдвоем многие годы довольно сложно. Не случайно распалось столько дуэтов на сцене и в жизни. Потому что невыносимо так много времени проводить вместе.

Или вот, например, былой конфликт: Карпов – Каспаров. У одного ужасный характер, у другого – еще хуже. А я уверен, что дело вовсе не в их характерах. Просто, когда десятилетия просидишь друг против друга, нос в нос, захочется убить.

С Державиным поссориться невозможно – он не дается, несмотря на мой занудливый характер. В редких, крайних случаях он говорит мне: «Осторожней! Не забывай, что я – национальное достояние!» – «Где?» – спрашиваю я. «В нашем дуэте».

Державин и я – это уже явление биологически-клиническое. Зрительское ощущение, что мы, как сиамские близнецы, живем на мягкой сцепке долголетней пуповины, ошибочно.

Мы играем разные роли в разных спектаклях. У нас разные жены, семьи, разные внуки, разные машины – все разное.

Мы и держимся столько лет вместе, потому что очень разные. Как только накапливается взаимное раздражение, тут же возникает неожиданная разрядка, чаще всего из-за удачной шутки.

Державин послушен, но осторожен. Он выходит на сцену с любым недомоганием – от прыща до давления 200 на 130.

Когда-то давно звонит мне днем, перед концертом, запланированным на вечер, и шепчет: «Совершенно потерял голос. Не знаю, что делать. Приезжай». Я приезжаю. Ему еще хуже. Он хрипит: «Садись, сейчас Танька придет (Танька – это его сестра), найдет лекарство из Кремлевки». А кремлевская аптека – потому, что женой Михал Михалыча в те времена была Нина Семеновна Буденная. Мы садимся играть в настольный хоккей. Михал Михалычу все хуже и хуже, Тани нет. Он хрипит: «Давай пошуруем в аптечке». И вынимает оттуда огромные белые таблетки: «Наверное, от горла – очень большие». Берет стакан воды, проглатывает.

У него перехватывает дыхание. «Какая силища, – с трудом проносит Михал Михалыч, – пробило просто до сих пор...» Затем он начинает страшно икать, и у него идет пена изо рта. Я мокрым полотенцем снимаю пену.

«Вот Кремлевка!» – сипит Михал Михалыч. Тут входит Таня. Я говорю: «Братец помирает, лечим горло». И показываю ей таблетки. Она падает на пол. Оказывается, на упаковке на английском (которого мы не учили) написано: «Пенообразующее противозачаточное средство. Вводится за пять минут до акта». Он ввел и стал пенообразовывать.

Есть старинная актерская байка. Молодая актриса играет «Грозу» в провинциальном театре. Последняя сцена. Она выходит к обрыву, произносит монолог и прыгает в оркестровую яму (подразумевается, что она прыгнула в Волгу). А там пьяные рабочие сцены забыли положить маты. Страшный трескучий удар. И надрывный голос Катерины: «Ой, Волга-то замерзла!»

Эстрадно-концертный багаж и находчивость очень помогают в экстремальной театральной ситуации. Как-то мы играли спектакль «Орнифль» по пьесе Ануя. На 20-й минуте вырубился свет, причем не только в театре, но и во всем микрорайоне.

Его не было сорок минут. Мы стоим в темноте на сцене. Прибегают какие-то люди и предупреждают, что ни в коем случае нельзя отпускать зрителей – будет паника и давка. На сцену выносят несколько свечей, и мы с Державиным спрашиваем, что делать. Из зала кричат: «Расскажите что-нибудь». И мы в костюмах начала прошлого века, в темноте, стали трепаться, рассказывать байки и играть миниатюры. Когда через сорок минут врубили свет, мы спрашиваем зал: «С начала играем или оттуда, где потухло?» – «Где потухло!» – кричат из зала. И мы тут же с одного абзаца, перестав существовать как эстрадные дивы, погнали дальше спектакль.

В разных городах мира – разные сценические возможности проводить встречи с артистами. Нет площадок. Слава богу, любая религия становится сегодня все более «светской» и шире смотрит на внедрение эстрады в свои святые стены. Державина можно занести в Книгу рекордов Гиннеса как единственного православного артиста, сыгравшего концерты во всех синагогах мира.



Временные атланты

В начале 90-х замкнулся круг наших с ним гастролей по обслуживанию ограниченного контингента советских евреев в том мире. Мы побывали в Австралии – дальше евреев нет, а если на Южном полюсе и сидит на льдине какой-нибудь морозоустойчивый эмигрант из Черновцов, то у него нет, очевидно, российского телевидения и он не знает, что Державин – муж Роксаны Бабаян.

По Америке мы шастали очень много. Ездили с шутками: «Добрый вечер, здрасте!» Потом, когда железный занавес постепенно ушел под колосники, тамошняя мишпуха обьяелась нашими шутками и прибаутками.

Да и конкуренция... Помню, в Канаде жили в гостинице, где в вестибюле – вернисаж гастрольных афиш. В одно время с нами там были Карцев, «Городок» с Ильей Олейниковым и Юрием Стояновым, Клара Новикова. В стороне от всех, с огромной глянцевой афиши на нас смотрело спокойное, вдумчивое лицо Саши Калягина в бабочке. Под ним была подпись: «Великий русский артист Калягин в чеховском спектакле...» А внизу, в уголке, прилеплена бумажонка: «Билеты приобретаются в рыбном отделе русского гастронома у Симы».

В той же Канаде мы с Державиным поднимали однажды дух советских хоккеистов на открытом Кубке Канады. Гуляем мы по улице, навстречу едет старый-престарый «шевроле» с откинутым верхом. Проезжает мимо, оттуда голос: «Ширвиндт, не морочьте себе голову, оставайтесь!» Сказано было так, будто мы с ним разговаривали об этом сутками.

Раньше у эмигрантов складывалось ощущение правильности своего поступка: или абсолютно снисходительное отношение к несчастным оставшимся, или такое сострадание: «Ширвиндт, не морочьте себе голову!» Потом, когда уже не знали, где лучше, и мотались туда-сюда (здесь – бизнес, а там – жилье), они утихли. Разговоры, жизнь, проблемы – все здешнее. Там – тело, все остальные органы чувств – здесь. Поэтому все время извиняться, что не уехал, уже не приходилось.

Был такой чтец в Московской филармонии Эммануил Каминка. Он обладал компьютерной памятью и знал наизусть всю мировую литературу. Каминка являлся членом партбюро филармо-

нии. Когда потянулся эмиграционный поток на Запад – а начался он с музыкантов, – в филармонии после каждого заявления об отъезде собиралось партбюро, клеймило выроdkов, выгоняло из партии, если выроdk в ней состоял, увольняло с должности, но, несмотря на это, процесс усиливался день ото дня. И вот однажды, после того как разделались с очередным беглецом, Каминка сказал: «Друзья! Сейчас мы в узком кругу товарищей по партии, и я хочу, пока нет посторонних, спросить. Мы тут изгоняем отщепенцев, предавших Родину. А тех, кто остается, мы как-то поощрять будем?»

Кроме Михаила Михайловича я работал на эстраде с Андреем Мироновым. Предательства здесь не было, ибо, как известно, театральные актеры работают на эстраде урывками, между спектаклями, а Державин всегда был, есть и будет одним из самых репертуарных актеров театра. Злой, но вполне замечательный Валентин Гафт, сочинивший много точных стихотворных гадостей в наш адрес, писал:

Державин Ширвиндта заметил,
Благословил, но в гроб не лег,
Им равных не было в дуэте...

Дальше – хамство:

Ушел Державин в «Кабачок»,
Но Ширвиндт пережил разлуку.
Ему Миронов протянул
Свою «брильянтовую руку».

Наш дуэт с Державиным не узаконен, хотя нам однажды намекали на подозрительность взаимоотношений.

В начале перестройки открыли закрытый актерский клуб. Затевали всю эту шепутню Саша Абдулов и Лёня Ярмольник и устраивали вечер сюрпризов. Позвали нас с Державиным. Выходит Саша Абдулов и на полном серьезе говорит: «Мы сегодня отмечаем официальный брак Ширвиндта и Державина». Зал лег от хохота, мы подыграли, конечно. На следующий день после этой бодяги

в «Московском комсомольце» рядом с новостями о том, что кого-то убили, а где-то протекло, поставили новость о нашем с Державиным браке.

Был шквал звонков. Что сказать? Звоню Паше Гусеву, главному редактору «МК», говорю: «Паша, да я тебя туда, да я твою газету сюда». Что делает гениальный журналист?

– Шура, – устало говорит Гусев, – помоги мне справиться с этими суками! Я просто бессилён.

И я начинаю ему соболезновать...

Чтобы как-то все-таки зафиксировать наш союз, мы с Державиным пытались создать партию «Шире, Держава», но не смогли ее официально застолбить из-за отсутствия четкой программы. У других партий, оказывается, она четкая.

Михал Михалыч вынужден оставаться замечательным актером. Никогда не мог Державин, как его ни просили и ни журили новомодные режиссеры, переступить черту органичного пребывания на подмостках.

Он тщетно пытается не подпускать к себе слишком близко отрицательные и даже трагические эмоции – отсюда профессиональный альтруизм, невозможность потянуть одеяло на себя. Одеяло на него тяну я и не жалею об этом.

Но многовековой дуэт с Державиным – с демонстрацией миниатюр 50-летней давности – опасная ностальгия. Превратились в пару паралимпийцев.

АНАТОЛИЙ ЭФРОС

Было время, когда к премьере надписывались афиши только что рожденного спектакля: режиссер надписывал актерам, актеры – режиссеру, все вместе благодарили цеха и так далее. Анатолий Эфрос ставил в Театре имени Ленинского комсомола пьесу Радзинского «104 страницы про любовь», а меня как раз приглашали в «Современник» сыграть Де Гиша в спектакле «Сирано де Бержерак». Я не пошел – сыграл в «Страницах» и получил на афише надпись от Анатолия Васильевича: «Шура! Твой успех высок. Если бы я коллекционировал индивидуальности, то воткнул бы тебя в свою коллекцию. Спасибо. Поздравляю!»

На что в его афише я написал: «Я счастлив, что успех высок, что в ваш гербарий я воткнулся, что в «Современник» не утек и вместе с ним не сиранулся».

Эфрос был круглосуточным режиссером. Он ни секунды не мог быть не режиссером. Он разговаривал и режиссировал, ел и режиссировал. Единственный человек, от которого он немножко уставал, – это Гафт. Я помню, как Валя пришел в Театр имени Ленинского комсомола, и мы отправились куда-то в Подольск с выездным спектаклем. Валя только что ввелся в спектакль «104 страницы про любовь» и в автобусе все пытал Эфроса: «Может, так? А может, так?» Полдороги тот с ним репетировал, но потом устал – напор и маниакальность Вали перешибли даже эфросовские.

Биография Театра имени Ленинского комсомола – взбесившаяся кардиограмма инфарктника: пики – провалы, пики – провалы. Перед Эфросом образовалась так-а-а-я яма. Но всякие инъекции нового лекарства в сформировавшийся организм очень часто чре-

ваты отторжением, даже если организм хочет испробовать на себе новое чудодейственное средство.

Когда Эфрос пришел в театр имени Ленинского комсомола, кто-то сломя голову бросился в этюдный метод, как бросаются без подготовки в глубокую воду, чтобы научиться плавать, – либо выплыть, либо потону. Другие сразу решили, что это не их, и образовали привычную оппозицию. Третьи остались «на берегу», чтобы посмотреть, чем кончится первый заплыв.

Премьером театра был Геннадий Карнович-Валуа, любимец Берсенева и Гиацинтовой, высокий, красивый, с удивительным бархатным голосом, сыгравший массу центральных ролей. Он имел родовую графскую фамилию и отца – тоже Карновича и тоже Валуа – артиста Ленинградского БДТ. Отцу принадлежит знаменитая фраза, обращенная к нам во время гастролей в Ленинграде на ужине, устроенном им в квартире, старинное убранство которой оправдывало окончание их фамилии. «Мои молодые друзья, – фирменным семейным голосом произнес он, – запомните: если не играть и не репетировать – лучше нашей профессии нет». Так вот, Геннадий не понимал, почему он должен начинать все с начала и чему-то учиться. Он присматривался! А кругом бушевали новые единомышленники – боролись, что-то доказывали, сплотившись под знаменем лидера. Наконец, так и не уяснив происходящего, он подошел ко мне и тихо спросил: «Шурка, а против кого вы дружите?» Я, как мог, обрисовал ему святость наших замыслов и чистоту взаимоотношений, он поверил и произнес: «Знаешь что, возьмите меня в вашу банду...»

В спектакле «В день свадьбы» отлично играли Соловьев, Дмитриева, Круглый. В трагическом финале, когда героиня Дмитриевой на свадьбе прощалась со своим женихом и кричала знаменитое «Отпускаю!», Эфрос просил выйти на сцену всю труппу, как бы в ознаменование рождения нового театра. Все исполняли роли гостей. Мы с Державиным тоже выходили в каких-то кепочках. На сцене стояли длинные столы с бутафорскими помидорами, огурцами, яблоками. Мы брали огурец и яблоко и с хрустом начинали есть – на каждый спектакль мы приносили с собой настоящие огурец и яблоко –

пижонили. А дело было зимой, по залу разносился аромат, все переглядывались и ахали. Эфрос кричал, что мы с Мишкой срываем финал, а мы оправдывались с невинными рожами.

Он ставил «Чайку», я, говорят, хорошо играл Тригорина. Один критик даже написал, что такого Тригорина никогда не видел. Потом – «Снимается кино», острый по тем временам «левый» спектакль, потом – «Мольер». Помню, как мы играли этот спектакль накануне снятия Эфроса. Как он звучал! Как отзывалась публика! Это все было про нас, про нашу жизнь.

Существует такое клише: предали Эфроса. Его ученики и артисты поделены на тех, кто предал, и тех, кто не предал. Сын Эфроса Дима Крымов к одному из юбилеев отца написал пьесу «Долгое прощание» в форме эссе. Толя Васильев начал репетировать. Там артисты, которые работали с Эфросом, вспоминали о нем в светло-сентиментальной манере (к сожалению, спектакль не состоялся). И я тоже был позван в эту высокую компанию. Предателем не считаюсь.

Да и, если разобраться, история простая: все, что произошло, был спектакль, разыгранный ЦК комсомола. Потом выяснилось, что его репетировали дольше, чем он длился: ЦК делал вид, что пытается спасти Эфроса, а партийная организация театра не хотела никаких новых веяний. Интермедия кончилась тем, что Эфросу пришлось уйти.

Эфрос был никаким худруком. Сейчас, сидя в аналогичном кресле, я это понимаю, как никогда. У настоящих худруков есть внутренняя стратегия поведения: «кнудом и пряником». К этой позиции многие мои друзья призывали и меня. Я согласно кивал и даже пытался, но, увы. Когда кнут находится в руках у пряника...

В Театре имени Ленинского комсомола, например, худруком долгие годы был Иван Николаевич Берсенев. Прозвище в кулуарах – Ванька-Каин. Вот он был великий худрук. Он ставил «Нору». И как только наверху открывали пасти: «Как это «Нора» в Театре имени Ленинского комсомола?!» – он – раз – и тут же создавал комсомольский спектакль «Парень из нашего города». И этот баланс держал идеально.

Эфроса политика никогда не интересовала. Он начал ставить «104 страницы про любовь», «Снимается кино» – сразу же возникли сложности. Ему все кругом стали говорить: надо что-то и для ЦК комсомола сварганить. И он принес пьесу Алешина «Каждому свое». Написана она была на основе реального факта: наш танк ворвался на страшной скорости в тыл врага и начал крушить все вокруг. Такой камикадзе. Эфрос прочел это на художественном совете. Мы попытались ему объяснить, что, мол, фанера, ужас. А он нам стал доказывать, что это глубочайшая, трагическая история. Он нам не говорил: давайте это сыграем для начальства, поставим для галочки, чтобы отстали, – нет! Не создав этого спектакля, в искусстве дальше жить нельзя! И уговорил.

Сайфулин играл танкиста, я изображал Гудериана: седые виски, мудрый, усталый фашист. Почему-то Толя решил, что Гудериан был красавец-еврей. Державин играл какого-то надсмотрщика в Освенциме... И до самого конца Эфрос убеждал нас, что это нужно и важно. И ведь зрители смотрели. Удивлялись, конечно, но все-таки пробирало, горло все-таки перехватывало.

Это был его метод работы с материалом, работы с актером: вынимать из любого драматизм. Кто-то больше приспособлен к такому способу работы, кто-то меньше. Я меньше. Я актер совсем другого разлива. Когда мы встретились, я был уже весь в «капусте».

Эфрос писал в книге «Репетиция – любовь моя», что «многолетнее увлечение капустниками сделало мягкую определенность характера Ширвиндта насмешливо-желчной», что «Ширвиндту не хватало той самой муки...», что «ему надо было как-то растормошиться, растревожить себя».

В общем, ушли на улицу Дуров, Сайфулин, Лакирев, Дмитриева, Яковлева, Гафт, Круглый, мы с Державиным. Сидели у Эфроса дома. Миша Зайцев, директор Театра на Малой Бронной, очень симпатичный человек, прибежал и закричал: «Король умер, да здравствует король! Все к нам!» Очевидно, сам он этот вопрос решить не мог, ему разрешили так сделать, но инициатива все-таки, наверное, была его. И мы все, табуном, пошли на Бронную.

Драма заключалась в том, что Эфрос стал очередным режиссером. Кроме Эфроса, который ставил спектакль в год, были еще Дунаев, Веснин. Получилось, в сущности, два театра.

В «Трех сестрах» я должен был играть Вершинина. Но Эфрос тогда уже был влюблен в Колю Волкова, и играл он. А что делать нам, аборигенам влюбленности? Эфрос обещал мне, что я сыграю Дон Жуана в театре, но играл Волков... Однако, помня об обещании, он предложил мне эту роль в телефильме. И я ничуть не жалею – моим партнером был Юрий Любимов: Любимов – Мольер, Любимов – Сганарель.

Я помню, как еще в Театре имени Ленинского комсомола Эфрос влюблялся в Ольгу Яковлеву. Она была еще студенткой. И вот ее мяукающий звук остро зацепил, что-то в ее индивидуальности его дико взволновало. Ольгина способность доводить любую сценическую ситуацию до щемящего драматизма была настолько идентична трофике Эфроса, что с первых шагов их творческий тандем приобрел знаковую стилистическую силу и позволил из милой запорожской девочки образовать выдающуюся актрису. Я ее люблю, пользуюсь взаимностью, благодарен за счастливое партнерство и дружбу.

Почему уходят актеры от режиссеров? Совсем не потому, что поругались и послали друг друга подальше. Иногда говорят по-другому: артист себя изжил, режиссер себя изжил. Все это ерунда. Ругань – результат, эпизод, а суть в раздражении, которое накапливается годами. Сколько может скульптор месить одну и ту же, пусть высококачественную глину? Он месит, лепит, и ему начинает чего-то не хватать. Так и в театре. Если нет глобальной взаимной влюбленности, а это бывает редко, то с годами режиссер и актер вызывают друг у друга непреодолимое раздражение, возникающее неизвестно отчего. Поэтому контрактная система сама по себе правильная. Увлечлись, влюбились на год, на два, разошлись и разошлись. А когда круглые сутки десятилетиями вместе – это невозможно или почти невозможно. Я сам через это прошел и вижу на каждом шагу. Одни люди, мужественные, олегодалеобразные, когда возникает между ними и режиссером взаимная неприязнь,

всё рвут, бегут из театра, отказываются от ролей. Другие сидят и делают вид, что все в порядке. Третьи уходят тихо, вяло...

Эфрос был замечательным, но он был очень мнительным, не любил дипломатничать, и если прибегал к дипломатии, то она была наивной. Он начинал сердиться, возникали обиды. В общем, хороший режиссер и хороший художественный руководитель – это совершенно разные профессии.

У Эфроса была феноменальная способность убедить актера. Задумал он ставить «Ромео и Джульетту». Позвал меня. Заперлись. Говорит: «Саша! Я долго сомневался и наконец решил. Давай рискнем! Ты знаешь, я мечтаю о «Ромео и Джульетте». После, не скрою, многих мук и сомнений остановился на тебе».

«Боже, – думаю, – уж не хочет ли он перевернуть все вековые традиции и обрушить на зрителя Ромео в моем лице?» Нет! Оказывается, у Шекспира главный персонаж – не Ромео. Вся эта история зиждется на одном герое, не угадав с которым можно не прикасаться к постановке. «Будем пробовать, – говорит Толя, – искать, мучиться, а вдруг состоится?»

Итак, премьера. Четыре часа я сижу в гримерной, а к концу спектакля, напялив тяжелейший кафтан в виде перьев какой-то сказочной птицы – полугрифа-полувороны, выхожу на сцену и произношу: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте».

Было немножко стыдно, но сознание, что не подвел Эфроса и достойно сыграл главную роль в «Ромео и Джульетте», несколько смягчало ощущение конца актерской биографии.

Очень редко хвалил! Иногда приходил после спектакля в гримерную и плакал. Это был огромный подарок – эфросовские слезы. И я получал его несколько раз. В «Снимается кино» и «Счастливых днях несчастливого человека».

Мои отношения с Эфросом отличались от его взаимоотношений со многими моими коллегами. Там была или любовь до гроба, или смертельный разрыв. А я общался с Анатолием Васильевичем очень долго, и расставались мы грустно, но не врагами.

Когда сейчас возникает разговор об Эфросе, я пугаюсь максималистских суждений и бурных эмоциональных всплесков. Эмоции мешают осмыслению. Главное – надо помнить, что в судьбе актера встречи с такими уникальными художниками, как Эфрос, единичны. И оставляют след на всю жизнь.

Если когда-нибудь будет суммироваться мой вклад в советскую культуру, хорошо бы, чтобы не забыли зачесть один эпизод. Первые гастроли эфросовского Ленкома в Перми. Труппа полетела на самолете, а Анатолий Васильевич поплыл на пароходе, чтобы немножко подготовиться к гастролям и развеяться.

Высокий берег реки – не помню, Камы или Иртыша. Мне казалось, что Иртыша, но это у меня чисто нервное. Вся труппа стоит на косогоре и ждет пароход. Эфрос плыл суток десять. Мы встречали его огромным плакатом «И какой же русский не любит быстрой езды?». Эфрос приплыл с сыном. Димке было 6 лет. И вот первый спектакль на гастролях, розовский «В день свадьбы», в котором участвовала вся труппа. Весь театр находился на сцене в массовке, кроме меня. Потому что, во-первых, я все-таки дискредитировал сельскую свадьбу, а во-вторых, не на кого было оставить Димку. Тут надо сказать о моем достаточно близком знакомстве с семьей Эфроса: он был моим родственником. Анатолий Васильевич был женат на второй жене моего дяди – Наташе Крымовой. В общем, я гулял с Димкой по Перми, и он стал известным режиссером Дмитрием Анатольевичем Крымовым.

ЛЕВ ДУРОВ

Вспоминая эфросовский Ленком, нельзя не сказать о Дурове.

Мы со Львом Константиновичем находимся в том критическом возрасте, когда уже очень не хочется врать. Вернее, все равно хочется, а нужно остановиться. Ну, во-первых, Лев Константинович – замечательный артист. Это знают все, и врать об этом бесполезно. Но, наверное, немногие знают, что именно Дуров привел Анатолия Васильевича Эфроса в Театр имени Ленинского комсомола. Это уже потом из-за каких-то сложностей (возникших не без помощи массы «благожелателей») их пути несколько разошлись. Что жалко. Но эфросовский «взрослый» театр, то есть период работы после Центрального детского театра, начался именно с подачи Льва Константиновича.

Сложилась такая несколько наигранная комбинация: раз Станиславский с Немировичем договаривались о создании нового театра, сидя в каком-то кабаке, то и мы решили собраться в ресторане гостиницы «Центральная» и поговорить о том, чтобы Эфрос возглавил Театр имени Ленинского комсомола. Помню, мы сидели за столом и обсуждали, как это будет прекрасно. Эфроса приходилось уговаривать – он очень боялся перехода в театр с таким названием, с таким брендом.

Основным двигателем всего процесса стал Левка, и результата он добился. Левка вообще являлся фанатом Эфроса до тех тактизмов, которые потом между ними произошли.

Дурова я знаю изнутри. Знаю, какой он резкий, ранимый и непредсказуемый. Он очень хороший артист и может играть всякое, но есть в нем какой-то стесняющий его внутренний зажим. Он как бы боится выйти из своих привычных рамок, и это ему прежде немного мешало. Но сейчас, уже к зрелости, он отбросил эту внутреннюю скованность, стал раскрепощеннее, шире, мягче. А мягкость

в его характере всегда нужно было искать. Дуров – замечательный боевитый мужик. Сколько мы с ним дрались в жизни – конечно, не с ним персонально, а вдвоем против кого-то при самых идиотских стечениях обстоятельств, сколько было выпито... При этом он совершенно патологический семьянин. Лев Константинович – патологический муж, патологический папа и патологический дед.

Левка всегда находился в прекрасной физической форме. У нас в Театре имени Ленинского комсомола была своя футбольная команда, довольно крепкая на театральном уровне. Как-то раз, на гастролях в Челябинске, мы приняли участие в одном незабываемом матче. Нашим противником на футбольном поле стала знаменитая в этом городе команда с несколько странным названием – «Вышка». Мы даже думали, что она состоит из охраны какого-нибудь лагеря. Но, как потом оказалось, это была команда челябинских телевизионщиков. Причем играли они чуть ли не профессионально и страстно желали победить новеньких. Я ужасно плохой футболист, и меня всегда ставили в защиту, потому что людей не хватало. А в это время к нам приехал великий футболист Игорь Нетто, муж Ольги Яковлевой. Был еще с ним нападающий из «Спартака». Они вдвоем могли выиграть у любой «Вышки». Но поскольку эти люди были узнаваемы, их пришлось заgrimировать. Игорю надели парик, а второму, заслуженному мастеру спорта, сделали фингал под глазом и перевязали. Они у нас числились рабочими сцены. Единственный, кто играл с ними на равных в нападении, – это Левка. Когда он долго не мог обогнать кого-то, он бежал, бежал, бежал, а потом прыгал противнику на спину, как гепард на буйвола, и на нем висел.

И все-таки в спектре многочисленных талантов Дурова кое-чего не хватает – он вялый автомобилист. Плохо ездит. Но я думаю, что это не самый большой недостаток в человеческом существе.

На своих творческих вечерах Левка всегда появляется с огромным количеством замечательных баек, рассказов и воспоминаний. Получая за эти полтора часа, условно говоря, десять рублей, он должен мне авторских рубля четыре, потому как я фигурирую в его историях минут двадцать пять – Левка любит просвещать всех на предмет наших с ним взаимоотношений, рассказывать о моем хамстве и т. п. Так что для благосостояния его семьи я сделал очень много.

РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ И ЛЕВ ЛОСЕВ

Удивительная, я бы сказал, парадоксальная дружба связывала Ростислава Яновича Плятта с Львом Федоровичем Лосевым.

Лев Лосев по происхождению, возрасту и генофонду никак не мог рассчитывать на встречу с Пляттом, а тем более – на дружбу с ним.

Я дружил с Лосевым с той далекой поры, когда он в группе берсеневакского молодняка принял меня под крыло ленкомовской элиты. Все было в нашей с Левою жизни – совместные счастливые премьеры в спектаклях Сергея Штейна «Колесо счастья», «Товарищи-романтики», «Когда цветет акация», бездумное актерское застолье. Мы с ним стояли у истоков создания «капустной бригады» Дома актера, мы придумали и даже осуществили как авторы цикл телевизионных вечеров «Театральная гостиная», среди которых были наиболее удачны и любимы нами, а может быть, и всеми «В гостях у Яншина», «В гостях у Утесова», «В гостях у Жарова», «В гостях у Богословского».

Мы с Львом Федоровичем написали множество радиопрограмм, не рядовых и незаметных, а сугубо праздничных и помпезных, где все было пронизано добрым юмором, светлой улыбкой и пафосом, пафосом, пафосом... «С днем рождения, Родина!», «Цветы к маю», «Музыкальное окно» и многие другие радиосшедевры каждый год выходили из-под нашего остроконъюнктурного пера. Написав очередную радиоэпопею, мы бросались к большим актерам и провозгласили их на исполнение нетленки. У нас звучали все! Для пафоса и монументальности – Михаил Царев, Вера Марецкая, Борис Чирков, Николай Мордвинов; для светлой и большой улыбки – Михаил Жаров, Людмила Касаткина; для беспощадной сатиры про салоны красоты и подвыпившего командированного – Владимир

Канделаки, Рина Зеленая, Татьяна Пельтцер, Леонид Утесов и, конечно, всегда, для всего и очень много – Ростислав Плятт.

Покончив с радиоэфиром, мы слевой перешли к большой литературе и стали вести юмористическую страницу в журнале «Театральная жизнь», где иногда даже смешно выглядели наши зарисовки из театрального быта.

В нашей бурной, тогда еще довольно молодой жизни бывали счастливые минуты, когда нас принимала семья Лосевых-старших. Лева торжественно говорил: «Шура, едем к моим: накормят, посидим, выпьем, они тебя любят – не матерись!» Мы запрягли мой ржавый рыдван и, переехав окружную железную дорогу у Сокола, попадали в объятия Лосевых-старших, простых, больших, добрых, в меру суровых и абсолютно не понимавших, чем мы с их младшеньким занимаемся, над чем и зачем смеемся, пребывавших в твердой уверенности, что добром все это не кончится. Перед отправкой меня обратно, в черту окружной железной дороги, Лосев-старший полуобнимал меня, по-отцовски наставляя: «Александр, ты выпивши, будь осторожен – пробирайся огородами!»

В моей семье старшие тоже любили Левушку и всегда ждали его. Мать могла часами пытаться Лосева на все околотеатральные темы, и Левчик с врожденным чувством уважения к взрослым терпеливо докладывал, кто с кем, кто как и как кто.

С супругой моей у Лосева отношения сложились тяжеловато. Ничто сложностей не предвещало – дружили, встречались семьями... Все как у людей, и на тебе – у нас родился сын Миша. Как сейчас помню, в родительской квартире моей жены, в дальней комнате, завешенной крахмальными простынями и стерильными марлями, в клеенке лежал красавец-наследник, только что привезенный из роддома. Мы слевой тихо вошли, по-моему, вымыли ноги, и сияющая, счастливая мать разрешила нам взглянуть из другой комнаты на этот шедевр, чтобы, не дай бог, дух богемы, по ее убеждению, исходящий от нас непрерывно, не проник за порог новой, счастливой жизни. Увидев нечто сморщенное, дико носатое и коричневатое, Лосев вздрогнул и трагически сказал: «Ничего, ничего, Таточка, он еще, может быть, выравнивается».

Александр Ширвиндт



Слово о Пяätte

Проходили десятилетия, но, когда наши семейные пути пересекались, что-то вздрагивало в глазах Лосева, а в глазах Таточки что-то гасло.

Мало я знаю людей – я почти их не знаю, – которые уходили бы из театра сами. Из театра или выгоняют, или выносят – третьего не дано. Лосев сам ушел из театра. Уровень его личности перестал совпадать с восприятием этой личности со стороны очередного руководства Театра имени Ленинского комсомола. Он ушел на партийную работу, ушел недалеко – райком партии стоял на той же улице, что и театр, – ушел в инструкторы по культуре. А первым секретарем был Георгий Александрович Иванов – спокойно-внушительный человек, отдаленно похожий на маршала Жукова и Давида Ойстраха одновременно, что, казалось бы, несочетаемо, но тем не менее. Раньше он играл в Театре имени Вахтангова, и, очевидно, привлечение Лосева к себе в окружение было данью театральной ностальгии, или просто ему одному там было страшно. Вся партийная карьера Лосева была отчаянной борьбой между чувством и долгом. Апофеозом этой борьбы стали гастролы капустного театра в Ленинграде, где шла одна из наших самых по тем временам острых программ и где инструктор райкома партии нес такое, что все были уверены, что либо он сошел с ума, либо приставлен специально с провокационно-надсмотрщицкими целями.

После райкома Лев Лосев много лет был директором Театра имени Моссовета. Многие годы он почти автоматически выбирался председателем ревизионной комиссии сначала ВТО, а потом СТД. Лосев обладал двумя уникальными для административного лица качествами: он был абсолютно честным человеком, и он самозабвенно-фанатически любил театр. Ради этого он прошел через все – через снисходительность главного режиссера Юрия Завадского (после смерти которого Лосев «лег костями» и издал замечательную книжку о нем); через гениальные капризы великой Фаины Раневской (после смерти которой он приложил немало усилий, чтобы выпустить сборник воспоминаний о ней). Потом, когда уже вообще ничего нельзя было издать, не имея ворованного миллиарда в кармане, он клал уже немолодые свои кости на издание книги о Плятте.

«Мой директор», – говорили Плятт и Раневская к концу жизни, и, сколько бы ни было в этих словах иронии, любви гораздо больше...

Почему Плятт любил Лосева? Они были похожи, несмотря на абсолютную разность. Плятт никогда никому не мог отказать в помощи – Лосев помогал ему. Они целыми днями что-то пробивали для театра, для актеров, для цехов. Плятт, прихрамывая, ковылял за Лосевым в ЦК, больницу, на телефонный узел, в жилуправление, чтобы своим видом, именем и свежим анекдотом подкрепить значимость очередной просьбы.

После Юрия Никулина Ростислав Плятт был вторым крупным специалистом по рассказыванию анекдотов. Меня он ненавидел за то, что я мог рассказать ему анекдот, которого он не знал. Мы никогда не говорили друг другу «здравствуйте». Увидев меня, он кричал через переулок: «Шура, встречаются два орангутанга...» – и, если я кричал «Знаю!», уходил не прощаясь. Если я дослушивал до конца и смеялся, мы обнимались и дружили дальше.

Лосеву досталась нелегкая доля. Он вместе с театром за довольно короткое время лишился Завадского, Орловой, Марецкой, Маркова, Раневской. Но можно предположить, что самым тяжелым ударом была для него все-таки потеря Ростислава Яновича Плятта.

Ростислав Плятт. Смотришь сегодня на детей от трех до семи лет и думаешь, как из этих наивных, разных и чистых особей получается это взрослое, бессовестное население. Иногда, правда, на улицах встречаются какие-то милые старички и старушки, пытающиеся, видимо, завершить свое земное путешествие в божеском виде. Впрочем, может быть, это только кажется из-за их физической немощи. А внутри все те же благоприобретенные на жизненном пути гнусности.

Когда же в этом устойчивом контингенте возникает иная фигура, вздрагиваешь от неожиданности – откуда?

После смерти Плятта обворовали его квартиру. Вынесли орден, незамысловатые ценности, совсем-совсем личные вещи. Некому было заступиться, кроме, пожалуй, Лосева – «директора Плятта». Да что он мог в условиях, когда не только лучших мертвых соотечественников нельзя защитить – живые не знают, что будет через секунду...

ВАЛЕНТИН ПЛУЧЕК

Любить нельзя уговорить. Или есть любовь – или только производственная необходимость. Артисты всегда ссылаются на интриги, недопонимание, травлю... Никогда Плучек не был в меня влюблен – я ему был просто нужен.

Но идут годы, и, как мелкая шелуха, отпадают все театральные обиды, пустые амбиции, ожесточенные схватки неизвестно из-за чего, и, как чистый мрамор на могиле Валентина Николаевича, навсегда остается большой художник, отдавший жизнь театру.

«У времени в плену» – один из самых темпераментных спектаклей Плучека. Почему? Плучек сам прожил жизнь в плену у времени. Как жить пленнику в искусстве? В плену идеологии, замкнутого пространства, вечного дамоклова меча цензуры? Как не сломаться, не устать, не сдаться? Ответ один: Плучек – личность космического интеллектуального измерения. В пиковые моменты сосуществования с советской действительностью он уходил в свое пространство одиночества, где ему было комфортно, интересно и даже весело. Пленник времени – он это время с азартом атаковал и побеждал неоднократно.

Нынешние homo sapiens сами взяли время в плен. Они не знают, что делать с обрушившейся на них властью, и безвольно-инфантильно разобщаются. Плучек был человек гордый. Никогда никакие регалии (а их было множество) не прилипали к нему. Его организм отторгал все бирки бессмысленных словообразований перед фамилией. Он был Плучек – коротко, мощно, вечно.

Право на посмертность – великое право, слава богу, не узаконенное еще в нашем правовом государстве. Это не народная тропа, протоптанная стадом любопытных. Незабвенность – это вклад личности в хронологию мировоззрения. У Плучека там целая глава.

Плучек – натура поэтическая. Я очень люблю заглядывать в словарь Даля, чтобы прояснить корневую первооснову какого-либо понятия. Там «поэтический дар – отрешиться от насущного, возноситься мечтою и воображением в высшие пределы, создавая первообразы красоты». Это Плучек.

Мейерхольд и Пастернак – его кумиры. Вот четверостишие Пастернака из стихотворения «Мейерхольдам»:

Той же пьесою неповторимой,
Точно запахом краски, дыша,
Вы всего себя стерли для грима,
Имя этому гриму – душа.

Это Плучек.

АНДРЕЙ МИРОНОВ

Бомарше, «Женитьба Фигаро».

3-й акт, 5-я картина, последнее явление.

Граф. Угодно вам, сударь, отвечать на мои вопросы?

Фигаро. Кто же может меня от этого уволить, ваше сиятельство? Вы здесь владеете всем, только не самим собой.

Граф. Если что и может довести меня до белого каления, так это его невозмутимый вид!

Фигаро. Я должен знать, из-за чего мне гневаться.

Граф. Потрудитесь нам сказать, кто эта дама, которую вы только что увели в беседку?

Фигаро. Вон в ту?

Граф. Нет, в эту.

Фигаро. Это разница! Я увел туда одну молодую особу, которая достаивает меня особого расположения.

Граф. А не связана ли эта дама другими обязательствами, которые вам-то слишком хорошо известны?

Фигаро. Да! Мне известно, что некий вельможа одно время был к ней неравнодушен, но то ли потому, что он ее разлюбил, то ли потому, что я ей нравлюсь больше, сегодня она оказывает предпочтение мне...

Это были последние слова Фигаро, которые он успел произнести на сцене Рижского оперного театра 14 августа 1987 года. После чего, пренебрегая логикой взаимоотношений с графом, Фигаро начал отступать назад, оперся рукой о витой узор беседки и медленно-медленно стал ослабевать. Граф, вопреки логике взаимоотношений, бросился к сопернику, обнял его и под щемящую тиши-



Назидание графа

ну зрительного зала, удивленного такой трактовкой этой сцены, унес Фигаро за кулисы, успев крикнуть: «Занавес!»...

«Шура, голова болит», – это были последние слова Андрея Миронова, сказанные им на сцене оперного театра в Риге и в жизни вообще.

...В июне 1987 года Андрей загадочно прижал меня в какой-то угол театра и заявил, что на гастроли Вильнюс – Рига мы едем на машинах. Не успел я вяло спросить «зачем?», как он меня уже уговорил. Так случалось всегда, потому что чем меньше было у него аргументов, тем талантливее, темпераментнее, обаятельнее и быстрее он добивался своего.

Мой персональный автомобиль ГАЗ-24 приводился в движение горючим под названием А-76, а мышинный BMW Андрея – топливом с кодовым названием А-95. Эти девятнадцать единиц разницы неизвестно чего всегда казались мне рекламным выражением сомнения нашей нефтеперерабатывающей промышленности, но

опыт показал, что всякий цинизм наказуем. Так как бензин в те времена продавался строго по ассортименту, то, естественно, там, где заливали А-76, и не пахло А-95, а там, где пахло А-95 (а пахнет он действительно поблагороднее), и не пахло моим средством передвижения. А поскольку бензин обычно кончается не там, где его можно залить, а там, где он кончается, то мышиный BMW, брезгливо морщась, вынужден был поглощать дурно пахнущую этиловую жидкость, а моя самоходка при простом содействии любимого народом лица Андрея получала несколько литров А-95, этого «Кристиана Диора» двигателей внутреннего сгорания, от зардевшихся и безумно счастливых бензозаправщиц. Но вся мистика состояла в том, что оба наших аппарата реагировали на такую замену питания одинаково: они начинали греться, затем «троить», а потом просто не ехать. Ну, с BMW все понятно – ему просто физически не хватало этих единиц чего-то, но моя-то... Казалось бы, вдохни полной грудью пары неслыханной консистенции и лети. Нет. Фырчит, греется, останавливается – вот уж поистине «у советских собственная гордость». Но если в ситуации с горючим мы были на равных, то по остальным компонентам автопробега я сильно отставал в буквальном и переносном смысле: частое забрызгивание свечей, прогорание и последующее отпадение трубы глушителя, подтекание охлаждающей жидкости неизвестно откуда – везде все сухо, а под машиной лужица тосола, частый «уход» искры – на разрыве контактов есть, а на свечи не поступает или даже наоборот, что вообще немисливо, но факт. Поэтому ехали мы быстро, но долго.

Андрюша не умел ждать и не мог стоять на месте. Динамика – его суть. Он улетал вперед, возвращался, обреченно и грустно взирал на мое глубокомысленное ковыряние под капотом и улетал опять. Я думаю, что на круг он трижды покрыл расстояние нашего пробега.

Я часто слышу вздохи: «Горел, сгорал, сгорел». Но если попробовать найти слово, одно слово, чтобы определить эту удивительную натуру, то я, подумавши, осмелюсь произнести: «Страсть!» Он всегда страстно желал.

А какая же страсть без огня? При его титанической работоспособности казалось, что он никогда не уставал. Очевидно, уста-

лость – это превозмогание ненависти организма к жизни и работе, он обожал жизнь и не мог без работы.

И не вообще, а конкретно. Я думаю, что только внутренняя целеустремленность превращает сильный дух в творческую личность.

Я вспоминаю, как в 1955 году на площади Маяковского, в Московском театре эстрады, позже ставшем театром-студией «Современник», ныне – стоянкой автотранспорта около гостиницы «Пекин», напротив Театра сатиры, шла премьера-обозрение «Московская фантазия», где я, студент 3-го курса Театрального училища имени Щукина, делал первые неуклюжие шаги на эстрадно-театральном поприще, а в пятом ряду, в центре, сидели Мария Владимировна Миронова и Александр Семенович Менакер, а между ними, не справа или слева, а между ними, я точно помню, сидел не самый худой и не самый первый отличник 7-го класса Андрюша и замороженно смотрел на подмостки. И никто тогда – ни родители, ни будущие друзья, ни даже рухнувшие впоследствии стены этого театра – не мог представить, что через каких-нибудь двенадцать лет на этой же площади загорится яркая звезда нашего искусства – Андрей Александрович Миронов.

Мария Владимировна была гениальной женщиной. Ей не нравилось всё, кроме ее сына Андрюши. Все его друзья были говно, я – первое...

За своим сыном Мария Владимировна очень следила. Он, как известно, парень был любвеобильный. Всех его дам она изучала самым внимательнейшим образом и пыталась определить, насколько дама вошла в жизнь Андрюши, насколько это серьезно. Он ее слушался или делал так, чтобы ее не огорчить или чтобы она не узнала.

Мы отвлекали ее сына от гениальности и профессии и тащили в пучину страсти и порока...

Андрей пригласил как-то нашу компанию на день рождения. Приходим – на столе не накрыто. Поползли на кухню – ничего. Открыли холодильник – пустота. Думаем: о, наверное, на балко-

не. На балконе тоже ничего. «Ну и где?» – спрашиваем мы. «Ребята, – говорит Андрей, – я подумал: если вы приходите на мой день рождения пить и жрать, значит, так вы ко мне относитесь. А если не из-за этого, то мы можем просто посидеть». Мы не поверили, еще полчаса поискали еду, потом сказали: «Ну все, спасибо». Послали его туда, куда сейчас нельзя посылать в печати, и спустились во двор. А там, у подъезда, стоит автобус с женским духовым оркестром в салоне, играющим «Варшавянку». Мы сели в автобус и поехали в заказанный ресторан «Русская изба» праздновать его день рождения.

В антракте я обычно звонил из театра домой и говорил жене: «Будь в напряжении!» или «Сервируй!» Первое означало, мы куда-то отправимся, второе – «Жди гостей».

Заводилой послеспектаклевых посиделок был Андрюша. Это у нас называлось «на слабую долю». Когда мы уже изрядно поддавали, включалась музыка Нино Рота из «8 ½» Феллини (наш гимн), и мы, напевая, брались за руки и шли по кругу, как дети в детском саду. Потом, по моему приказу, издавали звериный рык и шли в другую сторону.

Помню, как сдачу спектакля «Проснись и пой!» отпраздновать решили в ближайшем ресторане «София». И вдруг Валентин Плучек говорит: «Ну что вы за молодежь? Вот в наше время начинали праздновать в Москве, а утром оказывались в Ленинграде». Этого было достаточно, тем более в Ленинграде снимался Андрей, и мы решили его пугануть (была у нас такая любимая игра: неожиданно нагрянуть к человеку). Поехали к Татьяне Ивановне Пельтцер за деньгами на билеты (потому что деньги водились только у нее) и оттуда – в Шереметьево. Ближайшего самолета надо было ждать довольно долго. Кураж постепенно проходил, и некоторые, в том числе Плучеки и Менглет с Архиповой, вернулись в Москву. А самые стойкие: Татьяна Ивановна, Марк Захаров с Ниной и мы с Татой – полетели.

Из аэропорта вся компания поехала в гостиницу «Астория», где жил Андрей. Но пока мы летели, кто-то настучал Марии Владими-

ровне, что эти сумасшедшие отправились к ее сыну. Она позвонила в Ленинград и сказала: «Жди!»

Когда мы подъехали к «Астории», на входе стоял Андрей в красной ливрее с салфеткой на согнутой руке. Не моргнув глазом он сухо сказал: «Ваш столик – № 2».

Потом мы всю ночь гуляли по Ленинграду, танцуя и напевая мелодию из «8 ½». А у Марка возникла навязчивая идея взять Зимний. Мы остановили почтовый грузовик, Марк крикнул: «К Зимнему!» В кузове грузовика мы тоже танцевали. Почему так и не взяли Зимний, уже не помню.

На рассвете голодные и замерзшие на Московском вокзале мы пили кофе. Его тогда наливали из огромных двухведерных баков с краниками, к каждому из которых была прикована кружка.

Выглядели мы к утру жутко, и кто-то из прохожих на улице, узнав Андрюшу, пропел: «Весь покрытый зеленью, абсолютно весь».

Потом мы с Андрюшей и его сводным братом Кириллом Ласкари поехали к их деду Семену, который до революции был богат и имел драгоценности. И Андрюша нашептал ему, что надо быть готовым, что почту и телеграф мы уже взяли, теперь будем возвращать незаконно отнятое. Дед осторожно спрашивал: «Правда? Ты не шутишь?» Андрей уверял, что правда. И дед верил и ждал.

Как-то в другой приезд в Ленинград Кирилл пригласил нас в плавучий ресторан недалеко от Петропавловской крепости, чтобы раскрыть семейную тайну. Когда началась экспроприация, дед Семен припрятал все в своем доме в Гатчине. «Настало время внукам получить законное наследство, – сказал Кира. – Я разработал операцию. Шурка, ты задействован и получишь небольшой процент».

В доме проживало довольно много народу. Поэтому план был такой: меня якобы сбивает машина, Кирилл с Андреем зовут на помощь, жильцы дома выбегают, окружают пострадавшего, то есть меня, и в этот момент один из братьев незаметно проникает на чердак (Кирилл уверял, что клад именно там) и находит дедушкины бриллианты. После чего мы делим их не в равных частях. Все продумали до мелочей, осечек не должно было произойти. Мне забинтовали голову, воткнули для успокоения через бинты дымящуюся трубку и стали звать на помощь жильцов. Почему никого не

смutilo, что я после аварии оказался сразу забинтованным, тайна. Видимо, слишком натурально мы играли. В общем, все жильцы мне сострадали, Кирка клад не нашел, и он, очевидно, до сих пор лежит на чердаке в деревянном доме в Гатчине. Если, конечно, на эти деньги, как в «Двенадцати стульях», не построили клуб.

Но не надо думать, что мы только искали сокровища, пили и смеялись. Мы иногда работали.

В молодости у меня была творческая мечта, почти осуществленная, попробовать на себе все «рода художественных войск» и пострелять из всех орудий.

Мне было интересно окунуться в недра радиопроизводства, с монтажом, наложением музыки и шумов, работой с актерами в радиостудии.

К Новому году или женскому празднику в эфир выпускались юмористические силы, любимцы радиослушателей, то есть народа. Самая трудная задача была – уговорить записаться Рину Зеленую или Татьяну Пельтцер. Мощные, непримиримые характеры этих дам и замечательных актрис доводили автора и режиссера до безумия. Ставилась под сомнение каждая фраза, обливалась потоком унижения любая режиссерская находка, но результат все-таки доставлял радость.

«Шура! Не пользуйся моей слабостью к тебе и не мучь меня этой жалкой халтурой».

«Шура! Я получила твой текст! Прочла домашним – ни одной улыбки. Если тебе так остро нужны деньги, я дам!»

Но все же и та и другая, накапризничавшись, поворчав, добавив несколько седых волос в молодую шевелюру режиссера, записывались.

Также очень трудно было вытащить в радиоэфир Андрюшу. «Шура, мне некогда», «Шура, запиши сам», «Шура, позвони завтра», «Шура, не морочь мне голову», «Шура, иди...». Но Шура не слезал, и Андрюша, проклиная все на свете, в том числе дружбу, которая вынуждает его заниматься бог знает чем, заскакивал («только на 20 минут») в Дом звукозаписи и часа два записывал монологек в юмористической передаче. Он записывал бы его и все четыре часа, но время, отведен-



Это сладкое слово «эстрада»

ное на запись, кончалось, и он уходил, как всегда не удовлетворенный результатом, с тем же криком, что дружба толкает его на полуфабрикат. Он писал этот монолог то с грузинским акцентом, то как диктор телевидения, то как охрипший грузчик, то как инфантильная дама. Если бы суметь сохранить эти варианты, то какое это было бы пособие молодым артистам по изучению отношения к труду.

Вместе с Андрюшей мы давали творческие вечера. Переводя на русский, «левые» концерты, то есть халтуры.

Роли распределялись так: Миронов – большой артист и художник, а я – рвач и администратор. Звонок. «Вам звонят из фармацевтического управления Москвы». Замечательная контора, где, как муравьи, ползают сотни женщин. Фармацевтические чиновники. И мы в этой конторе были, условно говоря, в прошлом году на 8 Марта. И вот опять звонят: «Мы мечтаем на 8 Марта снова видеть вас». Я, прикрывая микрофон рукой, говорю тихо Миронову: «Звонят из фармацевтического управления». Андрюша машет на меня руками: «Нет, ни в коем случае, отказывайся». «Ведь мы у вас уже были», – говорю я в трубку. «Но заявки только на вас – только

на вас хотят посмотреть». – «Ну что значит – посмотреть? – говорю. – Мы же артисты. Мы должны что-то показать. Не можем же мы выступить с той же программой». – «Ну что-нибудь...» Андрей машет руками: «Даже не думай! Положи, положи трубку! Не разговаривай с ними!» – «Тогда говори сам».

Я передаю ему трубку. Андрей начинает: «Ну, дорогие, но мы артисты академического театра, мы так хорошо у вас выступили в прошлом году. Нет, не можем. Ну, не можем мы просто выходить и улыбаться...» На том конце провода огорчаются: «Ну как же? А мы так надеялись. У нас есть 500 рублей». Андрей: «Так, адрес!»

После концертов возникали и неприятности. К примеру, однажды зимой мы с Андрюшей должны были лететь в Новосибирск на суд над администратором концертных площадок, куда нас вызывали в качестве свидетелей. Мы получили за выступление на 50 рублей больше положенного, а этот администратор, условно говоря, – на 50 тысяч рублей. Чем закончилась история, не помню, но запомнилось, как мы туда улетали.

Лететь должны были ночью, на один день, и в следующую ночь вернуться. Андрей заехал за мной на такси, поднялся, а я все никак не мог решить, какую взять с собой трубку. Мы уже опаздывали на самолет, Андрюша стал торопить. Я ему говорю:

– Никак не найду свою любимую трубку, а от всех этих я не получаю удовольствия.

– Шура, – мрачно замечает Андрей, – а ты летишь на суд получать удовольствие?

Трубка была наконец найдена, мы спустились к такси. И, когда я в него влез, у меня сзади по шву лопнули брюки. Надо возвращаться домой. Я поднялся, но из-за суеверия (и без того поездка не из приятных) порог квартиры не переступил. Жена вынесла на лестничную площадку газетку, расстелила на полу, я встал, стянул штаны, натянул другие, но они мне чем-то не понравились, и я решил надеть третьи. Снимаю те, и в этот момент хлопает входная дверь, в подъезд входит Андрюша, видит меня на лестничной площадке без штанов и ласково спрашивает:

– Шура, у тебя какие планы?

Меня одевал (не в данном случае, а вообще) в основном Андрюша, отдавая с себя вещи, вышедшие из моды. Он следил за модой тщательно. Когда театр выезжал на гастроли в Прибалтику, Андрюша таскал меня там к своему портному, который шил нам брюки.

Я к вещам отношусь абсолютно умозрительно. Я имею в виду моду и их количество на теле и в доме. У меня нет своего стиля. Я всю жизнь ношу обноски. В театре, когда оформляется новый спектакль, есть такое определение – «костюмы из подбора». Значит, гардероб для исполнителей составляется из тех костюмов, что были сшиты для других спектаклей. Моя одежда состоит «из подбора». Как-то случайно встретил я в Канаде Табакова. Взглянув на меня, он дал мне визитку, на которой было написано: «Олег Табаков. Актер». И приписал, обращаясь к своему канадскому приятелю: «Майкл, пожалуйста, своди Шуру Ширвиндта в универмаг для нищих и подкорми его. Он хороший! Крепко целую. Олег Табаков». Что и было сделано.

Когда в Москву приехал Роберт Де Ниро, Андрюша захотел познакомиться с ним. Тогда Де Ниро возила от «Интуриста» и переводила ему Регина, бывшая жена Михаила Козакова, и мы на нее насели, чтобы она вытащила этого Де Ниро на вечер к Андрюше. И вот свечки зажгли, все прифондюренные, в галстуках, напитки, орешки откуда-то достали. Помню, были Кваша, Козаков, я. И пришел Де Ниро. В страшных джинсах, в однодолларовой майке, в шлепках через палец, а мы, значит, стоим в кисках. Мы ему говорим, мол, ты же жутко знаменитый, а вон в чем. Он сказал: «Ребята, нужно достичь такого уровня. Когда я выхожу так в Нью-Йорке, меня видят и думают, что это последний крик моды, потому что так одевается Де Ниро».

За годы советской власти артисты привыкли, что смысл биографии в получении высоких и почетных званий. Высокое звание автоматически давало высокое положение: всякие «членства», сидение в более первых рядах на собраниях, а иногда даже в президиумах, перемещение в вагонах СВ. Народный артист республики спешил сделать все, чтобы умереть народным артистом СССР, ибо только народный артист СССР имел возможность пре-

тендовать на Новодевичье кладбище. Сколько ничтожных деятелей лежат в этом престижном пространстве. Но так и не смогли страна, народ, близкие похоронить Андрея Миронова на Новодевичьем – не успели дать народного СССР. Я помню эту страшную мышино-канцелярскую возню с перезвонами по инстанциям, когда один высокий чиновник звонил другому высочайшему чиновнику и говорил, что Миронов «подан» на это звание, что «документы лежат» уже близко к финальному столу, но нет, не пробили, и очередной замминистра траурно поплыл под стены Новодевичьего монастыря.

Когда Андрея вынесли из театра и город Москва остановился, я почему-то вспомнил виденные мною на пленке похороны Жерара Филипа. Не знаю, где похоронен Жерар Филип и как повлияло на место его захоронения обстоятельство, что он не дождался звания заслуженного артиста Сен-Жермен-де-Пре.

...Бежит время, и образ Андрея, его последние дни, часы, минуты облекаются в легенды, домыслы, «личные» воспоминания. Этот обязательный снежный ком слухов, который всегда катится с горы человеческого горя, невозможно удержать, да, наверное, и не надо. Потому что в данном случае этот ком у большинства родился от комка в горле, а не от пошлого обывательского любопытства.

Я не знаю, как объяснить необъяснимое: почему при актерской бродячей жизни, когда судьба забрасывает нас поодиночке в самые разные уголки, вдруг на дождливом юрмальском побережье собрались в августе, словно по наитию, почти все родные и близкие Андрею люди. Как он нами занимался, как беспрестанно собирал, собирал, собирал всех нас вместе и как говорил, что он счастлив!

Зыбкая мечта человека умереть в своем доме... Андрей умер там, где он жил, – на сцене. Я вез его по коридору больницы – он лежал спокойный, молодой, красивый, в черном костюме Фигаро, а вокруг со скорбным удивлением толпился беспомощный цвет отечественной профессуры, так как по жуткому стечению обстоятельств в это время в Риге шел международный симпозиум нейрохирургов.

В те дни мой шестилетний внук Андрюша услышал телефонный разговор.

– С кем ты? – спросил он.

– Это Саша Ушаков, – ответил я. – Ты не знаешь, это большой друг Андрея Миронова.

– Значит, теперь это мой друг, раз Андрей мой крестный.

Как радостно, что маленький Андрюша успел зафиксировать в детском сознании образ своего замечательного тезки, в честь которого был назван. Как трагично, что Андрей Миронов не привезет уже взрослому тезке очередную кепку, не услышит новых записей эстрадных звезд, не увидит последних шедевров мирового экрана, не соберет нас, как всегда, вокруг себя, не узнает, до какой степени все без него опустело.

А то, что происходило на его панихиде и похоронах и что творится на его могиле, я расскажу ему при встрече.

МАРК ЗАХАРОВ

Марк Анатольевич – режиссер в законе. Он режиссер своего существования и существования окружающих. Он режиссирует спектакли, быт, досуг друзей, выступления, панихиды.

Вот в далекой юности он режиссирует наш ночной пикник около аэропорта Шереметьево: раскладывает в лесу три костра и при заходе на посадку самолета велит всем визжать и прыгать, предлагая лайнеру приземлиться. Сам же из чувства протеста машет на самолет руками и орет: «Кыш! Кыш отсюда!»

Однажды он, Григорий Горин и Андрей Миронов приперлись ко мне на день рождения. Вошли во двор и видят: валяется ржавая чугунная батарея парового отопления. Им захотелось сделать другу приятное. Взяли эту неподъемную жуть, притащили на третий этаж.

Открываю дверь.

– Дорогой Шура, – говорит Горин, – прими наш скромный подарок. Пусть эта батарея согревает тебя теплом наших сердец...

– Шутка, – говорю, – на тройку. Несите туда, где взяли.

Они, матерясь, тащат проклятую батарею во двор и бросают на землю. И вдруг Захаров говорит:

– Чтобы шутка сработала, ее нужно довести до абсурда.

Они вновь берутся за батарею и опять тащат ее на третий этаж.

Открываю дверь.

– Дорогой Шура, – говорит Андрей Миронов, – прими наш скромный подарок!

– Вот это другое дело, – говорю. – Вносите!

Основные импульсы режиссерской фантазии Захарова – это удивить и пугануть.

Уезжал я как-то в Харьков сниматься в очередной малохудожественной картине, провожаемый на вокзале Мироновым и Заха-



Захаров и Горин с автором в родной деревне

ровым. Поезд отъезжал в половине первого ночи, я сел в купе, где на меня набросился майор, который ехал из северных гарнизонов в отпуск к себе в Харьков. Я и без того уже был не совсем свеж, а тут мы еще рванули в купе...

Как только поезд отошел, режиссерская интуиция подсказала Захарову: «Надо Маску (моя партийная кличка) пугануть». И они с Мироновым побежали к Пельтцер за деньгами, та их послала, тогда они помчались к главному администратору театра, выклянчили денег, поехали во Внуково, сели на ранний рейс и оказались в Харькове раньше меня. Узнав, где съемка, а съемка была в консерватории, они приехали туда, поднялись на верхний этаж и стали ждать. Меня привезли на съемку в том еще состоянии. Я, как всегда, играл какого-то доцента, который со-вращал молодую виолончелистку. И вот я, пьяный доцент, шел вниз по лестнице ее встречать. В это время сверху раздалось: пам-пам-пам-папара-пам... Наши позывные. Я решил: все, допился! И тут увидел этих двоих, спускающихся вниз. Пуганули...



Имитация дружбы

Картины никто уже не помнит, а этот эпизод растиражирован всеми СМИ.

Чем резче Марка Анатольевича куда-либо куражно заносит, тем жестче он возвращается на свою проезжую часть. В этом смысле дружба с ним напоминает мне эпизоды из чаплинских «Огней большого города», где миллионер всю ночь проводит с Чаплином в дружеском пьяном экстазе, а утром его не узнает.

Чем крупнее личность, тем опаснее ее случайное осмысление. Поэтому личности вынуждены быть закрытыми от обывательских расшифровок.

Таков Захаров. Видимость внешнего благополучия обратно пропорциональна внутренней тревоге. Его резкая смелость чревата страшными послепоступковыми муками.

У него цепкая, даже злопамятная эрудиция. Это тяжкий груз. Он аналитичен и мудр. Анализ мешает непосредственности, мудрость тормозит импровизацию. Для этих целей он держит меня.

В дружбе он суров и категоричен. «Худей! Немедленно!» Я худею. «Хватит худеть! Это болезненно!» Я толстею. При этом он щедр и широк. Велел мне, например, носить длинные эластичные носки для укрепления отходивших свое ног. Я сопротивлялся, ссылаясь на отсутствие носков в продаже, тогда он привез их мне из Германии – 12 пар, разного цвета!

Но если честно, то я люблю его жену Ниночку, а он любит мою жену Таточку. Иногда мы для приличия встречаемся вчетвером и играем в покер.

ГРИГОРИЙ ГОРИН

Чем добрее человек, тем он доступнее. А если он при этом еще и талантлив, то становится липкой бумагой для сонмища «мух», которые мощно и бессмысленно жужжат вокруг, кичась назойливой бездарностью. «Прилипну! Прилипну!» Их же никто к этой манкой ленте не припиливает, как в садистском набоковском наслаждении убийством и без того недолгожительных бабочек. Они не случайно врезаются в эту ленту, летя на космических скоростях к звездам или, на худой конец, на кухню. Нет. Они добровольно и вожделенно приникают к медообразной поверхности.

Сонмища «мух» вились около Гришиного таланта, обаяния, доброты, жалости к человечкам. К сожалению, иногда пользовались огромностью его души и мы, друзья. Каждый из нас должен найти в себе запоздалое мужество и попросить у Гриши прощения.

Прощения за то, что использовали его талант в корыстных целях.

Прощения за то, что пользовались его добротой из меркантильных соображений.

Прощения за то, что отнимали у читателей, зрителей и потомков его драгоценное время, растаскивая Гришу по бесконечным юбилеям, «жюрям», презентациям и прочаям...

Прощения за то, что очень редко по отношению к Грише употреблялось восклицание «НА!» вместо бесконечной мольбы – «ДАЙ!».

Разослать бы всем анкеты, чтобы каждый, персонально, как в налоговой декларации (только на этот раз честно), написал список Гришиных благодеяний. Монументальный труд мерещится.

Хочу быть пионером в этом проекте и на паре-тройке примеров показать картину своих взаимоотношений с другом.

По разделам.

Александр Ширвиндт



Без улова

Раздел первый. РЫБАЛКА.

а) Заставлял (в силу своего жаворонковского просыпания) Гришу вставать в 4 часа утра, прекрасно зная, что версия предрассветного клева – утопия, а Гриша мечтает хотя бы о часе лишнего сна.

б) Силой своей алкоголической настырности вливал в Гришу на пленэре намного больше напитков, чем он хотел и мог употребить.

в) Никогда не помогал Грише в добыче наживки (откапывании червей, варении геркулеса и манки, покупке мотыля).

г) Не отказывался от Гришиних предложений занять лучшее и более уловистое место на берегу.

д) Не собирал ветки и не разводил костра вместе с Гришей – только руководил.

е) Во время бури на Озерне не сменил его на веслах.

ж) Никогда не противился разделу улова поровну, хорошо зная, что Гриша меня обловил.

з) Неоднократно на обратном пути с рыбалки засыпал за рулем, прекрасно сознавая, какую общечеловеческую ценность везу.

и) Ни разу в жизни не помог Грише чистить рыбу.

Напрашивается вопрос: зачем вообще я нужен был ему на рыбалке? Напрашивается ответ: он считал меня своим другом. А для друга...

Раздел второй. ТВОРЧЕСТВО.

а) Капустники Дома актера...

Сколько бессонных молодежных ночей провели мы с Гришей под надзором незабвенного Александра Моисеевича Эскина в сгоревшем потом Доме актера, сочиняя «крамолу» застойной эпохи. Сколько аплодисментов заслужили от благодарной «элиты», скрывая за кулисами блистательного и скромного автора Горина (в те «жуткие» времена авторы еще не выходили вместо артистов на сцену).

б) Юбилей.

Сколько ночного телефонного нытья выслушал от меня Гриша с просьбой довернуть очередную старую шутку. Сколько он зарифмовал скетчей и тостов. Всю жизнь Гриша метался между мечтой оставаться самим собой и необходимостью обслуживать друзей. Часто это было несовместимо.

Только Театр сатиры:

1968 г. – пьеса «Банкет» (с А. Аркановым) для Марка Захарова.

1973 г. – пьеса «Маленькие комедии большого дома» (с А. Аркановым) для А. Миронова и А. Ширвиндта.

1974 г. – «Нам пятьдесят» (с А. Ширвиндтом). Обзорение к юбилею театра под давлением А. Ширвиндта, для А. Ширвиндта.

1976 г. – перевод с литовского пьесы К. Саи «Клеменс» (так как никто в стране, включая Гришу, литовского языка не знал, ему пришлось писать «Клеменс» своими словами).

1979 г. – пьеса «Феномены» для А. Миронова.

1982 г. – «Концерт для театра с оркестром» (с А. Ширвиндтом). Обзорение к юбилею создания Союза Советских Социалистических Республик. В момент написания в Доме творчества «Малеевка» Гриша от ужаса неоднократно выпрыгивал в окно, но я догонял и заставлял писать дальше.

1984 г. – «Прощай, конферансье!» для А. Миронова.

1997 г. – пьеса «Счастливец – Несчастливец» (к 60-летию М. Державина и примкнувшего А. Ширвиндта).

Гриша был человеком сильным, волевым и решительным. Жил и писал по совести и разумению. Труднее ему становилось, когда он натыкался на еще более сконцентрированную фигуру. Так, Марк Захаров заставил его переписать своими словами почти всю мировую классику.

Гриша долго и молодо работал и дружил с Аркадием Аркановым, потом они перешли в одиночный разряд, так как повзрослели, возмужали и переросли стадию коллективного труда. Это официальная и правильная версия, но, взглянув на распад этого удивительного дуэта из глубины дружеских веков, понимаешь, что два таких полюсных индивидуума никогда бы не смогли долго существовать. Когда космонавтов перед полетом мучают проверкой на совместимость, складывается ощущение, что эта проверка носит чисто физиологический характер. Когда два художника плотно и долго сидят друг против друга, очевидно, кроме попытки идентично преодолеть жизненную и творческую невесомость, возникает стихия изначальной разности, а тут уже недалеко и до раз-

дражения. А при раздражении не случается экстаза, а без экстаза ничего крупного не совершишь.

Они были очень разные. Арканов всегда считал, что Григорий фатальный везунец (или везунчик), а он глобальный «неперешник». Примеров этому он приводил тьму. Один, запомнившийся мне, несмотря на временную давность, следующий: «Шура, – говорил Арканов, – вот тебе простой пример... Зима. 30 градусов мороза. Ночь. Улица Воровского, Центральный дом литераторов. Я выхожу из ресторана и ловлю такси. Ловлю его десять минут, двадцать, тридцать, час. Превращаюсь в ледяной столб. Никто не останавливается, а если кто и останавливается, то я ему не по пути. Выходит Гриша, теплый и веселый, поднимает руку, откуда-то сваливается такси, и он уезжает. Так жить нельзя».

Эту фразу сказал писатель Арканов. За двадцать пять лет до кинофильма Говорухина под тем же названием. Не могу упрекнуть Говорухина в плагиате, поскольку при этом душещипательном рассказе он не присутствовал.

Наив и детскость Григория обескураживали всегда. Когда в Театре сатиры выпускался спектакль «Банкет», автором которого являлись Горин и Арканов, ситуация была крайне напряженная. Во-первых, острая пьеса. Во-вторых, спектакль ставит молодой Марк Захаров, а мощный главный режиссер должен это принять, понять степень риска для театра при сдаче МКК партии и степень опасности при варианте большого успеха, когда спектакль ставит не хозяин.

Итак, генеральная! Театр и труппа, как натянутая струна (это для образности), – все службы готовы, артисты на выходах, Плучек в зале, Захаров рядом с ним, на лице его написано, что «все семечки»... Нет автора! Автора нет в 11 часов (время начала прогона), нет в 11.30, нет в 11.40... Плучек обращается к половине автора в лице Арканова, сидящего с видом человека с улицы, случайно зашедшего перекурить в первое попавшееся на пути помещение, и сдержанно-размеренно спрашивает: «Горин, а где Арканов?» – «Я здесь», – отвечает за Гришу Аркаша, не солгав ни словом. (Валентин Николаевич Плучек, при своей уникальной памяти на лица,

события, стихи и даты, никогда не мог и в дальнейшем отличить Арканова от Горина, сначала стеснялся этого и пыхтел, потом сдался и при каждом следующем свидании с данными авторами – а они были представлены в судьбе Театра сатиры предостаточно – всегда якобы незаметно подзывал меня к себе и шепотом спрашивал, где кто.) Через час ожидания появился запыхавшийся Гриша и как ни в чем не бывало стал пробираться к креслу рядом с соавтором.

Но так просто не бывает. Плучек встал, попросил внимания у худсовета, сидящего в зале, и у незначительной публики из близких театру людей, которые приглашаются на черновые прогоны специально для того, чтобы зрительно поддержать точку зрения главного режиссера на данное произведение, и вылил на удивленного Гришу огромный ушат великих мыслей о театре вообще, об уважении к труду артиста и фигуре худрука, о невозможности после случившегося непредвзято смотреть на сцену, о великих предшественниках Горина в лице Бомарше, Толстого и Маяковского, которые в присутствии Плучека подобного себе не позволяли, и об относительности перспективы дальнейшего развития Горина как писателя и тем более драматурга. После этой пылкой и гневной получасовой тирады Валентин Николаевич спросил Горина в лоб: «Вот просто интересно, что вас могло задержать на целый час, если вы знали, что сегодня решается судьба вашего произведения? Где вы были?» На это Гриша, с наивным изумлением прослушав всю плучековскую тираду, обиженно произнес: «Как – где? Я был с женщиной».

Наступила секундная пауза, после чего моментально успокоившийся Плучек сказал: «А! Тогда извините!» И прогон спектакля начался, ибо Плучек, живой и экспансивный человек, тут же понял, что Гриша, юный и тогда еще неженатый, не врет и что на святое замахиваться нельзя даже во имя искусства.

Было время, когда Григорий с Аркадием проверяли на мне свои произведения. Помню трагический случай читки пьесы «Свадьба на всю Европу», впоследствии прошедшей по всем сценам тогдашнего СССР. Они оба очень волновались. Читка происходила в махонькой аркановской квартире в цоколе дома на Садовой-Са-

мотечной, что с левого плеча нынешнего Театра Образцова. Они волновались и, чтобы размягчить слушателя, то есть меня, влили в слушателя, то есть в меня, половину литра водки для расслабления и благожелательности. Читал после вливания Аркадий, а Гриша, сидя от меня в 30 см (вся аркановская кухня, где происходила читка, была не более трех метров), внимательно следил за моей смеховой реакцией. Реакция после пол-литра была недолгой, и я уснул к середине первого акта. В дальнейшем они читали мне без алкогольной подготовки.

Мы с Гришей вместе рыбачили, вместе курили трубки, вместе любили одних и тех же друзей, вместе прожили тридцать лет – это срок! Как-то Грише заказали в Кинофонде про меня брошюру, он с радостью согласился. Года два было ему не до нее, потом начальство в сто первый раз спросило Гришу: «Ну?» Он сказал, что сядет за это дело на днях. Прошло еще пара месяцев. Мы, стоя с Гришей на берегу Истры с удочками в руках, в очередной раз удивлялись отсутствию клева.

– Да, – вспомнил вдруг Гриша, – меня же мучают с этой книжечкой в Кинофонде. Все равно делать нечего, расскажи немного о себе.

В этом весь Гриша! Книжки обо мне он не написал, да и не надо. Лучше я напишу о нем.

Сегодня, когда уже нет сил наблюдать ожесточенную борьбу слабых сил, когда усталые радиосмельчаки в душных бункерах круглосуточной свободы настырно мучают население всевозможными радиоопросами типа:

Кто считает, что Пушкин – наше всё, звоните 2222222.

Кто считает, что Пушкин – наше не всё, звоните 2222223.

Кто затрудняется ответить, звоните 2222224, –

я затрудняюсь ответить, до какой степени пошлости этой свободы волеизъявления мы докатимся, и охватывает некоторая безысходная паника.

Что-то совсем одиноко. Так все безумно и бездумно ждали прихода нового века – какой-никакой, а аттракцион биографии – жил, мол, в двух веках. Родился в середине прошлого века. Как приятно произносить: «Помню, где-то в конце прошлого века...» А на поверку век этот прошлый оказался бессмысленно жестоким и беспринципным. Что он нам устроил? Какой баланс животного и смыслового существования предложил? Если заложить в компьютер (счастье, что я не умею им пользоваться) все параметры жизни нашего поколения, то картинка получится крайне неприглядная.

В какой-то хорошей сегодняшней книжке молодая героиня (и тоже сегодняшняя) брезгливо произносит, глядя на своих родителей, что она могла бы защитить диссертацию «Психологические особенности шестидесятников». Снисходительное отношение к этой цифре – 60 – как-то очень трагически-символично совпало с биографией страны и возрастом шестидесятников. Шестидесятники стройными рядами попытались вступить в новый, XXI век в 60-летних возрастах, и новый век многим – боюсь, что лучшим, – не дал визы. Что он, этот век-вундеркинд, задумал? Какую свежую катастрофу он начал фабриковать для своего преемника, XXII века? Никому не узнать. Но зачем же на этом экспериментальном старте убивать все талантливое и мощное, что существует?

Родину не выбирают! Родителей не выбирают – их ласково пережидают! Seriously выбирают только президентов и друзей. Первых – от безвыходности, вторых – по наитию.

Вспоминаю о Грише и все время думаю: кому и зачем я эти строки адресую? Потомкам? Уверен, что им нужнее будет классик Г. Горин, а не вздохи современников.

Сегодняшним? Да ну! Будут вожделенно ждать биографической «клубнички» от графоманов, по недосмотру не состоящих на психиатрическом учете.

Демонстрировать на бумаге стриптиз искренности для посторонних я не потяну – слишком лично, тонко, долго и непросто складывалась наша с Гришей история взаимоотношений. Спрятаться за привычную маску иронического цинизма недостает духу.

Со страшным ускорением уходят в небытие соученики, сослуживцы, друзья. Не хватает ни сил, ни слов, ни слез. Нечем заполнить вакуум единственной питательной среды – дружбы.

В 60-х годах (сколько можно употреблять эту цифру!) на перекрестке наших божественных передвижений молодой, но уже великий модельер Слава Зайцев, перехватив наш с Гришей завистливый взгляд на прошествовавшего мимо человека – «иномарку» дипломатического толка, участливо бросил: «Гриша! Набери материала, я создам тебе ансамбль – все ахнут». Не прошло и года, как мне позвонил взволнованный Гриша и сказал: «Свершилось! Идем в Дом литератора на премьеру костюма – я один боюсь». В переполненный пьяно-хвастливым гулом ресторан вошел я, а за мной в некоторой манекенной зажатости торжественно вплыл Гриша, неся на плечах и ногах стального цвета зайцевский шедевр. Мы остановились в дверях, ожидая аплодисментов, и в этот момент мимо нас, с незамысловатой поэтической закуской, прошмыгнул легендарный официант Адик, мельком зыркнул на Гришу и, потрепав свободной рукой лацкан шедевра, доброжелательно воскликнул: «О, рашен пошив!» Мы развернулись и больше этот костюм не демонстрировали.

Мы были тогда молоды и мечтали о хороших пиджаках, прямых петерсоновских трубках из настоящего бриара (для малограмотных: бриар – это корень вереска), о неинерционных спиннинговых катушках...

Все пришло! И что? Любочка Горина сказала: «Возьми Гришины пиджаки и трубки. Носи и кури, мне будет приятно». Я сначала испугался, потом подумал и взял. И вот хожу я в Гришином пиджаке, пыхчу его трубкой, и мне тепло и уютно.

АРКАДИЙ АРКАНОВ

Я иногда думаю: что меня так тянет к Аркану (Аркан – это кличка Аркадия) уже много-много лет? А «много лет» в переводе на русский – что-то около пятидесяти. Ну, во-первых, наверное, привычка и точное взаимное ощущение, что ничего лучше нам уже в этой жизни не повстречается, даже если бы и захотелось. Во-вторых же, хотя лучше бы это поставить во-первых, но теперь уже поздно (вот что значит редко писать – надо сначала думать, а потом бросаться к перу, а не наоборот), мы обладаем с ним сильным родственным качеством характера – мы не умеем резко и сразу сказать «нет!». Сколько бессмысленных глупостей и глупостей осмысленных совершили мы вместе и порознь из-за отсутствия этого качества. С годами стали мудрее, резче и категоричнее и доросли, довоспитали себя, или жизнь наломала из нас дров, и мы стали говорить ни да ни нет. Это предел нашего волевого надругательства над характером и индивидуальностью.

Позорно ли это и стыдно ли? Размышляя о жизни как своей, так и аркановской, думаю, что эта вялость имела и некоторые положительные аспекты в судьбе и творчестве, потому что при аркановском ультраоригинальном писательском и человеческом таланте только вечно висящее над ним «да!» побеждало титаническую, самозабвенную лень – бросало к письменному столу, эстраде, театру, друзьям. Из-за невозможности отказать появлялись удивительные монологи, редчайшие афоризмы, нежнейшие стихи, пикантные безделушки, очаровательные дети, рассказы бредбери-кафковско-го типа. Конечно, в ряду согласий бывали проколы грандиозной силы – по безумию ненужности и затратам времени, но думаю, что результат выведен жизнью со знаком плюс.

Мы с Аркадием писали, к примеру, для режиссера Арнольда – был такой цирковой Станиславский. Система оплаты авторского



Допустимое панибратство

труда в цирке отличается от театральной. Если драматург решил написать пьесу, взял аванс, потом еще, а потом у него ничего не получается, аванс остается. В цирке – по-другому. Их система – гениальное изобретение. Арнольд объяснил, какая нужна реприза. Мы написали, принесли. Он поблагодарил, а о деньгах молчит. Потом с этой репризой клоун Борис Вяткин выходит на арену. И вот если публика репризу приняла, на следующий день получите ваши деньги. А если в цирке тишина, то – извините, до другого раза.

Заработанное мы иногда тратили вместе, поскольку пороки и страсти по молодости у нас тоже были идентичные. Всех страстей не перечислишь, самая же губительная и дорогостоящая – это Московский государственный ипподром. Много позже, заходя на ипподром по большим праздникам – на Орловские дерби или в другие дни больших призов, – глядя уже дилетантским глазом на бешеные страсти вокруг бегового круга, где за одну милю дистанции возникают на трибунах сотни предынфарктных кардиограмм, я мысленно считал, сколько же прекрасных лошадей выкормил отборным овсом Аркадий Михайлович Арканов, сколько новых денников построили мы с ним в складчину для молодняка, играя (вернее, проигрывая) в течение многих лет на ипподроме.

ЗИНОВИЙ ГЕРДТ

В эпоху повсеместной победы дилетантизма всякое проявление высокого профессионализма выглядит архаичным и неправдоподобным. Гердт – пример воинствующего профессионала-универсала.

Я всегда думал, наблюдая за ним: «Кем бы Гердт был, не стань он артистом?» Не будь он артистом, он был бы гениальным плотником или хирургом. Гердтовские руки, держащие рубанок или топор, – умелые, сильные, мужские (вообще Гердт «в целом» очень похож на мужчину – археологическая редкость в голубой дымке нынешнего времени). Красивые гердтовские руки – руки мастера, руки артиста.

Не будь он артистом, был бы поэтом, потому что он – глубокая поэтическая натура. Не будь он артистом, он был бы замечательным эстрадным пародистом – тонким, доброжелательным, точным. Недаром из миллиона своих двойников Леонид Утесов выделял Гердта.

Не будь он пародистом, он был бы певцом или музыкантом. Абсолютный слух, редкое вокальное чутье и музыкальная эрудиция дали бы нам своего Азнавура, с той только разницей, что у Гердта был еще и хороший голос. Не будь он музыкантом, он стал бы писателем или журналистом: что бы ни писал Гердт – эстрадный монолог, чем он грешил в молодости, или журнальную статью, или текст для фильма, – это всегда было индивидуально, смело по жанровой стилистике.

Не будь он писателем, он мог бы стать великолепным телевизионным шоуменом. Не будь он шоуменом, он мог бы стать уникальным диктором-ведущим. Гердтовский закадровый голос – эталон этого еще малоизученного, но, несомненно, труднейшего вида искусства. Его голос не спутаешь ни с каким другим по тембру,

по интонации, по одному ему свойственной гердтовской иронии: наивный ли это мультфильм, или «Двенадцать стульев», или рассказ о жизни и бедах североморских котиков.

Не будь он артистом... Но он Артист! Артист, Богом данный, и слава этому Богу, что при всех профессиональных «совмещениях» бурной природы Зямы ему (Богу) было угодно отдать Гердта Мельпомене.

...Поехал Зяма как-то раз с творческими вечерами не то в Иркутск, не то во Владивосток. Было ему лет семьдесят пять (возраст в его жизни никогда ничего не означал, потому что он всегда был бодрый и поджарый). Возила его заместитель администратора, девочка лет восемнадцати. Она его возила по клубам, сараям, воинским частям, рыбхозам, где Зяма увлеченно и, стремясь увлечь, читал Пастернака, Заболоцкого и Самойлова, а люди, из уважения к нему, все это слушали выпучив глаза.

Потом Зяма над ними сжаливался и начинал рассказывать какие-то байки и анекдоты. Они успокаивались и смеялись от души. Когда артист ездит по стране с концертами, то у него есть какая-то болванка, на которую всегда нанизывается вся программа. Делается умный вид, и говорится: «Да, кстати, я вот только что вспомнил...» – хотя вспоминаешь «это» уже 30–40 лет подряд.

Зяма был среди нас, в данном случае – актеров эстрады, первым. Он так органично делал вид, будто «это» только что пришло в голову, что никаких подозрений не возникало. Он никогда не попадал в катастрофу, в которую рано или поздно попадает любой артист во время «чёса» (так раньше назывался график гастролей, когда в день нужно было играть три-четыре концерта). Помню, в городе Кургане на третьем представлении я в той же манере «да, кстати, я вот только что вспомнил...» начал рассказывать какую-то историю и вдруг, споткнувшись о подозрительную тишину в зале, с ужасом понял, что говорил это минут десять назад. А у меня-то ощущение, что я говорил это на прошлой встрече, часа три назад! Мозги-то не подключены... Ну, я, конечно, вывернулся, сказав: «Я вам сейчас показал, как бывает, когда артист «чешет»...»

С Зямой ничего подобного произойти не могло ни при каких обстоятельствах. У него была железная канва выступления, но каждый раз он рассказывал все с таким удовольствием, так свежо и азартно, что зрители действительно уходили от него с ощущением случайного, но очень задушевного разговора. Так вот, эта девочка, зам администратора, где-то на четвертый день гастролей сказала Зяме: «Вы знаете, Зиновий Ефимович, я вас так ужасно обожаю, что хочу выйти за вас замуж». На что Зяма ей ответил: «Деточка, это вопрос очень серьезный. Спонтанно он не решается. Во-первых, ты должна познакомить меня со своими родителями. Кто у тебя родители? (Далее следует ответ девочки, кто у нее родители, типа: папа – в порту, мама – экономист...) Во-вторых, ты должна сообщить им о своем намерении и все честно сказать – в кого, кто... Сколько папе лет? (Следует ответ, сколько папе лет.) Ну так вот, обязательно скажи, что твой жених (пауза)... в два раза старше папы».

Этот случай для Зямы типичен, потому что влюблялись в него глобально. Как он это делал? Зяма не делал для этого ни-че-го.

...В Мировом океане существует закон, сформулированный людьми как «запах сильной рыбы». Выражается он технически очень просто: тихая, штилевая, солнечная, невинно-первозданная гладь Мирового океана – сытые акулы, уставшие пираньи, разряженные электроскаты, растаявшие айсберги, – вдруг, казалось бы, ни с того ни с сего все приходит в волнение. Это где-то, может, вне черты оседаемой оседлости, появилась сильная рыба, даже не она сама, а только ее запах. И идиотская безмятежность Мирового океана моментально нарушается.

Магнетизм исходил от Гердта постоянно, и это свойство – не актерское.

Я всегда поражался и завидовал людям, которым не надо учить стихи. Зяма, Саша Володин, Миша Козаков, Эльдар Рязанов... – они стихи не учили. Они просто читали их и впитывали. Мгновенно. Как поэты. Прочли и впитали.

Поэтому их поэтическая эрудиция была грандиозной. Они даже играли в такую игру: один читает пару строк, другой дол-

жен продолжить – кто первый запнется. Я не могу сказать, что мало прочел в этой жизни, но чтобы столько запомнить! Столько?! Мне это просто не под силу. А сколько Зяма учил текста, находясь уже в преклонном возрасте. Это же немыслимо! Мефистофель в «Фаусте» у Козакова... А Фейербах у Валеры Фокина – там же бездна текста и какой сложный слог! Но Зяма был королем. Он был просто недосыгаем.

А вот так задуматься... Война, ранение, роковая ущербность. Существование долгие годы за ширмой Театра кукол, похожее на затянувшееся затмение. Потом постепенно, потихонечку, через голос, через тембр, через талант он вырвался из-за этой тряпки. Для того чтобы пройти такой путь и потом выйти на такие вершины мастерства, я убежден, необходимы большое мужество и нормальное человеческое честолюбие.

Зяма всегда знал, что он собой представляет, как выглядит, как соотносится со всем остальным и со всеми остальными в каждый момент своего существования. В нем было достаточно *нужного* тщеславия.

Вот Зяма сидит за столом. Гости. Он царит. В любом застолье он занимал свою нишу. Он затихал внутренне и созерцал, наслаждался разговором, рассматривал людей как диковинку.

Вокруг него всегда были люди соревновательные. Он приобретал их, словно выигрывая на аукционе. И радовался потом своим приобретениям, как ребенок. Он умел любоваться людьми. Слушать их и просто любоваться.

Есть актеры, как, например, покойный Папанов, которые носят огромные черные очки, кепку до бровей, чтобы ни-ни, никто не узнал и не приставал с автографами. А есть люди, которые стоят открытыми и голыми и ждут: когда же их заметят?.. когда набегут?.. Этакая паническая жажда популярности...

Зяма искал не того, кто будет просить у него автограф, не того, кто будет хлопать ресницами и повторять: «Смотрите, живой Гердт!..» – нет. Он искал новую аудиторию. Мог устать от нее через секунду, потерять интерес. Но все равно шел к людям сам, в надежде на неслыханное...

Звонит Зяма: «Все! Срочно берем жен, детей – по машинам, и поехали». Нижняя Эшера. Недалеко от Сухуми. Красота невообразимая... У нас с женой и сыном какой-то сарай. Зяме с Таней и Катей досталось подобное жилье с комнатой чуть побольше.

Над кроватью Зямы – огромный портрет Сталина, вытканый на ковре, правда, Таня его завесила занавесочкой. И вот такая картина: невероятных размеров завешенный Сталин, а под ним – маленькое тело Зямы, испытывающего давнюю «любовь» к этой фигуре... А фамилия хозяина дома, где жил Зяма, как сейчас помню, была Липартия. Так что Зяма жил у Партии, под Сталиным.

Море было недалеко. Но для того чтобы до него дойти, требовались и силы, и нервы, поскольку дорога представляла собой россыпь из булыжников, гольшей и маленьких острых камешков. Это сейчас придумали шлепанцы и сандалии на толстой и мягкой подошве, а тогда... Но Зямин оптимизм побеждал. «Никаких курортов и санаториев! Только чистая природа, дикие хозяева и молодое вино...» В первую же ночь мы поняли, что через нас проходит железная дорога. Это было волшебно: каждую ночь мы тряслись в поезде, и нас увозило из этого села то на юг, то на север. Но каждое утро мы просыпались опять в Нижней Эшере...

На заре советской автомобильной эры все мы, естественно, мечтали купить машину. А это по тем временам являлось дикой проблемой. Нужно было ходить, подписывать бумажки, чтобы тебя поставили в очередь.

Для покупки «Жигулей» приходилось на протяжении месяца ежедневно отмечаться на пустыре под городом Химки. Один прогул – и вылетаешь из списка. Зяма Гердт, Андрюша Миронов и я создали команду для дежурств. Когда выпала моя очередь и я посмотрел на собравшуюся в Химках публику, то, заподозрив неладное, позвонил Гердту: «Зяма, это не запись на «Жигули». Это перепись евреев!»

В Южном порту находилась автомобильная комиссионка. Она делилась на несколько отсеков. Первый – для простых очередников, алчущих четыре года дряблого «Москвича». Второй содержал в себе «Волги», на которых уже не в силах были ездить сотрудни-

ки посольств и дипкорпуса. А дальше, в самом конце, размещался третий отсек, представлявший собой маленький загончик, где стояли машины, доступ к которым имели только дети политбюровских шишек и космонавты. Там стояли (как тогда говорили с придыханием) иномарки.

Большинство нормальных советских людей вообще не знало, что это такое. Зямина пижонская мечта была – добраться до заветного третьего отсека. Пройдя все кордоны и заслоны, собрав целую папку бумаг и подписав ее у очередного управленческого мурла, Зяма таки получил смотровой талон в третий отсек. По этому талону можно было в течение двух недель ходить туда и смотреть на иномарки – в ожидании новых поступлений. Но если ты за две недели так и не решился купить что-то из предложенного, то время действия талона просто истекло и право посещения смотровой свалки аннулировалось. Поэтому была страшная нервотрепка. Зяма, похаживая туда дней двенадцать, занервничал.

Звонит мне оттуда: «Все... Я ждать больше не могу. Я решил – покупаю «вольво»-фургон». Я ему: «Зяма, опомнись, какого машина года?» Он мне: «Думаю, 1726-го...» (Ей было лет двадцать.) – «Ну хоть на ходу?» – «Да, все в порядке, она на ходу, только здесь есть один нюанс... Она с правым рулем». Я столбенею, представляя Зяму с правым рулем, но не успеваю представить до конца, потому как слышу из трубки: «Приезжай, я не знаю, как на ней ездить».

Я приперся туда. Вижу огромную несвежую бандуру. И руль справа. «Давай, садись!» – бодро говорит мне Зяма, подталкивая меня к водителскому месту. Я, изо всех сил преодолевая довольно неприятные ощущения (ну, всю жизнь проехать за левым рулем, а тут!), сел за этот самый правый руль, и мы понеслись. С меня сошло семь потов, пока мы добрались до дома, потому что в машине был еще один нюанс: она стала сыпаться, как только мы выехали за ворота. В общем, когда мы добрались до улицы Телевидения, где тогда жили Зяма с Таней, она рассыпалась окончательно...

И стали мы все вместе ее чинить. А там каждый винтик нужно было либо кланчить в УПДК – Управлении по обслуживанию дипломатического корпуса – и покупать в четыре цены, либо заказывать тем, кто едет за границу (где таких машин уже просто никто

не помнит), записав на листочке марку, модель, точное название детали и так далее. Но все-таки Зяма упорно на ней ездил.

Зямина езда на этой «вольве-Антилопе-гну» подарила мне несколько дней «болдинской осени». Осенью Зяма немножечко зацепил своей «вольвой» какого-то загородного пешехода. Пешеход почему-то оказался недостаточно пьян, чтобы быть целиком виновным. Нависли угроза лишения водительских прав и всякие другие неприятные автомобильные санкции. Мы с Зямой взяли за руки и поехали по местам дислокации милицейских чиновников, где шутили, поили, обещали и клялись. Но размер проступка был выше возможностей посещаемых нами гаишников. Так мы добрались наконец до мощной грузинской дамы, полковника милиции, начальницы всей пропаганды вместе с агитацией советской ГАИ. Приняла она нас сурово. Ручку поцеловать не далась. Выслушала мольбы и шутки и, не улыбнувшись, сказала: «Значит, так: сочиняйте два-три стихотворных плаката к месячнику безопасности движения. Если понравится – будем с вами... что-нибудь думать».

Милицейская «болдинская осень» была очень трудной. В голову лезли мысли и рифмы из неноменклатурной лексики. Но с гордостью могу сообщить читателям, что на 27-м километре Минского шоссе несколько лет стоял (стоял на плакате, разумеется) пятиметровый идиот с поднятой вверх дланью, в которую (в эту длань) были врисованы огромные водительские права. А между его широко расставленных ног красовался наш с Зямой поэтический шедевр:

Любому предъявить я рад
Талон свой недырявый,
Не занимаю левый ряд,
Когда свободен правый!

Это все, что было отобрано для практического осуществления на трассах из 15–20 заготовок типа:

Зачем ты делаешь наезд
В период, когда идет
Судьбоносный, исторический
24-й партийный съезд?

Настали иные судьбоносные времена. В 90-е экспансивный и впечатлительный Зяма Гердт удрал из больницы, чтобы поддержать президента в телемарафоне. На подступах к Дому кинематографистов его окружила толпа сторонников другого лагеря, и сорокалетняя женщина кричала ему: «Куда вы идете? Там же одно жидовье!»

И семидесятипятилетний Гердт, который получил увечья на войне, защищая будущее этой твари, и сбежал из больничной палаты, чтобы защитить ее еще раз, со слезами на глазах рассказывал об этом с экрана. Бедный Зяма!

Не желаю быть циником, но где уверенность, что, если бы Гердт вдруг стал пробиваться на марафон в защиту противоположного лагеря через толпу сторонников президента, он не услышал бы аналогичное «жидовье» из уст своих единомышленников? «Среди гнилых яблок выбора быть не может», – гласит старинная русская мудрость. Гнили тогда накопилось столько, что воздух перемен, попавший в наш подпол, активизировал процесс гниения и выдул вековой смрад наружу.

У Тани Гердт фамилия не Гердт. У Тани Гердт фамилия – Правда. Не псевдоним, а настоящая фамилия, от папы. Трудно поверить, что в наше время можно носить фамилию из фонвизинского «Недоросля», где все персонажи – Стародум, Митрофанушка, Правдин... – стали нарицательными. Наричательная стоимость Таниной фамилии стопроцентна.

Таня не умеет врать и прикидываться. Она честна и принципиальна до пугающей наивности. Она умна, хозяйственна, начальственна, нежна и властолюбива. Она необыкновенно сильная.

С ее появлением в жизни Зямы возникли железная основа и каменная стена. За нее можно было спрятаться... Такой разбросанный и темпераментный, эмоционально увлекающийся человек, как Зяма, должен был всегда срочно «возвращаться на базу» и падать к Таниным ногам. Что он и делал всю жизнь.

Таня – гениальная дама, она подарила нам последние 15 лет Зяминой жизни...

Зяма всегда и все делал очень аппетитно. Когда я видел, как он ест, мне сразу же хотелось есть. Он никогда не «перехватывал» в театре, между репетициями или во время спектакля. Все ели, потому что были голодны, а он терпел и ехал домой на обед или ужин.

Он всегда замечательно одевался. Носил вещи потрясающе элегантно. Он никогда не раздумывал над покупкой, он просто очень хорошо знал, во что ему положить тело. И хромота у него была такая, которая вовсе не читалась как хромота. Он не хромал, а нес тело. Нес, как через «лежащего полицейского», через которого нужно переехать медленно...

Зяма был дико рукастый. Всю столярку на даче он всегда делал сам. А на отдыхе, у палаток, скамейку, стол, лавку, табуретку сбивал за одну секунду.

Как-то у себя в деревне под Тверью я пытался построить сортирный стул, чтобы под тобой было не зияющее «очко», а как у цивилизованных людей. Я мучился, наверное, двое суток. И когда забил последний гвоздь, понял, что прибил этот несчастный стульчак со стороны ножек табуретки, – вся семья была в истерике. И я вспомнил Зяму. Он бы соорудил за две минуты самый красивый и удобный уличный сортир в подлунном мире. Он сделал бы трон.

БУЛАТ ОКУДЖАВА

Добрые слова надо писать ранним утром – к вечеру начинаешь сомневаться в их искренности. В нашей молодости было много ведомственных здравниц. Союзу архитекторов, например, принадлежал знаменитый дом отдыха «Суханово». Мы поехали туда на Новый год и получили путевки. В них было написано: «Белоусова Наталия Николаевна, член Союза архитекторов, и Ширвиндт Александр Анатольевич, муж члена».

В процессе взросления и старения отдыхательные позывы становятся антитусовочными. Тянет под куст с минимальным окружением. Много мы пошастали уютной компанией по так называемым «лагерям Дома ученых». Ученым, в отличие от артистов, необязательно отдыхать на глазах восторженной публики. Они придумали свои лагеря на все вкусы: Черное море – Крайний Север – крутые горы – тихие озера и быстрые реки... Природа – разная, быт – одинаково суровый: палатки, столовка на самообслуживании, нужда под деревом... Гердты, Никитины, Окуджавы и мы были допущены в эти лагеря для «прослойки» и из любви.

Обычно наша компания пробивалась на турбазы не скопом, а индивидуально. Чтобы не потеряться, перебрасывались почтовыми посланиями. Например, поселок Встренча, турбаза. Мы с моей женой Татой незамысловато сообщаем, что «место Встренчи изменить нельзя». И получаем от Оли и Булата намного изысканнее:

Радость Встренчи, боль утраты –
Все прошло с открыткой Таты.
На открытку я гляжу
И в палатку захожу.
С ней под толстым одеялом
Вместо грелки я лежу.

Если Окуджавы и Зяма с Таней Гердты приезжали раньше, то тут же телеграфировали:

Мы такие с Таней дуры –
Невзирая на Булата,
Вместо чтобы шуры-муры,
Все мечтаем Шуры-Таты.

Чтобы не сбиться с маршрута, телеграфировали друг другу прямо с трассы.

Окуджава – нам:

Прекратите этих штук –
Мы почти Великих Лук.
Проезжая стольный град,
Будем видеть очень рад.

Я – им:

И от нас большой привет.
Все разъехались по свет.
Миша – Ялта, Таты – нет.
Шура пишет вам ответ,
Завернувшись Зямы в плед.
На подробность денег нет.

На турбазах были строжайшие правила пребывания. Собак и детей – ни-ни. Наша чистейшая полукровка Антон и изящнейшая окуджавская пуделиха Тяпа жили полнейшими нелегалами и вынуждены были дружить и переписываться, в смысле сочинять послания.

Украинское село Ахтырка – Антону Ширвиндту:

По дороге на Хухры,
Там, где ямы и бугры,
Наши рожи от разлуки
И печальны и мокры.

Ваша Тяпа

При этом хозяева все время мечтали о мясе. Шашлык был по ведомству единственного лица кавказской национальности в нашей лагерности – Булата. В процессе подготовки – священно-

действия – к нему лучше было не подходить и не раздражать его местечковыми советами. Он сам ехал к аборигенам, сам выбирал барана – уже не помню, но очень важно, чтобы баран был то ли недавно зачем-то кастрированный, то ли вообще скопец от рождения.

Наконец Булат говорил, что баран отобран, зовут (вернее, звали) его Эдик и вечером тело Эдика привезут. Разделывать будем сами, под его руководством.

Аборигены привезли Эдика и подозрительно быстро слиняли. Полночи разделывали Эдика – он разделываться не желал: кости и кожа составляли всю съедобную массу старого кастрата. И Булат сказал, что мы ни черта не умеем и наша участь – сушить с бабами грибы.

Постоянно придумывали что-то – не как всегда и везде. Вдруг узнаю: юбилей Булата празднуется в Суздале, а у меня – спектакль. Пользуясь привычной формой общения, посылаю телеграмму:

Стрелой, копьем, булатом ржавым
Отмстим судьбы помехам рьяным,
Не давшим нам в порыве пьяном
Обнять родного Окуджаву.

А когда я в очередной раз спрятался от своей круглой даты на берегу Валдая, то получил весточку от Булата:

Прими, брат, поздравленья от нашего двора,
Не поминай с тоской житейские излишки.
Шестидесятилетие – счастливая пора.
Мне ведомо о том, увы, не понаслышке.
Поскольку наш поэт вам сочинил куплет,
А песен в вашу честь, что мы слагаем сами,
Сегодня и не счесть, позвольте, ваша честь,
Обнять ваш силуэт и любоваться вами.

Друзьями надо заниматься постоянно. Их надо хотеть и нельзя разочаровывать. Их надо веселить, кормить и одаривать.

АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН

Саша Володин особенно дорог мне потому, что он всегда считал меня хорошим человеком. У меня было много друзей (ну, много друзей не бывает, но для общего лимита друзей на одну душу населения у меня было много – пока не начали умирать). Друзья мои относились ко мне вполне доброжелательно, и даже любили, и даже иногда говорили об этом стыдливо. Единственный, кто не постеснялся очень давно сказать, что я хороший человек, был Саша Володин. Смелый, яркий и мужественный поступок. На его кухне в Ленинграде даже висел плакат-воззвание: «Шура – идеал человека!» Этот лозунг, где вместо Маркса, Ленина, Пастернака был обозначен я, являл собой открытую гражданственность и цельность хозяина кухни.

Маленький (тогда) сын Володина, пробивающийся к истокам российской словесности, читал этот призыв по слогам и с удивлением спрашивал папу: а почему Шура – и делал человека?

Саша всю жизнь обожал кофейный ликер. Сладкая такая торозная жидкость «победовская», но пахнущая кофе. В Питере его почему-то не продавали. И я ему из Москвы таскал этот ликер. Прямо из «Красной стрелы» – к нему, и в 8.30 утра мы уже завтракали «Кофейным». А потом, когда он и здесь кончился, мне его выдавали в силу узнаваемости лица из каких-то старых запасников. И вот где-то за полгода до Сашиной смерти я попал в Питер – и, как всегда, с поезда – к нему с бутылкой ликера. Саша плохо себя чувствовал, но все-таки мы сели традиционно цедить этот продукт.

– Я, – говорит, – к твоему приходу написал четверостишие: «Проснулся и выпил немного –/ Теперь просыпаться и пить./ Дорога простерлась полого,/ Недолго осталось иттить».

Он жил трудно и счастливо, потому что никогда и нигде не изменял самому себе.

СЕРГЕЙ АРЦИБАШЕВ

Безвольно обожаю людей, которые меня любят. Какое-то извращение по теперешним стандартам. Сегодня настоящую страсть вызывают только враги или, на худой конец, оппоненты.

Очевидно, я крайне старомоден. Так как я атавистически древней половой ориентации, то моя тяга к Арцибашеву не окрашена физиологией. Он, насколько я знаю, тоже упорно и успешно проповедует древние каноны разнополых взаимоотношений. Так что, отбросив этот повод нашей дружбы (а я льщу себя надеждой, что мы друзья), вынужден искать иную причину своей глубокой симпатии.

Мое поколение имело четкое представление о том, что человечество делится на положительных и отрицательных героев. Поло-



Опасная мизансцена

жительные – молчаливы, непьющи и любят Родину в любом ее качестве на данный момент. Отрицательные пьют, меняют женщин и сомневаются в качестве Родины.

А если все не так просто? А куда девать индивидуальность, характер, талант и ум? Куда прятать Пушкина, который говорил, что он жертва Бахуса и Венеры, и, если верить его «донжуанскому списку», знал более сотни женщин?

На мой взгляд, главное, что формирует личность, – это внутреннее сопротивление.

Спротивляемость творческого организма – единственный способ выживания.

Упертость и упрямство – не одно и то же, хотя, конечно, идут рука об руку. Эстетические театральные симпатии Сережи не взяты с потолка, а созрели изнутри.

Я очень редко хожу в «чужие» театры. Боюсь, может что-то понравится и начнешь страдать, а идти и вождельно радоваться чужому провалу я стесняюсь. Хожу я на все премьеры Марка Захарова (по давней дружбе и некоторой уверенности, что все равно будет чем, не краснея, восторгаться) и в Театр на Покровке.

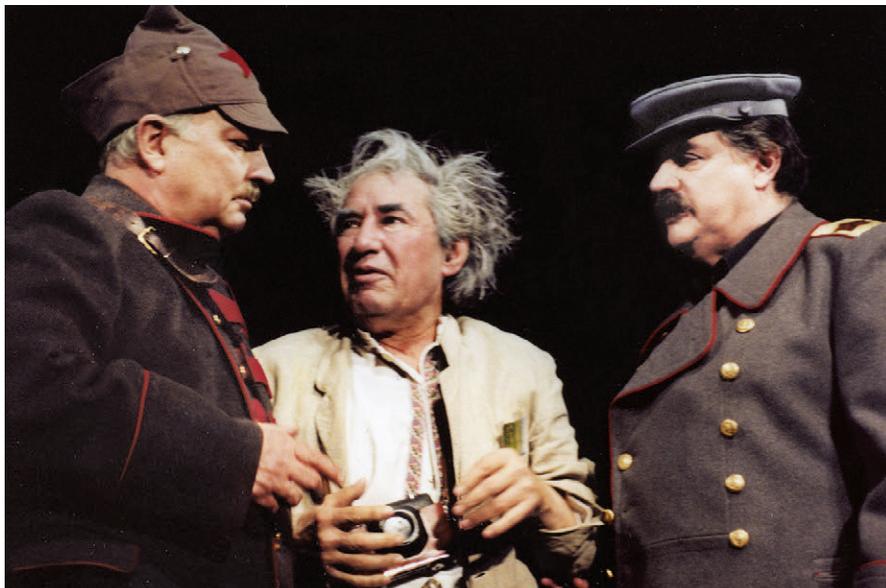
Первый раз я пришел на «Женитьбу» и сразу окупился в атмосферу уюта и домашности.

Помню, перед спектаклем вышел режиссер-постановщик в черном костюме и белых ботинках и бархатным голосом фрагментарно рассказал содержание пьесы, очевидно учитывая неоднозначный интеллектуальный состав аудитории. Потом все-таки стали играть.

Но играть не стали, а стали существовать. И это поразительное существование, при котором вранья боятся, как ящера, сопровождало все спектакли Покровки, какие я смотрел.

Мне фантазируется, что Покровка создавалась Арцибашевым как некий театральный Ноев ковчег, который он скрупулезно строил вместе со своими Симами, Хамами и Иафетами, их женами и всякой другой живностью, чтобы в день окончательного театрального потопа попросить Бога замуровать двери и уплыть.

Но потоп никого не смутил, и соседние театральные Хамы прекрасно держатся на плаву в бушующем океане вседозволенности и всеядности.



«Счастливец – Несчастливцев»

Зачем Арцибашев пришел в Театр сатиры?

Зачем вылез из ковчега? Очевидно, пространственная келейность его уютной площадки дала импульс некоторой сценической клаустрофобии и побудила погулять на больших аренах. Сходились трудно, осторожно, с его стороны – даже брезгливо.

Гриша Горин переписывал свое произведение «Счастливец – Несчастливцев», на постановку которого и был спровоцирован Сергей Николаевич, по несколько раз в день. Артисты Театра сатиры, привыкшие обслуживать каждодневно 1200 зрителей, никак не могли понять, почему надо смотреть на сцене друг на друга и разговаривать по-человечески, а постановщик не знал, на что употребить такое количество квадратных метров сцены...

Пока пришли к этому гадкому слову «консенсус», много было криков, упреков и драм. Не нам судить о результатах – один результат налицо: не подрались, не рассорились, на кое-что друг другу даже открыли глаза и, более того, встретились снова. Встретились на спектакле по пьесе Ануя «Орнифль, или Сквозной ветерок».

В этой пьесе персонаж, которого я пытаюсь сценически воплотить, произносит: «Удивительная вещь – симпатия». Я по привыч-

ке заглянул в словарь Даля и вычитал: «Симпатия – беспричинное, интуитивное влечение к кому-то или чему-то...» Тогда я добрал до «интуиции». Она, оказывается, «непосредственное постижение истины без предварительного логического рассуждения».

Значит, я люблю Сережу беспричинно и без предварительного рассуждения. Надеюсь на взаимность. В работе это очень опасно, так как снижает планку требовательности, но авось пронесет.

Жизнь оказалась очень короткой, и всяческих «вех» в ней – считанные метры.

Арцибашев у меня – веха.

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА И БОРИС МЕССЕРЕР

Это была удивительная пара: она – живой гений, он – муж, брат, нянька, поклонник, цербер и академик. И все это под одной крышей.

Нельзя совмещать дружбу со службой. Сколько замечательных театральных работ за плечами Мессерера. И сколько вынужденных с его стороны наших совместных свершений.

Началось это со спектакля «Маленькие комедии большого дома», когда мы с Мироновым, получив от Плучека благословение на постановку, тут же ринулись за помощью к друзьям, и в первую очередь, конечно, к Мессереру. Он прочел пьесу, вздохнул и уныло согласился.

Чем ближе подходил репетиционный финиш, тем катастрофичнее выглядела ситуация с оформлением. Мессерер ныл, просил прощенья, говорил, что не может переступить через собственное «я» и воздвигнуть на сцене советскую новостройку, ибо сам – из архитекторов и не понаслышке знает, что это такое.

Мы с Андреем бились в истерике и за несколько дней до срока сдачи макета художественному совету связали Мессерера и потащили его на строительную выставку на Фрунзенской набережной, внутри которой в холодной безлюдности стояли скелеты достижений советского градостроения.

Дальше события развивались так: Андрюша встал на стреме, обрушив всю мощь своего обаяния на древнюю старушку-смотрительницу, а мы с академиком судорожно отрывали от пьедестала макет блочной многоэтажной башни.

Расчленив макет на составные и засунув блоки под рубашки и в брюки, мы мигнули подельнику и, чинно полемизируя о судьбах советской архитектуры, вынесли экспонат на волю.

Это было лет сорок тому назад, но думаю, что до сих пор никто не хватился этого шедевра.

Так как художественный совет театра не подозревал о существовании выставки, макет, наспех склеенный Мессерером, был благосклонно принят руководством, и через некоторое время башня уже торчала на сцене театра и имела вполне большой зрительский успех вместе со спектаклем.

Но черт с ним, с творчеством. Дружить с Борей необходимо, но трудно. Когда он встревожен, он совершенно теряет чувство юмора, к счастью ненадолго, хотя встревожен он часто.

Белла была непредсказуемой. Самобытная внешняя красота и высокий талант редко совместимы, как хрестоматийные гений и злодейство. В этом контексте всегда вспоминают прекраснейшую Анну Андреевну Ахматову. Но наша лучше.

В компьютерную эпоху она писала письма, причем авторучкой. Письма эти – наглядный пример изящной эпистолярной словесности.



Вернисаж

Однажды я получил от нее письмо из Боткинской больницы:

Мой дорогой, прекрасный Шура! Зная твое великодушие, обращаюсь к тебе с причудливой просьбой, обещая впредь исполнять любые твои желания, прихоти и капризы, даже если они будут загадочнее моего послания. Но тебе во мне – какая нужда, а твое величественное и многославное обаяние влияет если не на самого доктора Боткина, то на угодья его больницы – несомненно, о прочих жертвах твоего образа и говорить излишне. Нижайше прошу: перепиши своей рукой посылаемый мною текст, приложи к нему любую твою фотографию с надписью: «Андрею – привет и пожелание наилучших успехов». Сему Андрею – пятнадцать лет, а мама его – мой любимый лечащий врач, под чьей нежной опекой я совершенствую несвежее здоровье, в оставшееся время пописывая множество вздора, составившего две новые книжки.

Она была сердобольна и отзывчива. Любила только тех, кого любила. Ах, если бы записать все эпитеты, которыми награждала Беллочку покойная подруга моей мамы Анастасия Ивановна Цветаева!

Белла была монументально смела и стойка. Впечатление наивной беззащитности, воздушности и отрешенности от повседневности усугубляла точность хладнокровно-безжалостных и подчас убийственных оценок. Так, например, рассуждая об опасности грядущего, она вздыхала: «Чтоб в нашу безответную посмертность пытливо не проник Виталий Вульф».

Или, когда генерал Лебедь стал губернатором, она горестно произнесла: «Бедный Лебедь! Теперь ему предстоит пройти путь от Одетты до Одиллии».

Я люблю их нежно. Борю вижу редко, так как он все время обижается, и поэтому любовь у нас, как мое сердце, – с перебоями.

СВЯТОСЛАВ ФЕДОРОВ

Эрнст Неизвестный как-то заметил, что если мощность накала лампочки принято измерять в ваттах, то мощность таланта следует измерять в «моцартах».

Надо успеть сказать слова о Моцартах, ушедших из жизни. Из моей, из жизни народа этой подозрительно сальериевской эпохи...

Слава Федоров... Что это за инопланетянин, посетивший наш сдувающийся земной шарик? Сел писать и начал фантазировать... Предположим, я незнаком с Федоровым. Не знаю, кто он и чем занимается. Мы с женой случайно свалились ему и Ирэн на голову из виртуальной действительности. И они нас гостеприимно пригласили к себе в Славино.

Дальше документально. На развилке Дмитровского шоссе и какой-то полуасфальтированной дороги нашу машину поджидает, чтобы мы не заблудились, серебристый «мерседес». В нем, на переднем сиденье, – просто невероятная красавица лоллобриджидовского типа, а за рулем – плотно сбитый мужчина с ежиком волос, как будто специально выращенным под цвет «мерседеса». Разворот... и машина улетает со скоростью 140 километров в час. Ну и ас у нее в водителях!

Подкатив к усадьбе, моментально попадаем к накрытому на веранде столу с натуральной водой, натуральной закуской и абсолютно натуральной водкой. «Водитель» выпивает с гостем, и гость понимает, что функции первого шоферской профессией не ограничиваются.

«В путь!» – говорит хозяйка, и «водитель» выкатывает из гаража свежий 750-кубовый мотоцикл. Красавица садится позади в седло, и с той же мерседесовской скоростью мы мчимся по шикарным «троекуровским» владениям.

«Ага! – догадывается гость. – Это ее экспериментальное помещицье хозяйство, а мотоциклист – управляющий».

Домчались до молокозавода. Выбегают белокрахмальные дамы со свежим творогом, сметаной, молоком, дают с собой. На горизонте в стиле Коро вырисовывается ухоженное стадо коров. Крахмальные дамы, провожая нас, кланяются «мотоциклисту» в пояс. «Крепостные, – думает гость. – Хотя нет, общаются вольно, смотрят влюбленно и искренне».

Подъезжает «газик» с тремя офицерами. Они выходят, отдают честь «управляющему», благодарят за что-то, о чем-то просят. «Охрана, – почти уверен приезжий. – А может, и подшефная воинская часть».

Едем дальше. Шикарная конюшня: мудрые, немолодые, но чистейших кровей лошади. Многих из них гость – в прошлом завсегдай ипподрома – узнает в лицо. Они его нет.

«Управляющий» показывает своего любимого коня. «Так это конюх!» – догадывается гость. Нет, опять не угадал.

Дальше движемся по коттеджному поселку, где интеллигентные местные жители копаются в приусадебных грядках. Все в пояс кланяются «конюху» и машут красавице рукой.

Фантасмагория продолжается: милый священник около уютной церквушки кланяется «мотоциклисту» как самому патриарху. Огромный гостинично-бильярдный комплекс, где идут строительные работы, замирает при подъезде нашей кавалькады. Вертолетная площадка, и вот мы уже взмываем над водохранилищем, и «мотоциклист-вертолетчик» показывает владения с высоты птичьего полета.

А тихим вечером он потчует гостей в уютной беседке на берегу. Где-то вдали земснаряд чистит дно водохранилища, шкварчат на огне только-только выловленные карпы. Водка по-прежнему хороша, мягко струится свет с телеэкрана, а «мотоциклист» внимательно и очень по-детски, – очевидно, в сотый раз – смотрит видеофильм о микрохирургии глаза, иногда поглядывая на реакцию гостей. «Ах! – восклицает виртуальный гость. – А «мотоциклист»-то еще и глазной хирург!»

Сам я знаю о проблемах, которые может доставить болезнь глаз, не понаслышке. Поскольку моя мать провела долгие годы

в полной слепоте, слово «глаз» для меня связано с какой-то мистической неприкосновенностью и опасностью. Близко к нашим глазам, как и к душе, можно допускать только гениев, обладающих, наверное, таким титаническим талантом и темпераментом, каким обладал Слава... Мать, к сожалению, не дожидая до операции у Славы. Да и я не смог воспользоваться его приказом: «Приходи ко мне, будешь жить без очков».

ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО

Поколение уходит. Снаряды рвутся рядом. Еще одно страшное «попадание» – Людмила Гурченко.

При всем моем вялом характере и при ее упертости и максимализме мы умудрились с ней за 52 года общения ни разу не поссориться. Хотя ее внимание к коллегам, друзьям, родственникам было обостренно щепетильным.

Мы чего только не делали: в кино снимались, в театре играли, на эстраде и на телевидении все время крутились. Она лидерствовала всегда и во всем. И в случае со мной, в частности. Во-первых, я ей не мог никогда ни в чем отказать. А во-вторых, я ее слушался. Когда мы снимались в Питере в фильме «Аплодисменты, аплодисменты», ей не понравилось, что у меня не голливудские зубы, и она заставила меня поехать на «Мосфильм», где мне дней пять делали бутафорскую челюсть. В итоге мне воткнули эту страшную белозубую пасть, я, несчастный, приехал в Питер. «Люс-ся, я с-сказать ничего не могу». Она: «Но как красиво!» – «Что крас-сиво? Что крас-сиво?» Вот это ее силища.

Люся – из тех немногих киноактрис, которые прекрасно работали и в театре. Она была блистательная театральная актриса и в кино могла делать все что угодно. Все, что мы с ней играли в кино, на телевидении, было элементом импровизации, придумок на ходу. Это создавало воздух.

Я не смог ей отказать и когда она пригласила меня в свою картину «Пестрые сумерки». Это последняя ее работа. Увлечшись судьбой слепого мальчика, пианиста, она решила снять фильм. Люся просуществовала во всех возможных ипостасях: она написала музыку, она практически автор сценария и сорежиссер и она главная героиня. Она не была, кажется, только оператором. И то участвовала. Ей захотелось все это попробовать.



Только дружба

Люся была актриса универсальная – драматическая и архихарактерная. Пластика, движение. Патологическая музыкальность. Все составляющие комплекса полноценности актерской в ней присутствовали. Если проследить ее биографию, это какие же перепады – от искрометных водевилей до германовских картин.

Какая-то жуткая мистическая символика: умерла Элизабет Тейлор и буквально через неделю Люся Гурченко. Люся ее очень любила. Мне кажется, был даже некий элемент идентичности их судеб.

ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ

Я давно знаю и очень люблю Эльдара Александровича Рязанова. Меня к нему тянет, хотя он часто ворчит, что я небрежен в дружеских чувствах. Его очень много, но вес его – это не толщина, а масса: масса энергии, масса гемоглобина, масса различного таланта. Он всегда был подвижен, пластичен, легок на подъем, он, не поверите, но поверьте, замечательно и до удивления легко танцевал (такую, даже большую танцевальную легкость я однажды с изумлением наблюдал у Жванецкого). Он обидчив и по-детски ревнив. Он тщеславен, но тщеславие его можно считать оправданным, и оно не идет ни в какое сравнение с самоощущением иных рядом существующих. Он широк и благожелателен. Сколько людей из своего киноокружения он сделал творцами!

Есть поверье, что кинорежиссером-постановщиком может стать любой член киногруппы, за исключением второго режиссера. Эльдар сломал эту традицию и сделал вторым первым. Он самоотвержен и смел. Он редко страшится перед резкими поступками и никогда не отсиживается в тени.

Если взглянуть на спектр его творчества, то диву даешься, откуда берутся время, силы и фантазия. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», – очевидно, в минуты творческой хандры воскликнул Некрасов. Эльдар пытается совместить эти две душевные ипостаси. Он, конечно же, гражданин, ибо я не помню ни одного по-настоящему серьезного катаклизма в мире, стране, киноделах, где он повел бы себя не по совести. Поэзия Рязанова очень личная и душевная, как бы к ней ни относились некоторые, критикуя его за стилистическую неполноценность стиха. Это так несправедливо. Он прозаик и эссеист, он пу-

блицист – статьи его всегда жестки и беспощадны, без экивоков и извинений. Гневается он тяжело и надолго. Обвинять его опасно.

Народ верит ему и его любит. Что такое народ, никто толком не знает, но я знаю, что народ его любит. Ведь это он первый открыл населению глаза на самое святое – на климат, сказал: «У природы нет плохой погоды» – и народ поверил Рязанову и с меньшей подозрительностью теперь слушает метеопрогнозы.

Эльдар физически не может сидеть без дела. «Все! – говорит он мне по телефону. – Устал, нет сил, простужен, давление, посижу тупо на даче»... И через пару дней на его письменном столе появляется готовая книга. Он любопытен и любознателен. Он ходит в театр! Уникальное явление среди людей вообще, а уж среди выдающихся режиссеров тем более, потому что они и так все заранее знают и удивить их практически нельзя. Зритель он волшебный. Если в зале звучит одинокий смех, не надо проводить социологический анализ – это Рязанов.

На съемочной площадке Эльдар царь и бог, но царь доступный и бог добрый. Он начисто лишен фанаберии, он слушает и прислушивается, он верит артистам и любит их. Любит преданно и долго. Не-



Совместная страсть к Валдаю

даром, если вспомните, круг «его актеров» очень узок, несмотря на то что снял он достаточное количество шедевров. Он моногамен в любви, и это, наверное, охраняет его от творческой распущенности.

В эпизодах лучше всего сниматься у режиссеров – друзей или подруг, ибо они понимают, на какой дружеский подвиг идет приятель, согласившись украсить (так обычно характеризуют друзья-режиссеры жертву, приносимую другом-актером на алтарь будущего шедевра) ленту своим талантливым присутствием.

Снявшись у большого художника и одновременно большого друга, можно неожиданно прославиться и стать любимцем вышеупомянутого народа. Самая заветная мечта артиста – чтобы его узнавали и любили во дворе и местах общего пользования (я имею в виду магазины, кассы, то есть там, где возможна очередь).

У Эльдара Александровича Рязанова я снялся в пяти эпизодических ролях, пробовался на две большие и отказался сниматься в одной главной, в «Гараже», где действительно была написана для меня замечательная роль, а я выпускал в театре спектакль «Ее превосходительство», и мою замечательную роль замечательно сыграл Валентин Гафт, что, с одной стороны, замечательно, а с другой – обидно.

И все же пик результативности моих творческих взаимоотношений с Рязановым – это «Ирония судьбы, или С легким паром».

Эпизод в предбаннике перед отправкой одного из героев в Ленинград стал многолетней классикой сначала советского, а потом российского кино.

Ко мне повсеместно подходили «простые советские люди», часто подвыпившие, и, любовно полуобняв, спрашивали: «Анатолич! (Обращение, обозначающее высшую степень уважения и приятельства, ходящее в партийных и дворовых кругах.) Слушай, Анатолич! Мы тут с корешами заложились: я говорю, это бани-то Серпуховские, а эти чмуры говорят, что Пятницкие». Я, конечно, подтверждаю версию того, кто меня первый узнал и обнял, хотя вся история с баней снималась ночью в холодном коридоре «Мосфильма», так как собрать в человеческое время этих четырех господ, работающих в разных театрах и снимающихся в разных фильмах,

оказалось физически невозможно. Привезли пальмы из Сандунов, настоящее неразбавленное пиво в бочках, наняли сборную по дзюдо или самбо (память слабеет – святых вещей не помню) для изображения счастливых посетителей и снимали две ночи этот ключевой эпизод знаменитой эпопеи. Могли бы, наверное, снять и за одну ночь, но мимолетная потеря бдительности киногоруппы и лично тов. Рязанова заставила всех мерзнуть под лестницей вторую ночь. Случай трагический, но поучительный.

Многие помнят, а кто не помнит, я напомним: смысл эпизода состоял в том, что честная компания напивалась в бане холодным пивом с водкой до бессознательного состояния и в отпаде отправляла не того человека в Ленинград. Учитывая игровые обстоятельства, холодные ночные подземелья родного «Мосфильма», исключительно для жизненности эпизода, а также для поддержания творческих сил участники сцены, почти не сговариваясь, притащили с собой на съемку каждый по пол-литра. Этими пол-литрами очень тонко и умело заменили реквизиторские с водой и сложили в игровой портфель незабвенного Жоры Буркова, который по ходу сцены доставал их и руководил «банным трестом». Как я уже говорил, пиво было свежее и настоящее. Водка на свежесть не проверяется, а настоящая она была точно. Сняв первый дубль и ощутив неслыханный творческий подъем, мы потребовали второго дубля, совершенно забыв, что при питье разных напитков ни в коем случае нельзя занижать градус, то есть можно попить пивка, а потом осторожно переходить к водке, и никак не наоборот, поскольку старая российская мудрость гласит: «Пиво на вино – говно, вино на пиво – диво».

После третьего дубля даже высочайший кинопрофессионал, но совершеннейший дилетант в сфере алкоголизма Эльдар Рязанов учуял неладное, так как не учуять это неладное было практически невозможно.

«Стоп! – раздалось под сырыми сводами «Мосфильма». – Они пьяные!» Истерика и ненависть Эльдара не ложатся на бумажный лист, и я оставляю их для воображения читателя. На следующую ночь до начала съемки все четверо участников были подвергнуты тщательному таможенному досмотру. Перед командой «Мотор», зная, с кем имеет дело, Эльдар Александрович лично откупоривал все бутылки



«Ирония судьбы-2». Не посвежели

ские водочные бутылки и нюхал с пристрастием свежую воду. Снимали тот же эпизод – играли пьяных, шумели, старались хорошим поведением скрасить перед Рязановым вчерашний проступок.

«Стоп! Снято!» – прозвучал наконец под утро усталый, но, как нам показалось, довольный голос Рязанова, что дало право всей компании подойти к нему и робко намекнуть, что, по просвещенному мнению компании, материал, снятый вчера и сегодня, вряд ли смонтируется, ибо вчера был пир естественности, а сегодня потуги актерского мастерства. Эльдар сказал, что вот как раз случай проверить, с какими артистами он имеет дело, иначе проще было бы взять на эти роли людей под забором. Мы виновато удалились, но в картину вошли кадры, снятые в первую ночь! Вот и верь после этого в искусство перевоплощения.

Когда мне спустя много лет позвонили от Константина Эрнста по поводу продолжения фильма «Ирония судьбы», я обратился к Рязанову. Эльдар сказал: «Я никакого отношения к этому не имею». И я отказался. Тогда позвонил сам Константин Львович:

«Но Эльдар все знает...» Я опять к Эльдару. Он пояснил: «Я никакого отношения не имею, но я им разрешил». Читай: продал разрешение на то, что фильм будет снят без него. Это случилось еще в 90-е, и, оказывается, юридически он ничего не мог сделать. И вот мы собрались старой компанией, но уже без Георгия Буркова... Снимали на каком-то номерном заводе, закрытом за ненадобностью. Только Лия Ахеджакова отказалась. Поскольку она не захотела сниматься, ее героиня по сюжету эмигрировала в Израиль. В Израиль могли бы эмигрировать все, но нас уломали...

В «Вокзале для двоих» Рязанову нужен был эпизодик с ресторанным пианистом. Он написал мне письмо:

Дорогой Шурик!

Я прибегаю к эпистолярному жанру, потому что мне стыдно смотреть тебе в глаза, предлагая ЭТО. Речь идет о персонаже по имени пианист Дима. Хотя он числится в ролях, фактически это эпизод. Если бы ты подарил нам 3–4 съемочных дня, это было бы для меня счастьем, а для картины украшением. Итак, спаси, пожалуйста, наше драматургически-половое бессилие и сыграй Диму.

Тату целуй.

Твой Элик

Вся наша ресторанный история с Люсей Гурченко в фильме была придумана на площадке.

В те годы существовало очень мощное Всероссийское объединение ресторанных оркестров. После выхода фильма на одном из его совещаний обсуждали мою роль. Была страшная полемика и крик. Одни говорили, что это издевательство над их профессией, другие – что, наоборот, тут сыграна судьба: талантливый пианист вынужден работать в ресторане. И у меня долго хранилось письмо – решение этого собрания. По-моему, они так и не договорились, издевался я или наоборот.

Я всю жизнь завидую Рязанову. Завидовать таланту стыдно, но, слава богу, кто-то придумал, что зависти бывают две – черная и белая. Я завидую белой.

Я завидую его мужеству, моментальной реакции на зло и несправедливость, выраженной в резких поступках. Я завидую его стойкой и вечной привязанности к друзьям. Я завидую диапазону его дарований. Я завидую силе его самоощущения. Я преклоняюсь перед формулой его существования: «*Omnia mea mecum porto*» («Все свое ношу с собой») – он духовно и материально несет шлейф биографии, помнит и любит все, что с ним случилось.

Суммируя свои ощущения от личности друга, я послал к его 70-летию

ЗАКРЫТОЕ ПИСЬМО С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ,
адресованное зарубежной общественности,
от артиста, человека и гражданина
Ширвиндта Александра Анатольевича

Копии:

- Генпрокуратура России,
- контора дачного поселка «Советский писатель»,
- Международный суд, г. Гаага.

Дорогие друзья (обращение условное)!

Пользуюсь случайной возможностью проявить на бумаге долголетнюю травлю меня как личности, как художника и, по паспорту, мужчины – со стороны человека, которому посвящаю данное печатное послание.

В течение последних 40 лет (первые 40 лет я не помню, и слава богу) так называемый юбиляр использовал меня в корыстных для себя целях.

Но по порядку и коротенько.

1. В к/ф «Ирония судьбы», прикидываясь другом, он завлек меня в баню, где спаивал пивом с водкой, к чему я с тех пор пристрастился, не имея на это ни финансового, ни физического права.

2. В холодном павильоне «Мосфильма» пробовал меня на главную роль в к/ф «Зигзаг удачи» в эротической сцене, положив в постель с актрисой С. Дружининой, которая в целях утепления и боязни главного оператора картины Анатолия Мукасея, ее мужа, лежала под одеялом в тренировочном костюме, чем окончательно

похерила зачатки «порно» в советском кинематографе. В результате в фильме сыграл Е. Леонов, а Дружинина с перепугу стала кинорежиссером и безостановочно снимает гренадеров.

3. В фильме «Гараж» т. н. юбиляр предложил мне без проб сняться в одной из главных ролей, но в последний момент испугался В. Гафта как пародиста и позвал его.

4. В период застоя так называемый юбиляр долго шептал мне на ухо, что хочет создать острый фильм «Сирано де Бержерак», и брал меня без проб на роль графа де Гиша. При этом только для того, чтобы не снять меня в очередной раз, утвердил на роль Сирано Е. Евтушенко, в то время опального поэта. Фильм закрыли. Евгений перестал быть опальным поэтом, а я кем был, тем и остался.



«Привет, дуралеи!»

5. В фильме «Старики-разбойники» он опустился до того, что уговорил меня сыграть в мелком эпизоде, который в титрах формулировался «а также», и моя фамилия стояла последней – вроде по алфавиту.

6. «Забывтая мелодия для флейты» – снимал Лёначку Филатова, чтобы тот его помнил, а я не запомнился ни себе, ни зрителю.

7. В ленте «Вокзал для двоих» эпизода для меня не существовало вообще, но этот садист убедил меня сниматься, велел все придумать и написать слова самостоятельно. Я украсил собой эти две серии, но ни авторских, ни потиражных до сих пор не видно.

8. Наконец, последняя экзекуция – фильм «Привет, дуралии!». Тут этот вампир дошел до физического надругательства, исковеркав мою природную самобытность, – укурносил нос, выбелил волосы, разбросал по телу веснушки и даже хотел вставить голубые линзы, – я не дался, и он затаился до следующей картины. При этом он не устает кричать, что я его друг и мне все равно, в чем у него сниматься.

Нет! Хватит! Прошу его обуздать или еще чего-нибудь резкое сделать, а пока возместить мне в твердой валюте мягкость моего характера.

ИННОКЕНТИЙ СМОКТУНОВСКИЙ

Никак не мог подступиться к чистому листу, чтобы начать писать о Смоктуновском. Сразу представляешь себе глобальность фигуры. Поэтому, покопавшись в выгребной яме своей эрудиции, отрыл эпизод биографии Иннокентия Михайловича, мало кому известный...

Это было тогда, когда словосочетание «совместное производство» приводило в трепет советскую актерскую особь. Итальянский кинорежиссер Джорджио Феррара – элегантный и денежный русскоязычный выпускник ВГИКа – пробил проект совместного советско-итальянского фильма «Осада Венеции», в основе сюжета которого лежал якобы исторический факт: за молодой и дико богатой венецианской красавицей-вдовой бросилось в погоню несколько отчаянных ловеласов, и среди них был лихой русский граф. Джорджио, как иногородний режиссер, знал из советских артистов только троих – Смоктуновского, потому что он Смоктуновский, Ларионова, который проник на мировые экраны при помощи Никиты Михалкова, и меня, потому что когда-то нас познакомил Андрей Миронов и мы даже были его гостями в Риме во время гастролей театра.

Так как фильм планировался совместный, то, естественно, необходим был некоторый процент наших актеров. Молодого распутного графа никто из вышеназванных актеров играть уже не мог – его доверили Саше Абдулову по нескольким компетентным рекомендациям, а нам уготовили страшную миссию – троих инквизиторов, следящих за героиней, допрашивающих и мучающих ее всячески.

Поскольку инквизиторского опыта у нас не было, мы играли эдакую «тройку» ВЧК, но в балахонах-рясах и длинных пудренных париках.

Рассказываю об этом подробно, потому что фильма никто не видел и, боюсь, теперь уже вряд ли кто-нибудь увидит.

Сомнений перед съемками у «инквизиторов» возникло масса. Во-первых, пытать героиню надо было на английском языке. Во-вторых, требовалось освободиться на пару месяцев от других актерских обязанностей, что с трудом получалось при различных рабочих графиках «инквизиторов». Но Иннокентий Михайлович – первый инквизитор, как было обозначено в сценарии, – сказал нам, что Венеция дается человеку один раз, что английский он немного знает, что Ларионов моментально схватывает мелодику любого языка, а что с этим (мною) языковым дебилом они вдвоем справятся. «Потом, не надо забывать, – инквизиторским шепотом произнес первый, – итальянская сторона намекнула на валютное вознаграждение». Последнее произносилось с оглядкой и в дальнем углу помещения.

Мы начали укладывать чемоданы. Перед выездом в Венецию оказалось, что договор с нами все же подписывает «Мосфильм», так как мы – советская сторона, и долларовая часть гонорара зависла где-то на горизонте, а чемоданы вовсе негодились, поскольку Венецию в чистом виде воздвигли на плешке за гаражами «Мосфильма» – Венецию настоящую, с каналами и дворцами. В общем, мы и ахнуть не успели, как уже плыли в гондоле в сторону Ленинского проспекта.

Я не устаю поражаться способности больших актеров делать любую работу как главную, уметь сосредотачиваться на каждой мелочи до конца и не стесняться своего трудолюбия. Вот снимают нас, инквизиторов, в Сандуновских банях. Три голых инквизитора, воображая себя лежащими в каких-то серных термах, расслабляются перед очередным раундом допросов. Профессиональные банщики-массажисты из Сандунов с лицами, очень отдаленно напоминающими итальянских дождей, упорно трудятся над нашими телами.

Дубль! Еще дубль! Жарко, потно, но не смешно. Наконец первый инквизитор вскакивает со своего мраморного ложа и с криком «Да не так!» – оказывается у меня на спине и под овацию совместного производства исполняет на мне какой-то жуткий танец-аттракци-

он, крича при этом: «Снимайте, снимайте!» Так что, если кому-нибудь посчастливится увидеть кинофильм «Осада Венеции», знайте, что в эпизоде «Баня» – ноги, танцующие на моей мыльной спине, принадлежат великому (вот не удержался от эпитета, но в данном случае он необходим) актеру.

«Тщеславие» – противное слово, потому что составлено, очевидно, из «тщетности» и «славы», то бишь – тщетное желание славы. Слава Смоктуновского пришла от тщательности труда. Он не умел расслабляться, хотя понимал, что это необходимо. В редкие минуты межсъёмочной пустоты, сидя в обветшалой мосфильмовской гримерной, Кеша вдруг говорил: «Шура, расскажи еще раз, а то я никак не могу ухватить финальную интонацию».

И Шура в десятый раз рассказывал, а Иннокентий Михайлович в десятый раз заливался детским смехом.

Итак, любимый анекдот Смоктуновского: «Зима. Заснеженная деревня. В избе двое стариков. Дед, напялив очки, читает бабке письмо от внука из города: «Дорогие бабушка и дедушка! Все собирался вам написать, но стеснялся признаться. А сейчас решился. Когда я жил у вас летом и однажды бабушка пошла доить, а дедушка – на реку, я залез в чулан, взял большую банку вишневого варенья и всю ее съел. Потом испугался, что вы рассердитесь, накакал полную банку, закрыл ее и поставил на место». Дед снимает очки, смотрит на бабку и произносит: «Ну, старая, я ж тебе говорил, всю зиму едим говно, а ты «засахарилось, засахарилось»!»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

медицинское

Анамнез: боли в районе плюсне-фаланговых, гипертоническая болезнь с повышением АД до 180/100 мм. рт. ст., гиперурикемия и гиперхолестеринемия, хронический обструктивный бронхит курильщика, открытоугольная глаукома, атеросклероз брахиоцефальных артерий со стенозированием устья ВСА. Живот мягкий, мочеиспускание свободное.

Заместитель директора Института кардиохирургии им. В.И. Бураковского НЦССХ им. А.Н. Бакулева по научной работе, заведующий клиничко-диагностическим отделением, академик РАН

Юрий Бузиашвили

Директор Университетской клиники МГУ им. М.В.Ломоносова, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН

Армаис Камалов

Заведующий отделением факохирургии и интраокулярной коррекции ГУ НИИ Глазных болезней РАН, доктор медицинских наук, главный врач Научно-практического центра восстановления зрения

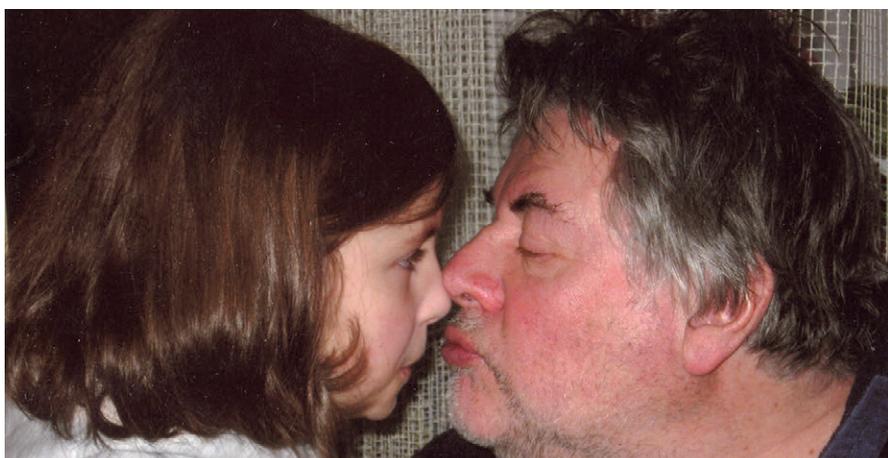
Юсеф Наим Юсеф

Лечащий врач:
зав. реабилитационным отделением

Белоусова Наталия Николаевна



Александр Ширвиндт



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Всяческие мемуары и воспоминания, как бы они ни были самоироничны, пахивают меркантильностью. Как ни крути, но воспоминатель подсознательно хочет заполучить дивиденды с биографии.

Литературные воспоминания делятся, как правило, на несколько категорий. Если автор грамотный – он пишет сам, а опытный редактор расставляет знаки препинания. Если автор малограмотный, он диктует свои фантазии на современную технику, а все тот же многострадальный редактор облакает это в форму прозы, и говорун через некоторое время с удивлением узнает, что он писатель.

Заниматься не своим делом – эта страсть наших граждан особенно ярко выражена в тех случаях, когда «свое дело» тоже профессионально подозрительно.

И все-таки! Зачем-то мы родились, зачем-то служим, зачем-то, наконец, живем. Может быть, кто-нибудь и сделает случайный вывод для себя из моих литературных потуг.

Я прожил 80 лет. Глобального ущерба от жизни, слава богу, не было. Были гадости, неприятности, но не более. Это у меня характер такой – колебаться вместе с линией партии. Не до конца, конечно, но все-таки.

Перешагнуть через мораль, через близких, через вкусы эпохи имеют право только гении.

Упертые середняки вызывают уважительное раздражение. Если проще – право быть говном имеют только гении.

Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Я обращусь к Лёне Ярмольнику. Он меня сначала вылечит, потом похоронит, потом устроит в зале Чайковского вечер моей памяти – и все за свой счет, все искренне и весело.

Что я оставлю благодарным потомкам, чтобы они успели это наследие зафиксировать, пока сами не стали предками?

1. Летаёт планета Shirvindt между Хармсом и Раневской.

2. Стоит в Ялте памятник «Трубка Ширвиндта» – раньше стоял за границей, теперь на Родине.

3. Напротив «Мосфильма» на плешке замурованы в асфальт четыре ладони – две мои, две Державина – компания ладоней там престижная.

С этими благодарными потомками тоже какое-то пижонство и литературщина.

Во-первых, потомки никого не благодарят, а в основном поносят и презирают. Во-вторых, если уж потомки выборочно набрасываются на какую-нибудь предыдущую фигуру с благодарностью и почтением, то делается это так оголтело и безвкусно, что хочется тихого забвения. Почему только начиная с панихиды Евгений Евстигнеев стал великим русским актером? Почему только после трагического ухода Папанова и Миронова стало ясно, что без них нельзя?

У нас ставились при жизни бюсты на родине только не то трижды, не то дважды Героям Социалистического Труда. Почти никого из этих «героев» не осталось в живых, а в историю они в основном вошли так, что лучше бы и не входили.

Однажды, много лет назад, в Кривом Роге после концерта на сцену поднялась очаровательная девочка лет восьми и протянула мне огромную книгу «Криворожье», изданную, естественно, в Финляндии и весившую килограммов десять. Когда я в гостинице открыл этот печатный мемориал области, то увидел трогательную надпись. Четким трехклассным почерком было написано: «Дароному Александру от благородных криворожцев».

Ребенок еще не знал, что надо всех и за все благодарить, включая заезжих артистов, и, делая надпись под диктовку родителей, ошибся и создал замечательное послание. Пусть будет как можно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

меньше благодарных потомков и как можно больше благородных детей.

Зачем создавалась эта книга? Из привычного тщеславия? Из ощущения неслыханной своей значимости и необходимости поведать человечеству нечто такое, что ему и в голову не может прийти?

Да, если быть честным, то все это присутствует, но если быть честным до конца, то правда хочется хоть чуточку закрепить свое время, своих друзей, свой дом, а значит, свою жизнь. На наше поколение сегодня поставлено сострадательное клеймо – «шестидесятники». Да, конечно, мы жили тогда и даже немного вдохнули сырого воздуха оттепели, но родился я задолго до оттепели и в четырехлетнем возрасте уже что-то понимал, когда из нашей коммуналки ночью забирали соседа, а через некоторое время исчез на семнадцать лет мой родной дядя. Еще задолго до оттепели мы, шестилетние интеллигентские дети, в теплушках эвакуировались в Чердынь. Задолго до оттепели, в 1943 году, катался я по заснеженным арбатским переулкам на коньках, привязанных бельевой веревкой с палкой «на закрут» к валенкам. Играл в футбол консервной банкой из-под американской тушенки и, учась в 110-й мужской школе, ходил в соседнюю 100-ю женскую школу на вечера, где танцевал падеграс, падепатинер, мазурку и другие вымершие бальные танцы, щеголяя в сером клетчатом пиджачке, перелицованном (был такой способ омоложения одежды, когда изнанка становилась лицом) из маминого костюма, с пуговицами, переставленными на «мужскую» сторону.

Задолго до оттепели, в 1953 году, меня не хотели держать в театральном вузе, производя чистку студенческих рядов на фоне «дела врачей».

Задолго до оттепели мы, молодые артисты, рассказывали и придумывали анекдоты, играли и сочиняли «острые капустники», вызывающие усмешку у сегодняшних остряков.

Да и после оттепели все еще жили, любили, смеялись, играли хорошие роли у замечательных режиссеров. И сегодня из последних сил, в атмосфере неслыханной молодежной конкуренции, пытаемся что-то создать и кому-то пригодиться.

Если сдуру начнешь осмысливать прожитое, конечно, танцевать надо от некролога. Веселенький танец – эдакий *dance macabre*. Надо зажмуриться и самому себе написать некролог. Если, скажем, в нем будет строчка: «Четырнадцать лет он был художественным руководителем театра» – жидковато. А вот если там будет написано: «Это время запомнится страшным провалом спектакля «Жуть» и прогремевшим на всю Москву обозрением «Штаны наизнанку» – уже что-то. И когда так себя прочтешь, чувствуешь, что какие-то пустоты еще необходимо успеть заполнить.

Правда, никогда нельзя доверять сегодняшним впечатлениям и рецензиям – надо ждать.

Очень хороший ленинградский режиссер Наум Бирман задумал снять «Трое в лодке, не считая собаки». Все говорили: «Вы с ума сошли! Нельзя снять «Трое в лодке...». Я тоже думаю, что есть писатели – Джером, Марк Твен, Ильф и Петров, которые потрясающе своей авторской интонацией. Можно снять сюжет, ту или иную актерскую или режиссерскую версию, но авторскую интонацию снять невозможно. Однако Бирман сказал, что это будет просто фильм о трех нынешних друзьях по канве Джерома. Ну, раз по канве и раз мы три друга, – такой ремейк, как сейчас принято говорить, – то мы согласились.

Поехали в город Советск, а там начали с окрестных полей сгонять колхозников и переодевать их в лондонцев. Мы поняли, что ремейк будет тот еще. Запахло катастрофой. Когда фильм вышел, его страшно заклеямили. Но прошло столько лет, его часто повторяют и при этом говорят: «Какой милый фильм!» Надо ждать!

Я человек низкой тщеславности. Я спонтанно увлекающийся, такой бенгальский огонь с небольшим искропроизводством, но льщу себя, что довольно ярким. Употребляя сегодняшнюю спортивную лексику – я спринтер, вынужденный бежать стайерскую дистанцию. Когда финиш – не знает никто, но ленточка уже видна.

Раньше я считал, что пенсионный возраст – вещь условная, придуманная. Но на самом деле какая-то бухгалтерия там, наверху, или социологи божественные правильно эти сроки сюда спустили.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все должно быть вовремя. Причем каждый это понимает и говорит: «Хватит! Дорогу молодым! Устаю, ничего уже не могу аккумулялировать». Говорят – и не рыпаются с места. Упоение собственной уникальностью не является страховкой от ночных кошмаров. Самодостаточность – мастурбация существования, эдакая «ложная беременность» значимости. К старости боятся резких движений – как физических, так и смысловых. А трусость, очевидно, – это надежда, что обойдется.

Когда уже выбран лимит желаний и удивлений, а заторможенная скрупулезность мудрости никак не вписывается в бешеный ритм эпохи, поневоле портится настроение и возникает паника.

Если пытаешься хотя бы умозрительно отбросить все повседневные нужности, то с пугающей ясностью понимаешь, что потерял «адрес существования». В ужасе открываешь глаза и судорожно бежишь дальше.

Но все же отчаиваться не надо, если вспомнить слова сатирика Дона Аминадо: «Живите так, чтобы другим стало скучно, когда вы умрете».

Всеми правдами и неправдами надо сохранять и увековечивать свое культурное наследие, а если своей культуры не хватает – изволь цепляться за классиков и провоцировать их на высказывания, чтобы потом сказать: «с Пушкиным на дружеской ноге...»

Горжусь своим изобретением – мечтаю его запатентовать. В моем туалете над унитазом вмонтировано большое зеркало под углом видимости того, что происходит. Сооружение, естественно, только для мужчин. Разные мысли приходят моим друзьям во время посещения этой комнаты смеха, но чем талантливее посетитель, тем неожиданнее нацарапанное на зеркале откровение:

Грядущей жизни ширь видна
Нам лишь от водки Ширвиндта.

Твой Фазиль Искандер

Тарковский в «Зеркале» добился отраженья
Почти всех тайн, что скрыты в жизни спорной.
Лишь член там не увидишь в обнаженье –
Он отражен у Ширвиндта в уборной.

В. Гафт, «Раздумья»

Чтобы писать мемуары, нужна специфическая память. Я запоминаю только общий абрис событий. Кто-то, может, всего один раз сидел у Эфроса на репетиции, но подробно расскажет об этюдном методе и чем он сменился потом. Я же читаю это и думаю: «Как интересно!» Хотя сыграл у Эфроса с десятков главных ролей.

Вообще же присовокупление себя к каким-то хрестоматийно значимым фигурам или явлениям всегда выглядит противно. Даже если это не полное вранье. Например, я учился в одном классе с Сережей Хрущевым. На этом можно сделать биографию. Вот тебе, пожалуйста, смысл жизни. Если ничего больше не получилось. Этот – ученик Мейерхольда, тот – соратник Вахтангова. А проверить нельзя – все перемерли.

Но главное все-таки, что я ничего не помню. В отличие от моей жены. Каждое утро, просыпаясь, она говорит мне, допустим: «Сегодня день рождения предпоследней жены такого-то нашего друга», или: «50 лет назад родилась вторая дочь от третьего брака Козакова», или: «Ты не забыл, что сегодня день свадьбы наших соседей» (которые уже давно умерли). Я смотрю на нее с ужасом и не устаю повторять одну и ту же фразу: «Тебя надо госпитализировать».

Моя жена все отдает в Театральный музей имени Бахрушина. Сначала ей было жалко расставаться с тем, что годами собирала: газетные публикации, афиши, фото из спектаклей и со съемок фильмов, грамоты, письма и поздравительные телеграммы друзей и поклонников. Но тут умер первый муж моей мамы, архитектор по фамилии Француз (национальность, правда, фамилии не соответствовала). Он автор многих построек в Москве, в том числе Мавзолея Ленина. Работал в мастерской Щусева. Как это принято в архитектурном мире, первой всегда стоит фамилия руководите-

ля мастерской, а уж потом – фамилии фактических авторов проекта. Так с годами осталось только имя Щусева, хотя настоящим автором был Француз. Папаша мой отбил маму у Француза – тот, бедный, остался и без Мавзолея, и без жены.

И когда после смерти разбирали его архив, обнаружили очень красивый акварельный портрет моей мамы, сделанный много лет назад. И нам предложили его взять. Мы приехали и увидели жуткое зрелище: по всей квартире валялись бумаги, письма, эскизы, рисунки – никому не нужные, готовые переместиться на помойку. Вернувшись домой, жена позвонила в Бахрушинский музей и сказала: «Я согласна, забирайте!»

Но важно, чтобы и те документы, которые хранятся дома, – справки, счета, выписки из больниц – были как-то упорядочены, а не лежали кучей. Если на конверте написано «Глаза» – понятно, что это про глаза. «Счета за гараж» – понятно, о чем речь. Но когда все документы лежат в одном конверте, это становится очень опасным.

Мой друг «мужской доктор» профессор Армаис Камалов повел меня однажды на консультацию к гению урологии академику Лопаткину. Он уже никого не принимал, но, так как мой друг – его ученик и я где-то на слуху, он согласился побеседовать. И попросил принести с собой все выписки, чтобы понимать, что происходит. Я бросился в шкаф к Наталии Николаевне, цапнул конверт, на котором написано «Шурины болезни», и поперся к светилу. В кабинете сидел старый красавец, а все стены были завешаны благодарностями от предстательных желез Наполеона, Навуходоносора, Эйнштейна... Я дал ему бумажку, он надел золотые очки и долго читал огромный лист. «Так, понятно», – наконец произнес он, снял очки и вежливо спросил: «И чем я могу помочь?» Я несколько удивился, потому что не понял, какие могут быть варианты его помощи. «Видите ли, – сказал академик, – я не очень в этом разбираюсь, но, если что-то конкретное, я с удовольствием подключусь. Только скажите, куда можно стучаться». Я думаю: куда же ему стучаться, кроме урологии?

Продолжалась эта бодяга довольно долго, пока я не попросил у него свои листки. В конверте «Шурины болезни» лежал «Протокол

совещания ЖЭКа высотного дома по вопросу создания товарищества собственников жилья». Все выступления – «доколе» и «когда». Он читал это минут десять. И был готов помочь.

В Бахрушинском музее работают замечательные женщины, получающие «три копейки» в год. Это настоящий крематорий с ячейками, где лежат личные дела артистов. Пухлость этих папочек зависит от алчности значимости и от того, сколько вдовы принесли документов. Бывает, человек нулевой, а досье на него огромное. А у гениев всего лишь один листочек лежит.

Как писал Пушкин: «И пыль веков от хартий отряхнув, правдивые сказанья перепишет...» Недавно мне пришло в голову, что перепишет – это не освежит, а даст другую версию. Очень страшно, когда твою жизнь будут переписывать. Умрешь, и перетряхнут все твои койки, письма. Так потихонечку индивидуальность превращается в версии исследователей.

А то и вообще перепутают тебя с кем-нибудь другим. Хоть Ширвиндтов не так много, но тем не менее путаница огромная. Особенно если из фамилии образуется термин. Так, например, в медицинском словаре есть такое понятие:

Ширвиндта микрореакция – метод экспресс-диагностики сифилиса, основанный на образовании преципитата в смеси небольшого количества сыворотки крови больного сифилисом с цитохолевым антигеном; носит ориентировочный характер, положительный ответ требует подтверждения по принятому комплексу серологических реакций.

В нашей круговерти дикое ускорение забвения. Очень не хотелось бы остаться в веках автором метода диагностики сифилиса.

Расхожие истины всегда подозрительны, ибо их декларируют, не вдаваясь в смысл. Вот, например: «Счастливые часов не наблюдают». Вранье инфантильное! Так как счастье в основном – на стороне, то счастливые все время зыркают на часы, чтобы успеть вовремя вернуться на свое несчастное место. По мнению Оппенгеймера, счастливыми на Земле могут быть только женщины, дети,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

животные и сумасшедшие. Значит, наш мужской удел – делать перечисленных счастливыми.

Что касается женщин, то наступает страшное возрастное время, когда с ними приходится дружить. Так как навыков нет, то работа эта трудная. Поневоле тянет на бесперспективное кокетство. С партнершами по театру дружить опасно – могут использовать в корыстных целях, а самостоятельных дам – наперечет.

Конечно, все гениальное – просто, когда под рукой есть гений. Моя любимая подруга Леночка Чайковская глобальной силой воздействия на мою жизнь держит меня на плаву. Она меня одевает, примеряя на очаровательного мужа Толю пиджаки и куртки во всех городах мира, где еще не растаял лед и сохранилось фигурное катание. Если учесть, что Толя на пять размеров изящнее меня, то примерки производятся с прикидкой на вырост. Она знает, что мне есть, где лечиться, где отдыхать, с кем дружить, чего остерегаться.

Она единственная в мире открыто говорит, что я – гений. И я слушаюсь.

Наступает время, когда сны становятся значительно содержательнее, глубже и тоньше, чем яви. Кто редактирует сны, кто их монтирует – никому не известно. Я на даче нашел любопытную книгу – сонник позапрошлого века, где все очень интересно написано. Целая наука – какие сны к чему. Оказывается, если снится кровь, то вовсе не значит, что поранишься, и ждать нужно чего-то противоположного, без всякой логики. Поэтому, когда я вижу сны жизненные, пытаюсь проснуться. Не получается – вновь командую себе – просыпайся, пора! Но никак. И тогда думаю – ах, я не просыпаюсь, значит, все это на самом деле?! И если такое наложение снов из-за возраста, характера, плохого настроения, усталости, набора событий доходит до пика реальности, начинаешь задумываться: а не пора ли менять образ жизни?

Кем бы ты ни был в молодости – оптимистом или пессимистом, наивным или реалистом, радужным или сумрачным, все равно с возрастом становишься брюзгой. И чем дальше, тем все брюзжее

и брюзжее. Главное, сам это чувствуешь, но ничего не можешь с этим поделать.

Накопление всеядности приводит к паническому раздражению, а тут и до ненависти – рукой подать.

Я себя ненавижу! Ненавижу необходимость любить окружающих, ненавижу все время делать то, что ненавижу, ненавижу людей, делающих то, что я ненавижу, предметом творческого вождения.

Ненавижу ненависть к тому, что вообще никакой эмоции не заслуживает.

Я ненавижу злых, скупых и без юмора. Социальная принадлежность, политическая платформа, степень воровства меня совершенно не волнуют. Воруи, но с юмором. Фашист, но дико добрый.

Я думаю, характер человека складывается уже месяцам к трем. Но у меня почему-то не сложился до сих пор, поэтому о себе говорить трудно. Я, например, незлопамятный. Это плохо, потому что благодаря злопамятности можно делать выводы, а так – наступаешь на одни и те же грабли.

Я процентов на 80 соответствую самому себе. Процент этот в течение жизни не менялся. Но последнее время я стал эту цифру формулировать. Чего делать нельзя. Вообще нельзя ничего говорить всерьез вслух. Особенно употреблять слова «кредо» или «гражданская позиция». Любая формула – это смерть.

Я находчив. Мне сказал об этом не самый добрый человек – Андрюша Битов. На очередном юбилее, на котором я нашелся, чего-то вякнул, подошел ко мне Андрей: «Тебе не надоело быть круглосуточно находчивым?»

Сколько украдено у меня профессионалами. Услышанное, увиденное, запомненное у простодушно-застольных словоблудов типа меня сделали многим биографию, а тут по глупости помрешь в безвестности.

Я со всеми на «ты». В этом моя жизненная позиция. На «ты» – значит, приветствую естественность, искренность общения. Это не панибратство, а товарищество. Кроме того, я сегодня старше почти всех. Помню, у нас была хорошая партийная традиция – коммунисты все называли друг друга по отчеству и на «ты». «Гри-

горьич, как ты вчера?» Или: «Ну ты даешь, Леонидыч!» Очевидно, это у меня от времени застоя.

Я умею слушать друзей. У друзей, особенно знаменитых, – постоянные монологи о себе. Друг может позвонить и спросить: «Ну, как ты? А я...» – и дальше идет развернутый монолог о себе. Это очень выгодно, когда есть такой, как я, которому можно что-то рассказывать, не боясь, что тебя перебьют. И потом я – могила. Когда я читаю современную мемуаристику, особенно про то, где я был и в чем участвовал... Если все, что я знаю, взять и написать...

Поздно менять друзей, ориентацию и навыки существования. Смысл существования – в душевном покое и отсутствии невыполненных обязательств. Но обязательства все время нахлестывают. Кажется: вот это сделаешь и это – а дальше покой и тишина. Нет – появляются новые.

Иногда думаешь: ой, пора душой заняться. Пора, пора. А потом забываешь – обошлось, можно повременить.

Верить мне поздно, но веровать... И хотя я воспитывался атеистом, с годами прихожу к выводу, что есть Нечто. Нечто непонятное. Не от инопланетян же оно.

Глупо, когда вчерашнее Политбюро начинает истово креститься.

Любая вера – марксистская, православная или иудейская – с одной стороны, создает какие-то внутренние ограничения, а с другой – дает какую-то целенаправленность развитию организма. Самое главное: молодой особи она дает этакий поджатый хвост. Нельзя жить безбоязненно. Нельзя ничего не бояться с точки зрения космического – там непонятно что. И нельзя не бояться, когда переходишь улицу. А сейчас никто ничего не боится.

Какой красочный религиозный театр, как выпущенный дух из крепко закупоренной бутылки, царит сегодня над безграмотно выхолощенной толпой. Я, получающий совершенно законно приглашения и поздравления от всех религиозных конфессий, постепенно становлюсь религиозным космополитом, что меня, с одной стороны, настораживает, а с другой – успокаивает. Действительно, сложно быть религиозно цельным, если мама – под родовой одесской фамилией Кобиливкер, папа – Теодор Ширвиндт, сменивший имя на Анатолий, боясь своих немецких

корней, а я с рождения до почти половозрелого возраста пребывал в церкви на руках у моей любимой няньки Наташи, которая меня воспитывала. Перед смертью она все-таки на ушко призналась мне, что я тайно крещеный. Так что с полным правом я посещаю костелы, церкви и синагоги. Некоторая напряженка с мечетями, но если посоветоваться с директором нашего театра Мамедом Агаевым...

К старости вообще половые и национальные признаки как-то рассасываются.

Все время ловил себя на мысли, что я совсем перестаю себе нравиться. Что случилось?

Наконец понял: надоело быть хорошим человеком! Немодно, нерентабельно, а подчас просто стыдно!

В конце прошлого века я попытался зарифмовать свое самоощущение.

Я живу по инерции,
Пунктуальность кляня.
Даже отблеск потенции
Не волнует меня.
Закодирован «нужностью»
Мой усталый забег,
Поплавок не колышет
Обезрыбленных рек.
Внешне выгляжу молодо,
Но немеет стопа.
Нет ни жажды, ни холода,
Значит, я – скорлупа!
До чего ж приблизительно
Сотворен человек,
Но придется презрительно
Доживать этот век.

С грехом пополам дожил и даже переполз в нынешний век.

Пи...ц! Времени, отпущенного на жизнь, оказалось мало. С одной стороны. А с другой – зачем коптить эту уходящую экологию, не зная, зачем?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как-то меня спросили: если бы у меня была возможность после смерти вернуться в виде какого-то человека или вещи, что это было бы? Я ответил: флюгер. У Саши Черного в стихах есть два желания: «Жить на вершине голой, / Писать простые сонеты.../ И брать от людей из дола / Хлеб, вино и котлеты». И второе: «Сжечь корабли и впереди, и сзади, / Лечь на кровать, не глядя ни на что, / Уснуть без снов и, любопытства ради, / Проснуться лет чрез сто».

Ни разу за длинную жизнь не утомлял себя долгими размышлениями и глубоким анализом бытия. Все поступки и телодвижения совершались спонтанно-импровизационно – в надежде на стопроцентную интуицию. Главное – чтобы не ниже других, чтобы не было стыдно перед самим собой в районе трех часов ночи и чтобы никого не обидеть. И вдруг к старости переполненный котел биографии стал фонтанировать метастазами ошибок. Пришлось задуматься, но поздно. Ни сил, ни времени не осталось. Вынужден привычно прощать себя и у всех остальных просить прощения.

Жизнь стала бутафорски зыбкой. Мой случайный валдайский друг, бывший знатный шахтер, сутками в утлой резиновой лодочке пытающийся что-то добыть из водоема, говорил, покуривая откуда-то доставаемый «Беломор»: «Вот удрал от воркутинской смерти, чтобы дожить как человек». Хочу с ним...

СОДЕРЖАНИЕ

Лоскутное одеяло мыслишек	5
от 80 до 40	8
от 40 до 20	130
от 20 до 10	164
от 10 до 0	178
Восковые фигуры моего мини-музея	197
Михаил Козаков	199
Михаил Державин	206
Анатолий Эфрос	213
Лев Дуров	220
Ростислав Плятт и Лев Лосев	222
Валентин Плучек	227
Андрей Миронов	229
Марк Захаров	241
Григорий Горин	245
Аркадий Арканов	254
Зиновий Гердт	256
Булат Окуджава	265
Александр Володин	268
Сергей Арцибашев	269
Белла Ахмадулина и Борис Мессерер	273
Святослав Федоров	276
Людмила Гурченко	279
Эльдар Рязанов	281
Иннокентий Смоктуновский	290
Заключение (медицинское).....	293

Литературно-художественное издание

А л е к с а н д р Ш и р в и н д т

СКЛЕРОЗ, РАССЕЯННЫЙ ПО ЖИЗНИ

Фото на 1-й странице суперобложки Е. Мартынюк

*В книге использованы фотографии и материалы
из архива ГБУК г. Москвы «Московский академический театр сатиры»
и личного архива автора*

Редактор Ю. Ларина

Технический редактор Л. Сеницына

Корректоры О. Левина, Т. Филиппова

Компьютерная верстка А. Трифонов

ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус» –
обладатель товарного знака «Колибри»
119334, Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус» в г. Санкт-Петербурге
191123, Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 12, лит. А

ЧП «Издательство «Махаон-Украина»

Тел./факс (044) 490-99-01
e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)



Подписано в печать 12.09.2017

Формат издания 70×108 1/16.

Бумага офсетная. Гарнитура «Charter».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 27,3.

Доп. тираж 3000 экз. В-PRS-17865-04-R. Заказ № .

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт». 170546, Тверская область,
Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус»

Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус»

в г. Санкт-Петербурге

Тел. (812) 327-04-55

E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство «Махаон-Украина»

Тел./факс (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru

Старость — это не когда что-то забываешь, а когда забываешь, где записал, чтобы не забыть.

Александр Ширвиндт

**СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ**

